



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

**UNIVERSITY  
OF VIRGINIA  
CHARLOTTESVILLE  
LIBRARY**



1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are: John Doe, Jane Doe, and John Doe. The addresses are: 123 Main St, 456 Main St, and 789 Main St.



Alderman Library

21

15060

(Sbornik posmertnykh statei  
A. I. Gertsena)

СБОРНИКЪ

ПОСМЕРТНЫХЪ СТАТЕЙ

А. И. ГЕРЦЕНА



ŒUVRES POSTHUMES D'ALEXANDRE HERZEN

---

**СБОРНИКЪ  
ПОСМЕРТНЫХЪ СТАТЕЙ**

**АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА**

**ГЕРЦЕНА**

---

**ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ**

---

**GENEVE—BALE—LYON  
H. GEORG, LIBRAIRE-EDITEUR**

---

**1874**

---

**TOUS DROITS RÉSERVÉS**



AC  
65  
.H 4146  
1874

ЖЕНЕВА.—ТИПОГРАФИЯ ТРУСОВА.



# ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Къ ЧИТАТЕЛЯМЪ . . . . .	VII
<b>Былое и Думы — во Второй части :</b>	
Н. Х. К. (1842—1847) . . . . .	1
Эпилогъ . . . . .	89
Эпизодъ изъ 1844 года, Базиль и Армансъ . . . . .	41
Отрывки изъ Былаго и Думы — Намъ въ эмиграции . . . .	51
<b>Прибавленіе къ Горнымъ Вершинамъ :</b>	
I. Ледеро-Роленъ и Кошутъ . . . . .	84
П. Ф. Пья, В. Гюго и пр., Луи-Бланъ и француз. эмигранты.	97
Бартеlemi . . . . .	118
С. Ворцель . . . . .	128
Апогей и Перигей (продолженіе) . . . . .	189
За Кулисами (1863—1864) . . . . .	160
В. И. Кельсиевъ . . . . .	161
Общій фондъ . . . . .	177
М. Б. и Польское Дѣло (продолженіе Главы Перигей) . . .	192
I. Пароходъ Ward Jackson, R. Weterli et C <sup>o</sup> . . . . .	222
II. Lapinski-colonel. — Polles—aide de camp . . . . .	229
<b>Докторъ, Умиравшій и Мертвые (Повѣсть) :</b>	
I. Докторъ . . . . .	238
II. Умиравшій . . . . .	248
III. Мертвые . . . . .	271
IV. Эпилогъ . . . . .	280
Thiers-Daniel . . . . .	284
<b>Письма къ старому товарищу :</b>	
ПИСЬМО ПЕРВОЕ . . . . .	288
— ВТОРОЕ . . . . .	296
— ТРЕТЬЕ . . . . .	303
— ЧЕТВЕРТОЕ . . . . .	310



## КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ

---

Рано умеръ Герценъ для русскаго дѣла и не дождавшись европейскаго переворота.

Его дѣти рѣшились печатать все послѣ него оставшееся и начали съ выпуска „Былаго и Думы“.

Искренность и мощь его слова не могутъ пройти незамѣтно и должны отозваться въ средѣ русскихъ читателей.

Память о его вліяніи пройти не можетъ.

Н. Огаревъ.

Женева, сентябрь 1870 года.



# БЫЛОЕ И ДУМЫ

КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

---

Н. Х. К.

(1842—1847)

Мнѣ приходится говорить о К. опять, и на этотъ разъ гораздо подробнѣе. Возвратившись изъ ссылки, я засталъ его по прежнему въ Москвѣ. Онъ, впрочемъ, до того сросся и сжился съ Москвой, что я не могу себѣ представить Москву безъ него, или его въ какомъ нибудь другомъ городѣ. Какъ-то онъ попробовалъ перебраться въ Петербургъ, но не выдержалъ шести мѣсяцевъ, бросилъ свое мѣсто и снова явился на берега Неглинной, въ кофейной Бажанова, проповѣдывать вольный образъ мыслей офицерамъ, играющимъ на бильярдѣ, поучать актеровъ драматическому искусству, переводить Шекспира и любить до притѣсненія прежнихъ друзей своихъ. Правда, теперь у него былъ и новый кругъ, т. е. кругъ Бѣлинскаго, Бакунина; но, хотя онъ ихъ и поучалъ денно и нощно, однако душою и сердцемъ все же держался насъ.

Ему было тогда лѣтъ подъ сорокъ, но онъ рѣшительно остался старымъ студентомъ. Какъ это случилось? это и надобно прослѣдить.

К. по всему принадлежить къ тѣмъ страннымъ личностямъ, которыя развились на закраинѣ Петровской Россіи, особенно послѣ 1812 г., и какъ ея послѣдствіе, какъ ея жертвы и косвенно какъ ея выходъ. Люди эти сорвались съ общаго пути, тяжелаго и безобразнаго, и нѣкогда не попадали на свой собственный, искали его и на этомъ исканіи останавливались. Въ этой пожертвованной шеренгѣ черты очень разны: не всѣ похожи на Опѣгина или Печорина, не всѣ лишніе и праздные люди; а есть люди трудившіеся и ни въ чемъ не успѣвшіе—люди неудавшіеся. Мнѣ тысячу разъ хотѣлось передать рядъ своеобразныхъ фигуръ, рѣзкихъ портретовъ, снятыхъ съ натуры, и я невольно останавливался, подавленный матеріаломъ. Въ нихъ нѣтъ стаднаго, рядскаго; чеканъ розный, но одна общая связь связуетъ ихъ, или лучше, одно *общее несчастье*; вглядываясь въ темносѣрый фонъ, видны солдаты подъ палками, крѣпостные подъ розгами, подавленный стоишь, выразившійся въ лицахъ, кибитки, несущіяся въ Сибирь, володники, плетущіеся туда же, бритые лбы, клейменные лица, каски, эполеты, султаны,... словомъ, петербургская Россія. Ею они несчастны, и нѣтъ силъ ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь дѣлу. Они хотятъ бѣжать съ полотна, и не могутъ: земли нѣтъ подъ ногами; хотятъ кричать — языка нѣтъ, да нѣтъ и уха, которое бы слышало.

Дивиться нечему, что при этомъ потерянномъ равновѣсіи больше развивалось оригиналовъ и чудачковъ, чѣмъ практически-полезныхъ людей, чѣмъ неутомимыхъ работниковъ, что въ ихъ жизни было столько же неустроеннаго и безумнаго, какъ хорошаго и чисто человеческого.

Отецъ К. былъ инструментальный мастеръ. Онъ славился своими хирургическими инструментами и высокой

честностью. Онъ умеръ рано, оставивъ большую семью на рукахъ вдовы и очень разстроенныя дѣла. Происхожденіемъ онъ былъ, кажется, Шведъ. Стало, объ истинной связи, о той непосредственной связи съ народомъ, которая всасывается съ молокомъ, съ первыми играми, даже въ господскомъ домѣ, не можетъ быть и рѣчи. Общество иностранныхъ производителей, индустріаловъ, ремесленниковъ и ихъ хозяевъ, составляетъ замкнутый кругъ жизни, — привычками, интересами, всѣмъ на свѣтѣ отдѣленный и отъ верхняго, и отъ низшаго русскаго слоя. Часто эта среда внутри своей семейной жизни гораздо нравственнѣе и чище, чѣмъ дикая тиранія и затворническій развратъ нашего купечества, чѣмъ печальное и тяжелое пьянство мѣщанъ, чѣмъ узкая, грязная и основанная на воровствѣ жизнь чиновниковъ, но тѣмъ не меньше она совершенно чуждая окружающему міру, иностранная, дающая съ самаго начала другой рлі и другія основы.

Мать К. была русская, вѣроятно отъ того К. и не сдѣлался иностранцемъ. Въ воспитаніе дѣтей, я не думаю, чтобъ она входила; но чрезвычайно важно было то, что дѣти были крещены въ православной вѣрѣ, т. е. не имѣли никакой. Будь они лютеране или католики, они совсѣмъ бы отошли на нѣмецкую сторону, они ходили бы въ ту или другую кирку и вступили бы незамѣтно въ выдѣляющуюся, обособляющуюся Gemeinde, съ ея партіями, и приходскими интересами. Въ русскую церковь конечно К. никто не посылалъ; сверхъ того, если онъ иногда и хаживалъ туда ребенкомъ, то она не имѣетъ того паутиннаго свойства какъ ея сестры, особенно на чужбинѣ.

Надобно вспомнить, что время, о которомъ идетъ рѣчь, вовсе не знало судорожнаго православія. Церковь,



какъ и Государство, не защищались тогда чѣмъ попало, не ревновали о своихъ правахъ, можетъ потому, что никто не нападалъ. Всѣ знали какіе это два звѣря, и не клали имъ пальца въ ротъ. За то и они не хватили прохожихъ за воротъ, сомнѣваясь въ ихъ православіи или вѣрноподданничествѣ. Когда въ Московскомъ университетѣ учредили кафедрѣ богословія, старикъ профессоръ Геймъ, памятный лексиконамъ, съ ужасомъ говорилъ въ университетской „Аулѣ“ : *Es ist ein Ende mit der grossen Hochschule Ruthenias*. Даже свпрѣпая холера изувѣрства, безумная, кричащая, доносящая, полицейская (какъ все у насъ) Магницкаго и Рунича, пронеслась зловредной тучей, побила народъ, попавшійся на дорогѣ, и исчезла, воплощаясь въ разныхъ Өотіевъ и Графинь. Въ гимназіяхъ и школахъ катехизисъ преподавался для формы и для экзамена, который постоянно начинался съ „Закона Божья“.

Когда пришло время, К. поступилъ въ медико-хирургическую Академію. Это было тоже чисто иностранное заведеніе, и тоже не особенно православное. Тамъ проповѣдывалъ Just Christian Loder, другъ Гёте, учитель Гумбольдта, одинъ изъ той плеяды сильныхъ и свободныхъ мыслителей, которые подняли Германію на ту высоту, о которой она не мечтала. Для этихъ людей наука еще была религіей, пропагандой военной; имъ самимъ свобода отъ теологическихъ цѣпей была нова, они еще помнили борьбу, они вѣрили въ побѣду и гордились. Лодеръ никогда не согласился бы читать анатомію по Филаретову катехизису. Возлѣ него стояли Финнеръ Вальдгеймскій и операторъ Гильдебрандтъ, о которыхъ я говорилъ въ другомъ мѣстѣ. Ни слова русскаго, ни русскаго лица, а разные другіе нѣмецкіе адъюнкты, лаборанты, прозекторы и фармацевты : все

русское было отодвинуто на второй планъ. Одно исключеніе мы только и помнимъ, это Детковскій. К. чтилъ его память, и онъ, вѣроятно, имѣлъ хорошее вліяніе на студентовъ; впрочемъ медицинскіе факультеты и въ позднѣйшее время жили не общей жизнью университетовъ, составленные изъ двухъ націй: нѣмцевъ и семпнарштовъ, а занимались своимъ *дѣломъ*.

Этого дѣла показалось мало К., и это лучшее доказательство тому, что онъ не былъ нѣмецъ и не искалъ прежде всего профессіи.

Особенной симпатіи къ своему домашнему кругу онъ не могъ имѣть; съ молодыхъ лѣтъ любилъ онъ жить особнякомъ. Остальная окружающая среда могла только оскорблять и отталкивать его. Онъ принялся читать и читать Шиллера.

К. впоследствии перевелъ всего Шекспира, но Шиллера съ себя стереть не могъ.

Шиллеръ былъ необыкновенно по плечу нашему студенту. Поза и Максъ, Карлъ Моръ и Фердинандъ студенты, разбойники-студенты: все это протестъ перваго разсвѣта, перваго негодованія. Больше дѣятельный сердцемъ чѣмъ умомъ, К. понялъ, овладѣлъ поэтической рефлексіей Шиллера, его революціонной философіей въ діалогахъ и на нихъ остановился. Онъ былъ удовлетворенъ, критика и скептицизмъ были для него совершенно чужды.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ Шиллера онъ попалъ на другое чтеніе и нравственная жизнь его была окончательно рѣшена. Все остальное проходило безслѣдно, мало занимало его. Девяностые годы, эта громадная, колоссальная трагедія въ Шиллеровскомъ родѣ, съ рефлексіями и кровью, съ мрачными добродѣтелями и свѣтлыми идеалами, съ тѣмъ же характеромъ разсвѣта

и протеста, поглотили его. Отчета К. и тутъ себѣ не давалъ. Онъ бралъ французскую революцію, какъ библейскую легенду; онъ вѣрилъ въ нее, онъ любилъ ея лица, имѣлъ личныя къ ней пристрастія и наивности; за кулисы его ничто не звало.

Такимъ я его встрѣтилъ въ 1831 году у Пассека и такимъ оставилъ въ 1847 году на Черной Грязи.

Мечтатель, не романтический, а такъ сказать этко-политическій, врядъ ли могъ найти въ тогдашней медико-хирургической Академіи ту среду, которую искалъ. Червь точилъ его сердце и врачебная наука не могла заморить его. Отходя отъ окружавшихъ людей, онъ больше и больше вживался въ одно изъ тѣхъ лицъ, которыми было полно его воображеніе. Наталкиваясь вездѣ на совсѣмъ другіе интересы, на мелкыхъ людিশекъ, онъ сталъ дичать, привыкъ хмурить брови, говорить безъ нужды горькія истины и истины всѣмъ извѣстныя, старался жить какимъ-то лафонтеновскимъ „Зондерлингомъ“, какимъ-то „Робинсономъ въ Сокольникахъ“. Въ небольшомъ саду ихъ дома была бесѣдка, туда перебрался „лѣкарь К. и принялся переводить лѣкаря Шплера“, какъ въ тѣ времена острилъ Н. А. Полевой. Въ бесѣдкѣ дверь не имѣла замка.... въ ней было трудно повернуться: это-то и было надобно. Утромъ копался онъ въ саду, сажалъ и пересаживалъ цвѣты и кусты, даромъ лечилъ бѣдныхъ людей въ окологдѣ, правилъ корректуру „Разбойниковъ“ и „Фіески“, и, вмѣсто молитвы на сонъ грядущій, читалъ рѣчи Марата и Робеспьера. Словомъ, еслибъ онъ меньше занимался книгами и больше заступомъ, онъ былъ бы тѣмъ, чѣмъ желалъ Руссо, чтобы былъ каждый.

Съ нами К. сблизился черезъ Вадима въ 1831 году. Въ нашемъ кружкѣ, состоявшемъ тогда, сверхъ насъ

двоихъ, изъ Сазонова, старшихъ Пассековыхъ и еще двухъ-трехъ студентовъ, онъ увидѣлъ какой-то зачатокъ исполненія своихъ завѣтныхъ мечтаній, новые всходы на плотно скошенной нивѣ въ 1826 году, и потому горячо къ намъ придвинулся. Постарше насъ, онъ вскорѣ овладѣлъ „цензурой нравовъ“ и не давалъ намъ дѣлать шагу безъ замѣчаній, а иногда и выговора. Мы вѣрили, что онъ практическій человѣкъ и опытный больше насъ, сверхъ того мы любили его, и очень. Занемогъ ли кто, К. являлся сестрой милосердія и не оставлялъ больного пока тотъ оправлялся. Когда взяли Кольрейфа, Антоновича и др., К. первый пробрался къ нимъ въ казармы, развлекалъ ихъ, дѣлалъ имъ поученія и дошелъ до того, что жандармскій генералъ Лисовскій призывалъ его и внушалъ ему быть осторожнѣе и вспомнить свое званіе (Штабъ-Лѣкарь!). Когда Надеждинъ, теоретически влюбленный, хотѣлъ тайно обвиняться съ одной барышней, которой родители запретили думать о немъ, К. взялся ему помогать, устроилъ романтическій побѣгъ, и самъ, завернутый въ знаменитомъ плащѣ чернаго цвѣта съ красной подкладкой, остался ждать завѣтнаго знака, сидя съ Надеждинымъ на лавочкѣ Рождественскаго бульвара. Знака долго не подавали. Надеждинъ унылъ и палъ духомъ. К. стоически утѣшалъ его ; отчаяніе и утѣшенія подѣйствовали на Надеждина оригинально, онъ задремалъ. К. насупилъ брови и мрачно ходилъ по бульвару. „Она не прійдетъ, говорилъ Надеждинъ съ просонья, пойдете спать“. К. вдвое насупилъ брови, мрачно покачалъ головой и повелъ соннаго Надеждина домой. Вслѣдъ за ними вышла и дѣвушка въ сѣни своего дома, и условленный знакъ былъ повторенъ не одинъ, а десять разъ, и ждала она часъ-другой : все тихо, она сама еще тише возвратилась въ свою комнату,

вѣроятно заплакала, но за то радикально вылечилась отъ любви къ Надеждину. К. долго не могъ простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, съ дрожащей нижней губой говорилъ: „онъ ее не любилъ!“

Участіе К. во время нашего тюремнаго заключенія, во время моей женитьбы, рассказано въ другихъ мѣстахъ. Пять лѣтъ, которые онъ оставался почти одинъ, съ 1834 до 1840, изъ нашего круга въ Москвѣ, онъ съ гордостью и доблестью представлялъ его, храня нашу традицію и не измѣняя ни въ чемъ ни юты. Таимъ мы его и застали, кто въ 1840, кто въ 1842; въ насъ ссылка, столкновение съ чужимъ міромъ, чтеніе и работа измѣнили многое. К., неподвижный представитель нашъ, остался тотъ же, только вмѣсто Шиллера переводилъ Шекспира.

Одна изъ первыхъ вещей, которой занялся К., чрезвычайно довольный, что старые друзья съѣзжались снова въ Москву, состояла въ возобновленіи своей цензуры мысли, — и тутъ оказались первыя шереховатости, которыхъ онъ долго не замѣчалъ. Его брань иногда сердила, чего прежде не бывало, иногда надоѣдала. Пренная жизнь кипѣла такъ быстро и шла такъ обще, что никто не обращалъ вниманія на маленькіе камешки по дорогѣ. Время, какъ я сказалъ, измѣнило многое, личности развились рѣзче, развились розно — роль доброго, но ворчащаго дяди, часто была хуже чѣмъ смѣшна, всѣ старались повернуть въ смѣшное, покрыть его дружбой, его чистыми намѣреніями, ненужную искренность и обличительную любовь, и дѣлали очень дурно. Да, дурно было и то, что была необходимость покрывать, объяснять, натягивать. Еслибъ его остановили съ самаго начала, не выросли бы тѣ несчастныя столкновения, которыми заключилась наша московская жизнь въ началѣ 1847 года.

Впрочемъ новыя друзья не совсѣмъ были такъ снисходительны, какъ мы, и самъ Бѣлинскій, очень любившій его, выбившись иной разъ изъ силъ и столько же истерпѣвшій несправедливости, какъ самъ К., давалъ ему рѣзкіе уроки, на цѣлые мѣсяцы переставая съ нимъ спорить. Холоднымъ или равнодушнымъ К. никогда не бывалъ. Онъ былъ постоянно въ пароксизмѣ преслѣдованія, или въ припадкѣ любви, быстро переходя изъ самаго горячаго друга — въ уголовного судью; изъ этого ясно, что онъ всего менѣе выносилъ холодъ и молчаніе.

Тотчасъ послѣ ссоры или ряда крупныхъ обвиненій, К. развлекался, гнѣвъ проходилъ безслѣдно, вѣроятно внутренно бывалъ онъ недоволенъ собой, но никогда не сознавалъ; напротивъ, онъ старался всему придать видъ шутки и опять переходилъ за тѣ предѣлы, за которыми шутка не веселитъ. Это было вѣчное повтореніе знаменитаго „Гусака“ въ припреніи Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Кто не впадетъ дѣтей, которыя, закусивъ удила, нервно не могутъ остановиться въ какойнибудь шалости; увѣренность въ томъ, что будетъ наказаніе, какъ будто успиваетъ искушеніе. Чувствуя, что успѣлъ снова додразнить когонибудь до холодныхъ и коленыхъ отвѣтовъ, онъ окончательно возвращался въ мрачное расположеніе духа, поднималъ брови, ходилъ большими шагами по комнатѣ, становился трагическимъ лицомъ изъ Шиллеровскихъ драмъ, присяжнымъ изъ суда Фуке Тэнвилля, пропносилъ свирѣпымъ голосомъ рядъ обвиненій на всѣхъ насъ, обвиненій, неимѣвшихъ ни малѣйшаго основанія, самъ подъ конецъ убѣждался въ нихъ и, подавленный горемъ, что его друзья такіе мерзавцы, уходилъ угрюмо домой, — оставляя насъ ошеломленными, взбѣшенными до тѣхъ

поръ, пока гнѣвъ ложился на мнѣлость и мы хохотали какъ сумашедшіе.

На другой день К., съ раннего утра, тихій и печальный, ходилъ изъ угла въ уголъ; свирѣпо дымя трубкой и ожидая, чтобъ кто нибудь изъ насъ пріѣхалъ побранить его и помириться; мнилъся онъ разумѣется, сохраняя всегда все свое достоинство взыскательнаго, но стараго дяди. Если же никто не являлся, то К., затаивъ въ груди смертельный страхъ, шелъ печально въ кофейную на Неглинной или въ свѣтлую, покойную гавань, въ которой всегда встрѣчалъ его добродушный смѣхъ и дружескій пріемъ, т. е. отправлялся къ М. С. Щепкину, ожидая у него пока буря, поднятая имъ, уляжется; онъ разумѣется жаловался М. С. на насъ; добрый старикъ мылил ему голову, говорилъ, что онъ поретъ дичь, что мы совсѣмъ не такіе злодѣи, какъ онъ говоритъ, и что онъ его сейчасъ повезетъ къ намъ. Мы знали какъ К. мучился послѣ своихъ выходовъ, понимали, или лучше прощали то чувство, почему онъ не говорилъ прямо и просто, что виноватъ, и стирали по первому слову до чиста слѣды размолвки. Въ нашихъ уступкахъ на первомъ планѣ участвовали дамы, становившіяся почти всегда его заступницами. Имъ нравилась его открытая простота (онъ и ихъ не щадилъ), доходившая до грубости, какъ странность; видя ихъ потворство, К. убѣдился, что такъ и слѣдуетъ поступать, что это мило, и что сверхъ того, это его обязанность.

Наши споры и ссоры въ Покровскомъ иногда бывали полны комизма, а все таки оставляли на цѣлые дни длинную, сѣрую тѣнь.

— Отчего кофе такъ дуренъ? спросилъ я у Матвѣя.

— Его не такъ варять — отвѣчалъ К. и предложилъ свою методу. Кофе вышелъ такой же.

— Давайте сюда спиртъ и кофейникъ — я самъ сварю, замѣтилъ К. и принялся за дѣло. Кофе не поправился, — я замѣтилъ это К. — К. попробовалъ и, уже нѣсколько взволнованнымъ голосомъ и устремивъ на меня свой взглядъ изъ подъ очковъ, спросилъ : „Такъ по твоему этотъ кофе не лучше?“

— Нѣтъ.

— Однако же это удивительно, что ты въ эдакой мелочи не хочешь отказаться отъ своего мнѣнія.

— Не я, а кофе.

— Это наконецъ изъ рутъ вонъ, что за несчастное самолюбіе.

— Помилуй, да вѣдь не я варилъ кофе и не я дѣлалъ кофейникъ...

— Знаю я тебя... лишь бы поставить на своемъ. Какое ничтожество изъ за поганого кофе, — адское самолюбіе! — Больше онъ не могъ, удрученный моимъ дептизмомъ, и самолюбіемъ во вкусъ, — онъ нахлобучилъ свой картузъ, схватилъ лукошко и ушелъ въ лѣсъ. Онъ воротился къ вечеру, исхивши верстъ двадцать ; счастливая охота по бѣлымъ грибамъ, березовикамъ и масленкамъ разогнала его мрачное расположеніе, я разумѣется не поминалъ о кофе и дѣлалъ разныя вѣжливости грибамъ.

На слѣдующее утро онъ попытался было снова поставить кофейный вопросъ, но я уклонился.

Одинъ изъ главныхъ источниковъ нашихъ препинаній, было воспитаніе моего сына. Воспитаніе дѣлать судьбу медицины и флософіи : всѣ на свѣтѣ имѣютъ объ нихъ опредѣленные и рѣзкія мнѣнія, кромѣ тѣхъ, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройкѣ моста, объ осушеніи болота, человѣкъ откровенно скажетъ, что онъ не инженеръ, не агрономъ. Заговорите



о водяной или чахоткѣ, онъ предложитъ лекарство, по памяти, по наслышкѣ, по опыту своего дяди, но въ воспитаніи онъ идетъ далѣе. „У меня, говоритъ, такое правило, и я отъ него никогда не отступаю ; что касается до воспитанія, я шутить не люблю, это предметъ слишкомъ близкій къ сердцу“.

Какія понятія о воспитаніи долженъ былъ имѣть К., можно вывести до послѣдней крайности изъ того очерка его характера, который мы сдѣлали. Тутъ онъ былъ послѣдователенъ себѣ, обыкновенно толкующіе о воспитаніи и этого не имѣютъ. К. имѣлъ Эмплевскія понятія и твердо вѣровалъ, что ниспроверженіе всего, что теперь дѣлается съ дѣтьми, было бы само по себѣ отличное воспитаніе. Ему хотѣлось исторгнуть ребенка изъ *искусственной* жизни и сознательно возвратить его въ дикое состояніе, въ ту первобытную независимость, въ которой равенство простирается такъ далеко, что различіе между людьми и обезьянами снова стерлось бы.

Мы сами были не очень далеки отъ этого взгляда, но у него онъ дѣлался, какъ все однажды усвоенное имъ, фанатизмомъ, нетерпящимъ ни сомнѣній, ни возраженій. Въ противодѣйствіи старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанію, съ его догматизмомъ, доктринаризмомъ, натянутымъ педантскимъ классицизмомъ и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась дѣйствительная и справедливая потребность. По несчастію въ дѣлѣ воспитанія, какъ во всемъ, крупный и революціонный путь, зря ломающій старое, ничего не давалъ въ замѣну. *Дикій предразсудокъ нормальнаго человека*, къ которому стремились послѣдователи Жанъ-Жака, *отрывалъ ребенка отъ исторической среды, дѣлалъ его въ ней иностранцемъ, какъ будто воспитаніе не есть привитіе родовой жизни лицу.*

Споры о воспитаніи рѣдко велись на теоретическомъ полѣ, прикладное было слишкомъ близко. Мой сынъ, тогда ему было лѣтъ семь, восемь, былъ слабого здоровья, очень подверженъ лихорадкамъ и кровавымъ поносамъ. Это продолжалось до нашей поѣздки въ Неаполь, или до встрѣчи въ Сорренто съ однимъ неизвѣстнымъ докторомъ, который измѣнилъ всю систему леченія и гигиены. К. хотѣлъ его закалить съ разу, какъ желѣзо, я не позволялъ и онъ выходилъ изъ себя: „ты консерваторъ“, кричалъ онъ съ неистовствомъ, „ты погубишь несчастнаго ребенка, ты сдѣлаешь изъ него изнѣженнаго барича и вмѣстѣ съ тѣмъ раба“.

Ребенокъ шалилъ и кричалъ во время болѣзни матери, я останавливалъ его; сверхъ простой необходимости мнѣ казалось совершенно справедливымъ заставлять его стѣснять себя для другаго, для матери, которая его такъ безвѣчно любила; но К. мрачно говорилъ мнѣ, затыкаясь до глубины сердечной Жуковымъ: „гдѣ твое право останавливать его крикъ, онъ долженъ кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей!“

Размолвки эти, какъ я ни бралъ ихъ легко, дѣлали тяжелыми наши отношенія и грозили серьезнымъ отдаленіемъ между К. и его друзьями. Еслибъ это было, онъ больше всѣхъ былъ бы наказанъ и потому, что онъ все же былъ очень привязанъ ко всѣмъ, и потому, что онъ мало умѣлъ жить одинъ. Его нравъ былъ по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто нибудь ему былъ необходимъ. Самый трудъ его былъ постоянной бесѣдой съ *другимъ*, этотъ другой былъ Шекспиръ. Проработавши цѣлое утро, ему становилось скучно. Лѣтомъ онъ еще могъ бродить по полямъ, работать въ саду; но зимой оставалось надѣть знаменитый плащъ, или верблюжьяго цвѣта шерхова-

тое пальто, и идти изъ подъ Сокольниковъ къ намъ на Арбатъ или на Никитскую.

Доля его строптивой нетерпимости происходила отъ этого отсутствія внутренней работы, повѣрки, разбора, приведенія въ ясность вопросовъ ; для него вопросовъ не было : дѣло рѣшеное, и онъ шелъ впередъ не оглядываясь. Можетъ, еслибъ онъ былъ призванъ на практическое дѣло, это и было бы хорошо, но его не было. Живое внимательство въ общественныя дѣла было невозможно, у насъ въ нихъ мѣшаютъ только первые три класса, и онъ свою жажду дѣла перенесъ на частную жизнь друзей. Мы избавлялись отъ пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой. К. рѣшалъ всѣ вопросы *sommairement*, съ плеча, такъ или иначе—все равно ; а рѣшивши, продолжалъ, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо вѣрнымъ своему рѣшенію.

При всемъ томъ, серьезнаго отдаленія до 1846 между нами не было. Natalie очень любила К., съ нимъ неразрывна была память 9 Мая 1838 года, она знала, что подъ его ежевыми колючками хранилась нѣжная дружба, и не хотѣла знать, что колючки росли и пускали дальше и дальше свои корни.

Ссора съ К. представлялась ей чѣмъ-то зловѣщимъ, ей казалось, если время можетъ подпилить, и притомъ такой маленькой пилкой, одно изъ колецъ такъ крѣпко державшихся во всю юность, то оно примется за другое, и вся цѣпь рассыпется. Среди суровыхъ словъ и жесткихъ отвѣтовъ, я видѣлъ какъ она блѣднѣла и просила взглядомъ остановиться, страхивала минутную досаду и протягивала руку. Иногда это трогало К., но онъ употреблялъ гигантскія усилія, чтобъ показать, что ему въ сущности все равно, что онъ готовъ примириться, но пожалуй будетъ продолжать ссору.

На этомъ можно было бы годы продлить страшное, колебавшееся отношеніе карающей дружбы п дружбы уступающей. Но новыя обстоятельства, усложнившія жизнь К., повели дѣла круче.

У него былъ свой романъ, странный какъ все въ его жизни и заставившій его быстро осѣсть въ довольно топкой семейной сферѣ. Жизнь К., сведенная на величайшую простоту, на элементарныя потребности студентскаго бездомовья и кочевья по товарищамъ, вдругъ измѣнилась. У него въ *домъ* явилась женщина, или вѣрнѣе, у него *явился домъ*, потому, что въ немъ была женщина. До тѣхъ поръ никто не предполагалъ К. семейнымъ человѣкомъ, въ своемъ *chez soi*; его, любившаго до того все дѣлать безпорядочно, ходя закусывать, курить между супомъ и говядиной, спать не на своей кровати, что Константинъ Аксаковъ замѣчалъ шутя: „что К. отличается отъ людей тѣмъ, что люди обѣдаютъ, а К. ѣстъ“, у него вдругъ ложе, свой очагъ, своя крыша!

Случилось это вотъ какъ.

За нѣсколько лѣтъ до того К., ходя всякій день по пустыннымъ улицамъ между Сокольниками и Басманной, сталъ встрѣчать бѣдную, почти нищую дѣвочку; утомленная, печальная возвращалась она этой дорогой изъ какой-то мастерской. Она была некрасива, запугана, застѣнчива и жалка, ея существованіе никѣмъ не было замѣчено... ее никто *не жаль*. Круглая сирота, она была принята ради имени Христова въ какой-то раскольнический скитъ, тамъ выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, безъ защиты, безъ опоры, одна на свѣтѣ. К. сталъ съ ней разговаривать, приучилъ ее не бояться себя, расспрашивая ее о ея печальномъ ребячествѣ, о ея горемычномъ существованіи. Въ немъ первомъ она нашла участіе и теплоту, и привязалась къ нему душой

и тѣломъ. Его жизнь была одинока и сурова : за всѣми шумами пріятельскихъ пировъ, московскихъ первыхъ спектаклей и Бажановской кофейни, была пустота въ его сердцѣ, въ которой онъ конечно не признался бы даже себѣ самому, но которая сказывалась. Бѣдный, невзрачный цвѣтокъ самъ собою падалъ на его грудь,— и онъ принималъ его, не очень думая о послѣдствіяхъ и, вѣроятно, не приписывая этому случаю особенной важности.

Въ лучшихъ и развитыхъ людяхъ для женщинъ все еще существуетъ что-то въ родѣ электоральнаго ценза, и есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. Съ ними не женировались мы всѣ, и потому бросить камень врядъ ли посмѣетъ ктонибудь.

Сирота безумно отдалась К. Не даромъ воспиталась она въ раскольническомъ скиту : она изъ него вынесла способность изуверства, идолопоклонства, способность упорнаго, сосредоточеннаго фанатизма и безграничной преданности. Все, что она любила и чтילה, чего боялась, чему повиновалась, Христосъ и Богоматерь, святые угодники и чудотворныя иконы : все это теперь было въ К., человѣкѣ, который первый пожалѣлъ, первый приласкалъ ее. И все это было въ половину скрыто, погребено, не смѣло обнаружиться.

..... У ней родился ребенокъ ; она была очень больна, ребенокъ умеръ... Связь, которая должна была скрѣпить ихъ отношенія, лопнула. К. сталъ холоднѣе къ С., видался рѣже и наконецъ совсѣмъ оставилъ ее. Что это дикое дитя „не разлюбить его даромъ“ — можно было смѣло предсказать. Что же у ней оставалось на всемъ бѣломъ свѣтѣ, кромѣ этой любви ? Развѣ броситься въ Москву рѣку. Бѣдная дѣвушка, оканчивая дневную работу, едва прикрытая скуднымъ платьемъ, выходила, не

смотря ни на ненастье, ни на холодъ, на дорогу, ведущую къ Басманной, и ждала часы цѣлыя, чтобъ встрѣтить его, проводить глазами, и потомъ плакать, плакать цѣлую ночь; большею частью она пряталась, но иногда кланялась ему и заговаривала. Если онъ ласково отвѣчалъ, С. была счастлива и весело бѣжала домой. О своемъ же „несчастьи“, о своей любви, она говорить стыдилась и не смѣла. Такъ прошли года два или больше. Молча и безропотно выносила она судьбу свою. Въ 1845 К. переселился въ Петербургъ. Это было выше силъ. Не видать его даже на улицѣ, не встрѣчать издали и не проводить глазами, знать, что онъ за семьсотъ верстъ, между чужими людьми, и не знать здоровъ ли онъ и не случилось ли съ нимъ какой бѣды. Этого вынести она не могла. Безъ всякихъ пособій и помощи, С. начала копить копѣйками деньги, сосредоточила всѣ усилія къ одной цѣли, работала мѣсяцы, исчезла и добралась таки до Петербурга. Тамъ, усталая, голодная, исхудалая, она явилась къ К., умоляя его, чтобъ онъ не оттолкнулъ ее, чтобъ онъ ее принялъ, что дальше ей ничего не нужно, она найдетъ себѣ уголь, найдетъ черную работу, будетъ жить на хлѣбѣ и водѣ, — лишь бы остаться въ томъ городѣ гдѣ онъ, и иногда видѣть его. Тогда только К. вполне понялъ, что за сердце билось въ ея груди. Онъ былъ подавленъ, потрясенъ. Жалость, раскаяніе, сознание, что онъ такъ любимъ, измѣнили роли: теперь она останется здѣсь у него, это будетъ ея домъ, онъ будетъ ея мужемъ, другомъ, покровителемъ. Ея мечтанія сбылись, забыты холодныя осеннія ночи, забытъ страшный путь, и слезы ревности, и горькія рыданья: она съ нимъ, и уже навѣрное не разстанется больше — живая. До пріѣзда К. въ Москву никто не зналъ всей этой исторіи, развѣ одинъ Михаилъ Семеновичъ — теперь скрыть

ее было невозможно и не нужно : мы двое и весь нашъ кругъ приняли съ распростертыми объятіями этого дичка, сдѣлавшаго геройскій подвигъ. И эта-то дѣвушка, полная любви, со своей безусловной преданностью, покорностью, надѣлала К. бездну вреда. На ней было все благословеніе и все проклятіе, лежащее на пролетаріатѣ — да еще особенно на нашемъ.

Въ свою очередь и мы нанесли ей чуть ли не столько же зла, сколько она К.

И то и другое въ совершенномъ невѣденіи и съ безусловной чистотой намѣреній! Она окончательно испортила жизнь К., какъ ребенокъ портитъ кистью хорошую гравюру, воображая, что онъ ее раскрашиваетъ. Между К. и С., между С. и нашимъ кругомъ, лежалъ огромный, страшный обрывъ, во всей рѣзкости своей крутизны, безъ мостовъ, безъ брода. Мы и она принадлежали къ разнымъ возрастамъ человѣчества, къ разнымъ формаціямъ его, къ разнымъ томамъ всемірной исторіи. Мы — дѣти новой Россіи, вышедшіе изъ Университета и Академіи, мы, увлеченные тогда политическимъ блескомъ Запада, мы, религіозно хранившіе свое невѣріе, открыто отрицавшіе церковь ; и она, воспитавшаяся въ раскольническомъ скитѣ, въ до-петровской Россіи, во всемъ фанатизмѣ сектаторства, со всѣми предрасудками прячущейся религіи, со всѣми причудами стариннаго русскаго быта. Связывая вновь, необыкновенной силой воли, порванные концы, она крѣпко держалась за узелъ. Ускользнуть К. уже не могъ. Но онъ и не хотѣлъ этого. Упрекая себя въ прошедшемъ, К. искренно стремился загладить его ; подвигъ С. увлекъ его. Склоняясь передъ нимъ, онъ зналъ, что въ свою очередь и онъ дѣлаетъ жертву ; но, натура въ высшей степени чистая и благородная, онъ былъ радъ ей какъ

искупленію. Только зналъ онъ одну матеріальную сторону ея: фактическое стѣсненіе жизни; — противорѣчіе сожитія стараго студента съ шиллеровскими мечтамъ, съ женщиной, для которой не только міръ Шиллера не существовалъ, но и міръ грамотности, міръ всего свѣтскаго образованія, — ему и въ голову не приходило.

Что ни говори и ни толкуй, но пословица *inter pares amicitia* совершенно вѣрна, и всякій *mésalliance* — впередъ посѣянное несчастіе. Много глупаго, надменнаго, буржуазнаго разумѣлось подъ этимъ словомъ, но сущность его истинна. Въ худшемъ изъ всѣхъ неравенствъ — въ неравенствѣ развитія, одно спасеніе и есть: *воспитаніе одного лица другимъ*, но для этого надобно два рѣдкіе дара: надобно, чтобъ *одинъ умѣлъ воспитывать*, а *другой умѣлъ воспитываться*, чтобъ одинъ вель, другой шель. Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, безъ другихъ захватывающихъ душу интересовъ, одолеваетъ; человѣка возьметъ одурь, усталъ; онъ незамѣтно мельчаетъ, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокоивается, запутанный нитками и тесемками. Бываетъ и то, что ни та, ни другая личность не сдаются, и тогда сожитіе превращается въ консолидированную войну, въ вѣчное единоборство, въ которомъ лица крѣпнуть и остаются на вѣки вѣковъ въ безплодныхъ усиліяхъ съ одной стороны *поднять* и съ другой *стянуть*, т. е. *отстоять свое мѣсто*. При равныхъ силахъ этотъ бой поглощаетъ жизнь, и самыя крѣпкія натуры истощаются и падаютъ обезсиленными середь дороги. Падаетъ всего прежде натура развитая, ея эстетическое чувство глубоко оскорблено двойнымъ строемъ, лучшія минуты, въ которыя все звонко и ярко, ей — отравлены: экспансивные люди страстно требуютъ, чтобъ все близкое имъ, было близко



ихъ мысли, ихъ религіи ; — это принимаютъ за нетерпимость. Для нихъ прозелитизмъ дома, продолженіе апостольства, пропаганды ; ихъ счастье оканчивается тамъ, гдѣ ихъ не понимаютъ.... а чаще всего ихъ не хотятъ понять.

Позднее воспитаніе сложившейся женщины дѣло очень трудное ; особенно трудное въ тѣхъ сожитіяхъ, которыя обанчиваются, а не начинаются близкія отношенія. Связи легко, вѣтренно начатыя, рѣдко поднимаются выше спальни и кухни. Общая крыша слишкомъ поздно покрываетъ ихъ, чтобъ подъ ней можно было учтись, развѣ какое нибудь странное несчастье разбудить душу спящую, но способную проснуться. По большей части la petite femme никогда не дѣлается большой, никогда не дѣлается женой и сестрой вмѣстѣ. Она остается или любовницей и лореткой, или дѣлается бухаркой и любовницей.

Сожитіе подъ одной крышей само по себѣ вещь страшная, на которой рушилась половина браковъ. Живя тѣсно вмѣстѣ, люди слишкомъ близко подходят другъ къ другу, видятъ другъ друга слишкомъ подробно, слишкомъ на распашку, и незамѣтно срываютъ по лепестку всѣ цвѣты вѣна, окружающаго поэзіей и граціей личность. Но одинаковость развитія сглаживаетъ многое. А когда ея нѣтъ, а есть праздный досугъ, нельзя вѣчно пороть вздоръ, говорить о хозяйствѣ или любезничать ; а что же дѣлать съ женщиной, когда она что-то промежуточное между одалской и служанкой, существо тѣлесно близкое и умственно далекое. Ее не нужно днемъ, а она безпрестанно тутъ ; мужчина не можетъ дѣлать съ ней своихъ интересовъ, она не можетъ не дѣлать съ нимъ своихъ сплетенъ.

Каждая неразвитая женщина, живущая съ развитымъ

мужемъ, напоминаетъ мнѣ Далилу и Самсона : она отрѣзываетъ его силу, и отъ нея никакъ не остережешься. Между обѣдомъ, даже и очень позднимъ, и постелью даже тогда, когда ложимся въ десять часовъ, есть еще бездна времени, въ которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, въ которое бѣлье сочтено и расходъ провѣренъ. Вотъ въ эти-то часы жена стягиваетъ мужа въ тѣсноту своихъ дрызгъ, въ мѣръ раздражительной обидчивости, пересудовъ и злыхъ намерковъ. Безслѣднымъ это не остается. Бываютъ прочныя отношенія сожитія мужнины съ женщиной безъ особеннаго равенства развитія, основанныя на удобствахъ, на хозяйствѣ, а почти скажу на гигиенѣ. Иногда это рабочія ассоціаціи, взаимная помощь, соединенная съ взаимнымъ удовольствіемъ; большей частію жена берется какъ сидѣлка, какъ добрая хозяйка, *roue avoit un bon pot au feu*, какъ говорилъ мнѣ Прудонъ. Формула старой юриспруденціи очень умна, а *mensa et tona*, уничтожь общій столъ и общую кровать, они и разойдутся съ покойной совѣстью.

Эти дѣловые браки, чуть ли не лучшіе. Мужъ постоянно въ своихъ занятіяхъ, ученыхъ, торговыхъ, въ своей канцеляріи, конторѣ, лавкѣ. Жена постоянно въ бѣльѣ и припасахъ. Мужъ возвращается усталый : все готово у него, и все идетъ шагомъ и маленькой рысцой къ тѣмъ же воротамъ кладбища, къ которымъ добѣхали родители. Это явленіе чисто городское, въ Англіи оно является чаще чѣмъ гдѣ либо ; это та среда мѣщанскаго счастья, о которомъ проповѣдывали мораллисты французской сцены, о которой мечтаютъ Нѣмцы (\*);

(\*) Ни у пролетарія, ни у крестьянъ нѣтъ между мужемъ и женой двухъ разныхъ образованій, а есть тяжелое равенство передъ работой и тяжелое неравенство власти мужа и жены.

въ ней легче уживаются разныя степени развитія черезъ годъ послѣ окончанія курса въ университетѣ; тутъ есть раздѣленіе труда и чинопочитаніе. Мужъ, особенно при капиталѣ, дѣлается тѣмъ, чѣмъ его называлъ смыслъ народный — *хозяинъ*, „mon bourgeois“ своей жены. Этимъ путемъ, и благодаря законамъ о наследствѣ, онъ не заростетъ травой, всякая женщина постоянно остается *женщиной на содержаніи*, если не у посторонняго, то у своего мужа. Она это знаетъ.

«Dessen Brod man ist  
Dessen Lied man singt».

Но въ этихъ бракахъ есть свое нравственное единство, есть свое одинакое воззрѣніе, свои одинакія цѣли. К. самъ цѣли не имѣлъ и не могъ быть ни *хозяиномъ*, ни воспитателемъ. Онъ не могъ даже бороться съ С., она всегда уступала. Своимъ крикомъ, своимъ строптивымъ характеромъ онъ запугалъ ее. При ея развитомъ сердцѣ, у нея было тяжелое, упирающееся пониманіе, та неповоротливость мозга, которую мы часто встрѣчаемъ въ людяхъ, совершенно непривычныхъ къ отвлеченной работѣ, и которая составляетъ одну изъ отличительныхъ чертъ до-петровскихъ временъ. Соединенная съ своимъ кровнымъ, болѣзненнымъ, она ничего не желала и ничего не боялась. Да и чего же было бояться? Бѣдности? да развѣ она всю жизнь не была бѣдна, развѣ она не вынесла нищету, эту бѣдность съ униженіемъ. Работы? развѣ она не работала съ утра до ночи въ мастерской за нѣсколько грошей. Ссоры, разлуки? Да, послѣднее было страшно, и очень; но она до такой степени отказалась отъ всякой воли, что трудно было съ ней въ самомъ дѣлѣ поссориться, а капризъ она вынесла бы, пожалуй вынесла бы и побои, лишь бы быть увѣренной, что онъ ее хоть немного любитъ и не хо-

четь съ ней разстаться. И онъ этого не хотѣлъ, и на это сверхъ всего росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чутъемъ любви С. Темно сознавая, что она не можетъ вполне удовлетворить К., она стала замѣнять чего въ ней не было постоянными уходомъ и заботливостью.

К. было за сорокъ лѣтъ. Въ отношеніи къ домашнему комфорту онъ не былъ избалованъ. Онъ почти всю жизнь прожилъ дома, такъ какъ въргизъ въ кибиткѣ, безъ собственности и безъ желанія ее имѣть, безъ всякихъ удобствъ и безъ потребности на нихъ. Исподволь все мѣняется ; онъ окруженъ сѣтью вниманья и услугъ, онъ видитъ дѣтскую радость, когда онъ чѣмъ нибудь доволенъ ; ужасъ и слезы, когда онъ поднимаетъ брови ; и это всякій день, съ утра до ночи. К. сталъ чаще оставаться дома : жаль же было и ее оставлять постоянно одну. Къ тому же трудно было, чтобъ К. не бросалось въ глаза различіе между ея совершенной покорностью и возраставшимъ отпоромъ нашимъ. С. переносила самые несправедливые взрывы его съ кротостью дочери, которая улыбается отцу, срывая слезы, и ожидаетъ, безъ гнѣва, чтобъ туча прошла. Покорная, безотвѣтная до рабства, С., трепещущая, готовая плакать и цѣловать руку, имѣла огромное вліяніе на К. Нетерпимость воспитывается уступкамъ.

Тереза, бѣдная, глупая Тереза Руссо, развѣ не сдѣлала изъ пророка равенства щепетильнаго разночинца, постоянно занятаго сохраненіемъ своего достоинства ?

Вліяніе С. на К. приняло ту самую складку, о которой говорить Дидро, жалуюсь на Терезу. Руссо былъ подозрителенъ ; Тереза развила подозрительность его въ мелкую обидчивость и, нехотя, безъ умысла, разсорила его съ лучшими друзьями. Вспомните, что Тереза никогда не умѣла порядкомъ читать и никогда не могла

выучиться узнавать который часъ,— что ей не помѣшало довести ппохондрію Руссо до мрачнаго помѣшательства.

Утромъ Руссо заходитъ въ Ольбаху ; человѣкъ приносить завтракъ и три куверта : Ольбаху, его женѣ и Гриму ; въ разговорѣ никто не замѣчаетъ этого, кромѣ Жанъ-Жака. Онъ беретъ шляпу. „Да останьтесь же завтракать“, говоритъ г-жа Ольбахъ и велитъ подать приборъ ; но уже поправитъ поздно : Руссо, желтый отъ досады, бѣжитъ, мрачно проклиная родъ человѣческій, въ Терезѣ и рассказываетъ, что ему не поставили тарелки, намекая, чтобъ онъ ушелъ. Ей такіе рассказы по душѣ ; въ нихъ она могла принять *горячее* участіе : они ставили ее на одну доску съ нимъ, и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать, то на М<sup>ме</sup> Удсто, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо перерываетъ связи, пишетъ безумныя и оскорбительныя письма, вызываетъ иногда страшные отвѣты, (напр. отъ Юма) и удаляется, оставленный всѣми, въ Монморанси, проклиная, за недостаткомъ людей, воробьевъ и ласточекъ, которымъ бросалъ зерна.

Еще разъ : безъ равенства, нѣтъ брака въ самомъ дѣлѣ. Жена, исключенная изъ всѣхъ интересовъ, занимающихъ ея мужа, чуждая имъ, не дѣлящая ихъ,—наложница, экономка, нянька, но *не жена* въ полномъ, въ благородномъ значеніи слова. Гейне говорилъ о своей „Терезѣ“, что она „не знаетъ, и никогда не узнаетъ о томъ, что онъ писалъ“. Это находили милымъ, смѣшнымъ и нпкому не приходило въ голову спросить : „За чѣмъ же она была его жена? Мольеръ, читавшій своей кухаркѣ свои комедіи, былъ во сто разъ человѣчественнѣе. За то М<sup>ме</sup> Айиъ и заплатила вовсе нѣхотя своему мужу. Въ послѣдніе годы его страдальческой жизни, она окружила его своими пріятельницами и пріятелями,

увядшими бамеліями прошлаго сезона, сдѣлавшимися нравственными дамами отъ морщинъ, и полными, поспѣвшими, падшими на ноги друзьями ихъ.

Я нисколько не хочу сказать, чтобъ жена непремѣнно должна и дѣлать и любить то, что дѣлаетъ и любитъ мужъ. Жена можетъ предпочитать музыку, а мужъ живопись:—это не разрушить равенства. Для меня всегда были ужасны, смѣшны и безсмысленны оффиціальныя тасканія мужа и жены, и чѣмъ выше, тѣмъ смѣшнѣе; зачѣмъ какой нибудь императрицѣ Евгеніи являться на кавалерійское ученіе и зачѣмъ Викторін возить своего мужчину, le Prince Consort, на открытіе парламента, до котораго ему дѣла нѣтъ. Гейне прекрасно дѣлалъ, что не возилъ свою дородную половину на веймарскіе куртаги. Проза ихъ брака была не въ этомъ, а въ отсутствіи всякаго общаго поля, всякаго общаго интереса, который бы связывалъ ихъ помимо полового влеченія...

Перехожу ко вреду, который мы сдѣлали бѣдной С. Ошибка, сдѣланная нами, опять таки родовая ошибка всѣхъ утопій и идеализмовъ. Вѣрно схватывая одну сторону вопроса, обыкновенно не обращается никакого вниманія къ чему эта сторона приросла и можно ли ее отдѣлить, — никакого вниманія на глубокое сплетеніе жилъ, связывающихъ дикое мясо со всѣмъ организмомъ. Мы все еще по христіански думаемъ, что стоитъ сказать хрому „возьми одръ твой и ступай“, онъ и пойдетъ.

Мы разомъ перебросили затворницу С., — С. полудивую, невидавшую людей, изъ ея одиночества въ нашъ кругъ. Ея оригинальность правилась, мы хотѣли ее сберечь и обломили послѣднюю возможность развитія, отняли у нея охоту къ нему, увѣривъ ее, *что и такъ хорошо*. Но оставаться *просто* по прежнему ей самой

не хотѣлось. Что же вышло? Мы, революціонеры, социалсты, защитники женскаго освобожденія, сдѣлали изъ наивнаго, преданнаго, простодушнаго существа, *московскую мыщанку!*

Не такъ ли Конвентъ, Якобинцы и сама Коммуна сдѣлали изъ Франціи—мѣщанина, изъ Парижа—*érisier?*

Первый домъ, открывшійся С. съ любовью, съ теплою сердца, былъ нашъ домъ. Natalie поѣхала къ ней и силой привезла къ намъ. Съ годъ времени С. держалась тихо и дичилась чужихъ; пугливая и застѣнчивая, какъ прежде, она была полна тогда своего рода народпого поэзіи. Ни малѣйшаго желанія обращать на себя вниманіе своей странностью; напротивъ, желаніе, чтобы ее не замѣтили. Какъ дитя, какъ слабый звѣрекъ, она пріобѣгала подъ крыло Natalie; ея преданности тогда не было границъ. Часы цѣлые любила она играть съ Сашей и рассказывала ему и намъ подробности своего ребячества, своей жизни у раскольниковъ, своихъ горестей въ ученіи, т. е. въ мастерской.

Она сдѣлалась игрушкой нашего круга; это наконецъ ей понравилось; она поняла, что ея положеніе, что она сама — *оригинальнъ*, и съ этой минуты она пошла ко дну;—никто не удерживалъ ее. Одна Natalie серьезно думала о томъ, чтобы развить ее. С. не принадлежала къ гуртовымъ натурамъ; ее миновали множество дрянныхъ недостатковъ; она не любила ридиться, была равнодушна къ роскоши, къ дорогимъ вещамъ, къ деньгамъ, — лишь бы К. не чувствовалъ нужды, былъ бы доволенъ, до остальнаго ей не было дѣла. Сначала С. любила долго-долго говорить съ Natalie и вѣрила ей, кротко слушала ея совѣты и старалась имъ слѣдовать..., но оглядѣвшись, обжившись въ нашемъ кругу и, можетъ, подстрѣбаемая другими, тѣшпвшимися ея странностями,

она начала показывать страдательную оппозицію и на всякое замѣчаніе далеко не наивно отвѣчала: „Ужъ я такая несчастная, гдѣ мнѣ мѣняться, да передѣлываться; видно ужъ такая глупая и безталанная и въ могилу сойду.“ Въ этихъ словахъ, свѣдома или безъ вѣдома, звучало задѣтое самолюбіе. Она перестала себя чувствовать свободной у насъ, рѣже и рѣже ходила она къ намъ. „Богъ съ ней, съ Н. А.“, говорила она, „разлюбляла она меня бѣдную“. Панибратство, пансіонская фамплярность, были чужды Natalie; въ ней во всемъ преобладалъ элементъ покойной глубины и великаго эстетическаго чувства. С. не поняла смысла разницы въ обхожденіи съ нею Natalie и другихъ, и забыла это первый протянулъ ей руку и прижалъ къ сердцу; выѣстъ съ ней отдался и К., все больше и больше угрюмый и раздражительный.

Подозрительность К. удвоилась. Въ каждомъ неосторожномъ словѣ онъ видѣлъ преднамѣренность, злой умыселъ, желаніе обидѣть, и не его одного, а и С. Она со своей стороны плакала, жаловалась на судьбу, обижалась за К. и, по закону нравственной реверберации, собственныя подозрѣнія его возвращались къ нему удесятеренными. Его обличительная дружба стала превращаться въ желаніе найти въ насъ вины, въ надзоръ, въ постоянное полицейское слѣдствіе и мелкіе недостатки его друзей покрывали для него гуще и гуще всѣ остальные стороны ихъ.

Въ нашъ чистый, свѣтлый, совершеннолѣтній кругъ стали врываться пересуды дѣвпчечьей и пикпроева провинціальныхъ чиновниковъ.

Раздражительность К. становилась заразительной; постоянныя обвиненія, объясненія, примпренія, отравляли наши сходки.



Вся эта їдкаѧ пылъ настїдала во всї щели, и мало по малу разлагала цементъ, соединявшїй такъ прочно наши отношенїя къ друзьямъ. Мы всї подверглись влїянїю сплетень. Самъ Грановскїй сталъ угрюмъ и раздражителенъ, несправедливо защищалъ К. и сердился. Къ Грановскому приходилъ К. съ своими обвиненїями противъ меня и Огарева. Грановскїй не вїрилъ имъ; но, жалїя „больнаго, огорченнаго и все таки любящаго К.“, запальчиво бралъ его сторону и сердился на меня за недостатокъ терпимости. „Вїдь ты знаешь, что у него нравъ такой; это болїзнь, влїанїе доброй С., но неразвитой и тяжелой, дальше и дальше толкаетъ его на этотъ несчастный путь, а ты спорилъ съ нимъ, какъ будто онъ былъ въ нормальномъ положенїи“.

Чтобъ кончить этотъ грустный разсказъ, приведу два примѣра... Въ нихъ ярко выразилось какъ далеко мы ушли отъ теорїи варенїя кофey въ Покровскомъ.

Какъ-то вечеромъ, весной 1846 года, у насъ было человекъ пять близкїхъ знакомыхъ, и въ томъ числѣ Михаилъ Семеновичъ. — „Нанялъ ты нынѣшнїй годъ домъ въ Соколовѣ?“ — Нѣтъ еще: денегъ нѣтъ, а тамъ надобно платить впередъ. — „Неужели же все лѣто останешься въ Москвѣ?“ — Подожду немного, потомъ увидимъ. — Вотъ и все. Никто не обратилъ на этотъ разговоръ никакаго вниманїя и, черезъ секунду, шла покойно другая рѣчь. Мы собирались на другой день послѣ обѣда съѣздить въ Кунцово, которое любили съ дѣтства. К., Коршъ и Грановскїй хотѣли ѣхать съ нами. Поѣздка состоялась, и все шло своимъ порядкомъ, кромѣ К., мрачно подымавшаго брови; но наконецъ всѣ были обстрѣлены.

Вечеръ былъ весеннїй, безъ палящаго жара, но теп-

мый; листъ только что развернулся; мы сидѣли въ саду, шутя и разговаривая. Вдругъ К., молчавшій съ полчаса, всталъ и остановился передо мной; съ лицомъ прокурора еемпческаго суда и съ дрожащей отъ негодованія губой, онъ сказалъ мнѣ:

„А надобно тебѣ честь отдать: ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнилъ, что онъ еще не заплатилъ тебѣ девятьсотъ рублей, которые бралъ у тебя“.

Я истинно ничего не понялъ; тѣмъ больше, что навѣрное годъ не думалъ о долгѣ Щепкина.

— Деликатно, нечего сказать: старикъ теперь безъ денегъ, со своей огромной семьей, собирается въ Крымъ, а тутъ ему въ присутствіи пяти человѣкъ: „нѣтъ денегъ на наемъ дачи“! Фу, какая гадость.

Огаревъ вступился за меня. К. накинулся на него, нелѣпыми обвиненіямъ не было конца; Грановскій попробовалъ его унять, не смогъ и уѣхалъ съ Коршемъ прежде насъ. Я былъ разсерженъ, униженъ и отвѣчалъ очень жестко. К. посмотрѣлъ изъ подлобья и, не говоря ни слова, пошелъ пѣшкомъ въ Москву. Мы остались одни и въ какомъ-то жалкомъ раздраженіи поѣхали домой. Я хотѣлъ на этотъ разъ дать сильный урокъ и, если не вовсе прервать, то пріостановить сношенія съ К. Онъ раскаявался, плакалъ; Грановскій требовалъ мира, говорилъ съ Natalie, былъ глубоко огорченъ. Я помпился, но не весело и говоря Грановскому: „вѣдь это на три дня“.— Вотъ прогулка, а вотъ и другая.

Мѣсяца черезъ два мы были въ Соколовѣ. К. и С. отправились вечеромъ въ Москву. Огаревъ поѣхалъ ихъ провожать верхомъ на своей черкесской лошади; не было ни тѣни ссоры, размолвки.

..... Огаревъ возвратился черезъ два-три часа; мы посмѣялись, что день прошелъ такъ мирно, — и разошлись.

На другой день Грановскій, который наканунѣ былъ въ Москвѣ, встрѣтилъ меня у насъ въ парѣхъ; онъ былъ задумчивъ, грустнѣе обыкновеннаго, и наконецъ сказалъ мнѣ, что у него есть что-то на душѣ и что онъ хочетъ поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сѣли на лавочкѣ, видъ съ которой знаютъ всѣ, бывшіе въ Соколовѣ. „Герценъ,—сказалъ мнѣ Грановскій,—еслибъ ты зналъ, какъ мнѣ тяжело, какъ больно.... какъ я, не смотря ни на что, всѣхъ люблю, ты знаешь..... и съ ужасомъ вижу, что все разваливается. И тутъ, какъ на смѣхъ, мелкія ошибки, проявляемое невниманіе, не деликатность...“

— Да что случилось, скажи пожалуйста? спросилъ я, дѣйствительно испуганный.

— То, что К. взбѣшенъ противъ Огарева, да и по правдѣ сказать, трудно не быть взбѣшеннымъ; я стараюсь, дѣлаю что могу, но силъ моихъ нѣтъ, особливо, когда люди не хотятъ ничего сами сдѣлать.

— Да дѣло-то въ чемъ?

— А вотъ въ чемъ: вчера Огаревъ поѣхалъ К. и С. провожать, верхомъ.

— При мнѣ было, да я и Огарева видѣлъ вечеромъ, онъ ни слова не говорилъ.

— На мосту „Кортикъ“ зашалилъ, сталъ на дыбы; Огаревъ, умиряя его, съ досады выругался при С., и она слышала.... да и К. слышалъ. Положимъ, что онъ не подумалъ, но К. спрашиваетъ: „отчего на него не находятъ разсѣянности въ присутствіи твоей жены или моей“. Что на это сказать?.... и притомъ, при всей простотѣ своей, С. очень сентиментальна, что при ея положеніи очень понятно.

Я молчалъ. Это перешло всѣ границы.

— Что же тутъ дѣлать?

— Очень просто : съ негодяямъ, которые въ состояніи намѣренно забываться при женщинѣ, надобно раззнакомиться. Съ такимъ людьми быть близкимъ другомъ — презрительно...

— Да онъ не говоритъ, что Огаревъ это сдѣлалъ намѣренно.

— Такъ о чемъ же рѣчь ? И ты, Грановскій, другъ Огарева, ты, который такъ знаешь его безграничную деликатность, повторяешь бредъ безумнаго, котораго пора посадить въ желтый домъ. Стыдно тебѣ.

Грановскій смутился.

— Боже мой,— сказалъ онъ,— неужели и наша кучка людей, единственное мѣсто гдѣ я отдыхалъ, надѣялся, любилъ, куда спасался отъ гнетущей среды,— неужели и она разойдется въ ненависти и злобѣ ?

Онъ покрылъ глаза рукой.

Я взялъ другую ; мнѣ было очень тяжело.

— Грановскій, сказалъ я ему, — К. правъ : мы всѣ слишкомъ близко подошли другъ къ другу, слишкомъ стиснулись и заступили другъ другу въ постромки..... Gemach! другъ мой, Gemach! намъ надобно провѣтриться, освѣжиться. Огаревъ осенью ѣдетъ въ деревню, я скоро уѣду въ чужіе края,— мы разойдемся безъ ненависти и злобы ; что было истиннаго въ нашей дружбѣ, то поправится, очистится разлукой.

Грановскій плакалъ. Съ К. по этому дѣлу никакихъ объясненій не было.

Огаревъ дѣйствительно осенью уѣхалъ, а вслѣдъ за нимъ и мы.

Laurelhouse, Putney, 1857.

Пересмотрѣно въ Буассьерѣ и на дорогѣ, въ Сентябрѣ 1865.

... Рѣже и рѣже доходили до насъ вѣсти о московскихъ друзьяхъ. Запуганные терроромъ послѣ 1848 г., они ждали вѣрной оказіи. Оказіи эти были рѣдки, паспортовъ почти не выдавали. Отъ К. годы цѣлые ни слова; впрочемъ онъ никогда не любилъ писать.

Первую живую вѣсть послѣ моего переселенія въ Лондонъ привезъ въ 1855 году докторъ П. — К. былъ въ своей стихіи, шумѣлъ на банкетахъ въ честь севастопольцевъ, обнимался съ Погодинымъ и Кокоревымъ, обнимался съ черноморскими моряками, шумѣлъ, бранился, поучалъ. Огаревъ, пріѣхавшій прямо со свѣжей могилы Грановскаго, рассказывалъ мало; его рассказы были печальны.

Прошло еще года полтора. Въ это время была окончена мною эта глава и кому первому изъ постороннихъ прочтена?

Да, — *habeunt sua fata libelli*.

Осенью 1857 года пріѣхалъ въ Лондонъ Чичеринъ. Мы его ждали съ нетерпѣніемъ; нѣкогда одинъ изъ любимыхъ учениковъ Грановскаго, другъ Корша и К., онъ для насъ представлялъ близкаго человѣка. Слышали мы о его жесткости, о консерваторскихъ веллелететахъ, о безмѣрномъ самолюбіи и доктринаризмѣ, но онъ еще былъ молодъ... Много угловатаго обтачивается теченьемъ времени.

— Я долго думалъ, ѣхать мнѣ къ вамъ, или нѣтъ? къ вамъ теперь такъ много ѣздятъ русскихъ, что, право, надобно имѣть больше храбрости не быть у васъ, чѣмъ быть; я же, — какъ вы знаете, — вполне уважая васъ, далеко не во всемъ согласенъ съ вами.

Вотъ съ чего началъ Чичеринъ.

Онъ подходилъ не просто, не юно, у него были камни за пазухой; свѣтъ его глазъ былъ холоденъ, въ тѣмбрѣ

голоса былъ вызовъ п страшная, отталкивающая самоуверенность. Съ первыхъ словъ я понялъ, что это не противникъ, а врагъ; но подавилъ фпзіологическій сторожевой окрикъ, и мы разговорились.

Разговоръ тотчасъ перешелъ къ воспоминаніямъ и къ разспросамъ съ моей стороны. Онъ рассказывалъ о послѣднихъ мѣсяцахъ жизни Грановскаго, и, когда онъ ушелъ, я былъ довольнѣе имъ, чѣмъ сначала.

На другой день, послѣ обѣда, рѣчь зашла о К. Чпчеринъ говорилъ о немъ, какъ о человѣкѣ, котораго онъ любить, беззлобно смѣясь надъ его выходками; пзъ подробностей, сообщенныхъ имъ, я узналъ, что обличительная любовь къ друзьямъ продолжается, что вліяніе С. дошло до того, что многіе изъ друзей ополчились противъ нея, исключили изъ своего общества и проч. Увлеченный рассказами и воспоминаніями, я предложилъ Чпчерину прочесть ненапечатанную тетрадь о К. и прочелъ ее всю. Я много разъ раскаявался въ этомъ, не потому, чтобъ онъ во зло употребилъ читанное мною, а потому, что мнѣ было больно и досадно, что я въ сорокъ пять лѣтъ, могъ разоблачать наше прошлое передъ черствымъ человѣкомъ, насмѣявшимся потомъ съ такой беспощадной дерзостью надъ тѣмъ, что онъ называлъ моимъ „темпераментом“.

Разстоянія, дѣлвшія наши воззрѣнія и наши темпераменты, обозначились скоро. Съ первыхъ дней начался споръ, по которому ясно было, что мы расходимся во всемъ. Онъ былъ почитатель французскаго демократическаго строя и имѣлъ нелюбовь къ англійской, неприведенной въ порядоѣ, свободѣ. Онъ въ императорствѣ видѣлъ воспитаніе народа, и проповѣдывалъ сильное государство и ничтожность лица передъ нимъ. Можно понять, что были эти мысли въ приложеніи къ русскому

вопросу. Онъ былъ гуверnementалистъ, считалъ правительство гораздо выше общества и его стремлений, и принималъ императрицу Екатерину II почти за идеаль того, что надобно Россіи. Все это ученіе шло у него изъ цѣлаго догматическаго построенія, изъ котораго онъ могъ всегда и тотчасъ выводить свою философію бюрократіи.

— Зачѣмъ вы хотите быть профессоромъ? — спрашивалъ я его, и пщете каѳедру? — Вы должны быть министромъ и искать портфель.

Споря съ нимъ, проводили мы его на желѣзную дорогу и разстались несогласные ни въ чемъ, кромѣ взаимнаго уваженія.

Изъ Франціи онъ написалъ мнѣ недѣли черезъ двѣ письмо, съ восхищеніемъ говорилъ о рабочихъ, объ учрежденіяхъ. „Вы нашли то, что искали, отвѣчалъ я ему, и очень скоро. Вотъ что значитъ ѣхать съ готовой доктриной“. Потомъ я предложилъ ему начать печатную переписку и написалъ начало длиннаго письма.

Онъ не хотѣлъ, говорилъ, что ему некогда, что такая полемика будетъ вредна...

Замѣчаніе, сдѣланное въ *Колоколѣ* о доктринахъ вообще, онъ принялъ на свой счетъ; самолюбіе было задѣто и онъ мнѣ прислалъ свой „обвинительный актъ“, надѣлавшій въ то время большой шумъ.

Чичеринъ кампанію потерялъ, въ этомъ для меня нѣтъ сомнѣнія. Взрывъ негодованія, вызванный его письмомъ, напечатаннымъ въ *Колоколѣ*, былъ общимъ въ молодомъ обществѣ, въ литературныхъ кругахъ. Я получилъ десятки статей и писемъ, одно было напечатано. Мы еще шли тогда въ восходящемъ пути, и Катковскіе бревна трудно было класть подъ ноги. Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкій тонъ возмущилъ,

можетъ, больше содержанія, и меня и публику одинакимъ образомъ: онъ былъ еще новъ тогда. За то со стороны Чпчерина сталъ: Елена Павловна, Ифгенія Зимняго дворца; Тимашевъ, начальникъ III отдѣленія и Н. Х. К.

К. остался вѣренъ реакціи, не потому, чтобъ „Грандисона Ловласу предпочла“, а потому — что, носимый безъ собственнаго компаса à la remorque кружка, онъ остался вѣренъ ему, не замѣчая, что тотъ плыветъ въ противную, ложную сторону. Человѣкъ которіи, для него вопросы шли подъ знаменемъ лицъ, а не наоборотъ.

Никогда не доработавшись ни до одного яснаго понятія, ни до одного твердаго убѣжденія, онъ шелъ съ благородными стремленіями и завязанными глазами, и постоянно билъ враговъ, не замѣчая, что позиціи мѣнялись, и въ этихъ-то жмуркахъ билъ насъ, билъ другихъ, бьетъ кого нибудь и теперь, воображая, что дѣлаетъ дѣло.

Прилагаю письмо, писанное мною къ Чпчерину для начала пріятельской полемики, которой помѣшалъ его прокурорскій обвинительный актъ.

My learned friend,

Спорить съ вами мнѣ невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все въ вашей головѣ свѣжо и ново, а главное, вы увѣрены *въ томъ что* знаете, и потому покойны; вы съ твердостью ждете рациональнаго развитія событій въ подтвержденіе программы, раскрытой наукой. Съ настоящимъ вы не можете быть въ разладѣ, вы знаете, что если прошедшее было *такъ и такъ*, настоящее должно быть *такъ и такъ* и привести къ *такому-то* будущему; вы примиряетесь съ нимъ вашимъ пониманіемъ, вашимъ объясненіемъ. Вамъ досталась завѣдная доля священниковъ: утѣшеніе скорбящихъ



вѣчными истинами вашей науки и вѣрой въ нихъ. Всѣ эти выгоды вамъ даетъ доктрина потому, что доктрина исключаетъ сомнѣніе. Сомнѣніе — открытый вопросъ, доктрина — вопросъ закрытый, рѣшенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнѣніе нпкогда не достигаетъ такой рѣзкой законченности; оно потому и сомнѣніе, что готово согласиться съ говорящимъ, или добросовѣстно искать смыслъ въ его словахъ, теряя драгоценное время, необходимое на приписываніе возраженій. Доктрина видитъ истину подъ опредѣленнымъ угломъ и принимаетъ его за едино-спасающій уголь, а сомнѣніе щелчетъ отдѣляться отъ всѣхъ угловъ, осматривается, возвращается назадъ, и часто парализуетъ всякую дѣятельность своимъ смиреніемъ передъ истиной. Вы, ученый другъ, опредѣленно знаете куда идти, какъ вести; — я не знаю. И оттого я думаю, что намъ надобно наблюдать и учиться; а вамъ, учить другихъ. Правда, мы можемъ сказать *какъ не надобно*, можемъ возбудить дѣятельность, привести въ безпокойство мысль, освободить ее отъ цѣпей, улетучить призраки церкви и съѣзжей, академій и уголовныя палаты, вотъ и все; но вы можете сказать *какъ надобно*.

Отношеніе доктрины къ предмету есть религіозное отношеніе, то есть отношеніе *съ точки зрѣнія вѣчности*; временное, проходящее, лица, событія, поколѣнія едва входятъ въ Campo Santo науки, или входятъ, уже очищенные отъ *живой жизни*, въ родъ гербарія логическихъ тѣней. Доктрина въ своей всеобщности живетъ дѣйствительно во всѣ времена, она и въ своемъ времени живетъ какъ въ исторіи, не портя страстнымъ участіемъ теоретическое отношеніе. Зная необходимость страданія, доктрина держитъ себя какъ Симеонъ-Столпникъ, на пьедесталѣ, жертвуя всѣмъ временнымъ —

вѣчному, общимъ идеямъ — живыми частностями. Словомъ, доктринеры больше всего истории; а мы, выѣстъ съ толпой, вашъ субстратъ; вы исторія für sich, мы исторія an sich. Вы намъ объясняете чѣмъ мы больны, но больны ли мы? Вы насъ хороните, послѣ смерти награждаете или наказываете, вы доктора и попы наши; но больные ли мы и умирующие?

Этотъ антагонизмъ не новость, и онъ очень полезенъ для движенія, для развитія. Еслибъ родъ людской могъ весь повѣрить вамъ, онъ можетъ сдѣлался бы благо-разумнымъ, но умеръ бы отъ всемірной скуки. Покойный Филимоновъ поставилъ эпиграфомъ къ своему „дурацкому колпаку“: *Si la raison dominait le monde, il ne s'y passerait rien.*

Геометрическая сухость доктрины, алгебранческая безличность ея, даютъ ей обширную возможность обобщеній; она должна бояться впечатлѣній и, какъ Августъ, приписывать, чтобъ Клеопарта опустила покрывало. Но для дѣятельнаго вмѣшательства надобно больше страсти, нежели доктрины, а алгебранчески страстенъ человѣкъ не бываетъ. Всеобщее онъ понимаетъ, а частное любить или ненавидитъ. Спиноза со всею мощью своего откровеннаго генія проповѣдывалъ необходимость считать существеннымъ одно неточное молью, вѣчное, неизмѣнное, субстанцію, и не полагать своихъ надеждъ на случайное, частное, личное. Кто этого не пойметъ въ теоріи? Но только привязывается человѣкъ къ одному частному, личному, совершенному; въ уравниваніи этихъ крайностей, въ ихъ согласномъ сочетаніи, высшая мудрость жизни.

Если мы отъ этого общаго опредѣленія нашихъ противоположныхъ точекъ зрѣнія перейдемъ къ частнымъ, мы, при одинаковости стремленій, найдемъ не меньше

антагонизма, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда мы согласны въ началѣ. Примѣромъ это легче объяснить. Мы совершенно согласны въ отношеніи къ религіи; но согласіе это идетъ только на отрицаніе надзвѣздной религіи, и, какъ только мы являемся лицомъ къ лицу съ *подмунной* религіей, разстояніе между нами неизмѣримо. Изъ мрачныхъ стѣнъ собора, пропитанныхъ ладономъ, вы перешагали въ свѣтлое присутственное мѣсто, изъ Гвельфовъ вы сдѣлались Гибеллиномъ, чины небесные замѣнились для васъ—государственнымъ чиномъ, поглощеніе лица въ богъ—поглощеніемъ его въ государствѣ, богъ замѣненъ централизаціей и пошъ квартальнымъ надзирателемъ.

Вы въ этой перемѣнѣ видите переходъ, успѣхъ; — мы — новыя цѣпи. Мы не хотимъ быть ни Гвельфами, ни Гибеллинами. Ваша свѣтская, гражданская и уголовная религія тѣмъ страшнѣе, что она лишена всего поэтического, фантастическаго, всего дѣтскаго характера, который замѣнится у васъ канцелярскимъ порядкомъ, идоломъ государства, съ царемъ на верху и палачемъ внизу. Вы хотите, чтобъ человѣчество, освободившееся отъ церкви, ждало столѣтія два въ передней присутственнаго мѣста, пока каста жрецовъ-чиновниковъ и монаховъ-доктринеровъ рѣшитъ какъ ему быть вольнымъ и на сколько, въ родѣ нашихъ комитетовъ объ освобожденіи крестьянъ. А намъ все это противно; мы можемъ многое допустить, сдѣлать уступку, принести жертву обстоятельствамъ; но для васъ это не жертвы. Разумѣется и тутъ вы счастливѣе насъ. Утративъ религіозную вѣру, вы не остались ни причемъ и, найдя, что гражданскія вѣрованія человѣку замѣняютъ христіанство, вы ихъ приняли, и хорошо сдѣлали для нравственной гігіены, для покоя. Но лѣкарство это намъ першить въ горлѣ, и мы ваше присутственное мѣсто,

вашу централизацію ненавидимъ совсѣмъ не меньше инквизиціи, консисторіи, кормчей книги.

Понимаете ли вы разницу:—вы, какъ учитель, хотите учить, управлять, пасти стадо.

Мы, какъ стадо, приходящее въ сознанію, не хотимъ, чтобъ насъ пасли, а хотимъ имѣть свои земскія избы, своихъ повѣренныхъ, своихъ подъячихъ, которымъ поручать хожденіе по дѣламъ. Оттого насъ *правительство* оскорбляетъ на всякомъ шагу своей властью, а вы ему рукоплещете, такъ какъ ваши предшественники, попы, рукоплескали свѣтской власти. Вы можете и расходиться съ нимъ, такъ какъ духовенство расходилось, или какъ люди, ссорящіеся на кораблѣ: какъ бы они ни удалились другъ отъ друга, за бортъ вы не уйдете, и для насъ, мірянъ, вы все таки будете со стороны его.

Гражданская религія, апотеоза государства — идея чисто романская, а въ новомъ мірѣ, преимущественно французская. Съ нею можно быть сильнымъ государствомъ, но нельзя быть свободнымъ народомъ; можно имѣть славныхъ солдатъ... но нельзя имѣть независимыхъ гражданъ. Сѣверо-Американскіе Штаты, совсѣмъ напротивъ, отняли религіозный характеръ полиціи и администраціи, до той степени, до которой это возможно.



## ЭПИЛОГЪ

Перечитывая главу о К., невольно призадумываешься о томъ, что за чудачи, что за оригинальныя личности живутъ и жили на Руси! Какими капризными развитіями сочилась и просочилась исторія нашего образованія. Гдѣ, въ какихъ краяхъ, подъ какимъ градусомъ ши-

роты, долготы, возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, недобрая, шумная, неукладистая фигура К., кромѣ Москвы?

А сколько я ихъ наглядѣлся, этихъ оригинальныхъ фигуръ „во всѣхъ родахъ различныхъ“, начиная съ моего отца и оканчивая Дѣтьми Тургенева.

„Такъ русская печь печетъ“! говорилъ мнѣ Погодинъ. И въ самомъ дѣлѣ, какихъ чудесъ она не печетъ, особенно когда хлѣбъ сажаютъ на нѣмецкій ладъ... отъ саетъ и калачей до православныхъ булокъ съ Гегелемъ и французскихъ хлѣбовъ à la quatre-vingt-treize! Досадно, если всѣ эти своеобразныя печенья пропадутъ безслѣдно. Мы останавливаемся обыкновенно только на сильныхъ дѣятеляхъ.

... Но въ нихъ меньше видна русская печь, въ нихъ ея особенности поправлены, выкуплены; въ нихъ больше русскаго склада ума, чѣмъ печи. Возлѣ нихъ пробиваются, за ними плетутся разные партикулярные люди, сбившіеся съ дороги: вотъ въ ихъ-то числѣ не оберешься чудаковъ. Волостные проводники историческихъ теченій, капли дрожжей, потерявшихся въ опарѣ, но поднявшихъ ее не для себя. — Люди, рано проснувшіеся темной ночью и ощупью отправившіеся на работу, толкаясь обо все, что ни попадалось на дорогѣ, они разбудили другихъ на совсѣмъ другой трудъ.

... Попробую когда нибудь спасти еще два три профиля отъ полнаго забвенія. Ихъ ужъ теперь едва видно изъ за сѣраго тумана, изъ за котораго только и вырѣзываются вершины горъ и утесовъ.



## ВАЗИЛЬ И АРМАНСЪ

(Эпизодъ изъ 1844 года.)

---

Къ нашей второй *виллежіатуръ* относится очень характеристическій эпизодъ; его не помѣнить просто жаль, не смотря на то, что я и Natalie участвовалъ въ немъ очень мало. Эпизодъ этотъ можно бы назвать : *Армансъ и Базиль — философъ изъ учтивости, христіанинъ изъ вѣжливости и Жакъ Ж. - Санда, дѣлающійся Жакомъ фаталистомъ*. Начался онъ на французской томболѣ.

Зимой 1843 г. я поѣхалъ на томболу. Публики было бездна, помнится тысячъ пять человѣкъ; — знакомыхъ почти никого. Базиль шмыгнулъ съ какой-то маской, ему было не до меня. Онъ слегка покачалъ головой и прищурплъ рѣсницы такъ, какъ дѣлаютъ знатоки, находя вино превосходнымъ и бекаса удивительнымъ.

Балъ былъ въ залѣ благороднаго собранія. Я походилъ, посидѣлъ, глядя какъ русскіе аристократы, перодѣтые въ разныхъ пьеро, ото всей души усердствовали представить изъ себя парижскихъ сидѣльцевъ и отчаянныхъ канканеровъ, — и пошелъ ужинать на верхъ. Тамъ-то меня отыскалъ Базиль. Онъ былъ совершенно не въ нормальномъ положеніи, а въ первомъ разгарѣ остраго періода любви; онъ у него былъ тѣмъ острѣе, что Базилю тогда было около сорока лѣтъ, и волосъ началъ падать съ его возвышеннаго чела. Безсвязно толковалъ онъ мнѣ о какой-то французской „Миньонѣ,

со всей простотой „Клерхень“ и со всей пгривой прелестью парижской гризетки“.

Сначала я думалъ, что это одинъ изъ тѣхъ романовъ въ одну главу, въ которыхъ побѣда на первой страницѣ, а на послѣдней—вмѣсто оглавленія—счетъ. Но убѣдился, что это не такъ. Базиль видѣлъ свою парижанку во второй или третій разъ и велъ циркумволуціонныя линіи, не бросаясь на приступъ. Онъ меня познакомилъ съ ней. Армансъ была дѣйствительно живое, милое дитя Парпжа, совершенно уродившееся въ отца. Отъ ея языка до манеръ и извѣстной самостоятельности, отваги, — все въ ней принадлежало благородному плебейству великаго города. Она еще была работница, а не мѣщанка. У насъ этотъ типъ никогда не существовалъ. Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и, середь всего, чутье самосохраненія, чутье опасности и чести. Дѣти, брошенные иногда съ десяти лѣтъ на борьбу съ бѣдностью и искушеніями, беззащитныя, окруженныя заразой Парижа и всевозможными сѣтями, онѣ сами становятся своимъ провидѣніемъ и охраной. Такія дѣвушки могутъ легко отдаться, но взять ихъ невзначай, врасплохъ, трудно. Тѣ изъ нихъ, которыхъ можно бы было купить,—до этого круга работницъ не доходятъ: онѣ уже куплены прежде, завертѣлись, унеслись и исчезли въ омутѣ другой жизни, иногда на всегда, иногда для того, чтобъ черезъ пять-шесть лѣтъ явиться въ своей коляскѣ по Longchamp, или въ первомъ ярусѣ оперы въ своей ложѣ—mit Reglen und Diamanten. — Базиль былъ влюбленъ по уши. Резонеръ въ музыкѣ и философъ въ живописи, онъ былъ одинъ изъ самыхъ полныхъ представителей ультрагегельянцевъ. Онъ всю жизнь носился въ эстетическомъ небѣ, въ философскихъ и критическихъ подробностяхъ.

На жизнь онъ смотрѣлъ такъ, какъ Регеръ на Шекспира, возводя все въ жизни къ философскому значенію, дѣлая скучнымъ все живое, пережеваннымъ все свѣжее; словомъ, не оставляя въ своей непосредственности ни одного движенія души. Взглядъ этотъ впрочемъ въ разныхъ степеняхъ принадлежалъ тогда почти всему кружку; иные срывались талантомъ, другіе живостью; но у всѣхъ еще долго оставался — у кого жаргонъ, у кого и самое дѣло. „Пойдемъ, — говорилъ Бакунинъ Т..... въ Берлинѣ, въ началѣ сороковыхъ годовъ, — окунуться въ пучину дѣйствительной жизни, бросимся въ ея волны“; — и они шли просить Фарнгагена фонъ Энзе, чтобъ онъ ихъ ввелъ ловкимъ купальщикомъ въ практическія пучины и представилъ бы ихъ одной хорошенькой актрисѣ. Понятно, что съ этими приготовленіями, не только ни до какого купанья въ страстяхъ, „разъѣдающихъ тайники духа нашего“, но вообще ни до какого *поступка* дойти нельзя. Не доходить до нихъ и нѣмцы; но за то нѣмцы и не ищутъ поступковъ, а какъ бы поспокойнѣе. Наша натура, напротивъ, не выносить этого нашего отношенія — *des theoretischen Schwelgens* — запутывается, спотыкается и падаетъ больше смѣшно, чѣмъ опасно. Итакъ, влюбленный и сороколѣтній философъ, шуря глазки, сталъ сводить всѣ спекулятивные вопросы на „демоническую силу любви“, равно влекущую Геркулеса и слабого отрока къ ногамъ Омфалы, началъ уяснять себѣ и другимъ нравственную идею семьи, почву брака (Гегелевой философіи права, глава *Sittlichkeit*). Препятствій не было со стороны Гегеля. Но призрачный міръ случайности и кажущагося, — міръ духа, неосвободившагося отъ преданій, не былъ такъ сговорчивъ. У Базиля былъ отецъ, Петръ Коннычъ, богатъ, который самъ былъ женатъ послѣдо-



вательно на трехъ, и отъ каждой имѣлъ человѣка по три дѣтей. Узнавъ, что его сынъ, и притомъ старшій, хотѣлъ жениться на католичкѣ, на нищей, на французженкѣ, да еще съ Кузнецкаго моста, онъ рѣшительно отказалъ въ своемъ благословеніи. Безъ родительскаго благословенія, можетъ, Базиль, принявшій шикъ и манеры скептицизма, какъ нибудь и обошелся бы; но старикъ связывалъ съ благословеніемъ не только послѣдствіе *jenseits* (на томъ свѣтѣ), но и *disseits* (на этомъ свѣтѣ), а именно *наслѣдство*.

Препятствіе старика, какъ всегда, двинуло дѣло впередъ, и Базиль сталъ подумывать о скорѣйшей развязкѣ. Оставалось жениться, не говоря худаго слова, и впослѣдствіи заставить старика принять *un fait accompli*, или скрыть отъ него бракъ, въ ожиданіи, что онъ скоро не будетъ ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться наслѣдствомъ.

Но непросвѣтленный міръ преданій и тутъ подставлялъ свою ногу. Обвѣнчаться подъ сурдинку въ Москвѣ было не легко, чрезвычайно дорого и тотчасъ бы дошло до отца черезъ діаконовъ, архидіаконовъ, дьячковъ, просвиренъ, свахъ, прикащиковъ, сидѣльцевъ и разныхъ потаскушекъ. Положено было посондировать нашего отца Іоанна, въ с. Покровскомъ, извѣстнаго читателямъ по мнѣ, своей исторіей о похищеніи въ нетрезвомъ видѣ серебряныхъ „часовъ и шкатулки“ у дьячка.

Отецъ Іоаннъ, узнавъ, что непокорному сыну около сорока лѣтъ, что невѣста не русская и что родителей ея здѣсь нѣтъ — что, сверхъ меня, подпишется свидѣтелемъ университетскій профессоръ, сталъ меня благодарить за такую милость, полагая вѣроятно, что я старался женить Базиля для доставленія ему двухсотенной бумажки. Онъ былъ до того тронутъ, что за-

кричалъ въ другую комнату: — „Попадья, попадья, выпусти два-три яичка“, и досталъ изъ шкапа полуштофъ, заткнутый бумажкой для того, чтобъ меня поподчивать.

Все шло прекрасно.

Дня свадьбы и прочее не назначали. Армансъ должна была прїѣхать къ намъ, въ Покровское, погостить; Базиль (хотѣвшій ее сопровождать) возвратиться въ Москву и, окончательно устроившись, идти отъ отцовскаго проклятiя—подъ благословенiе пьяненькаго отца Иоанна.

... Ожидая i promessi sposi, мы велѣли приготовить ужинъ и сѣли ждать. Ждемъ — ждемъ; бьетъ двѣнадцать ночи. Никого нѣтъ... Часъ, — никого нѣтъ. Дамы пошли уснуть; я съ Г. и К. принялся за ужинъ. *Le oge suonan al quadrano, e una, e due, e tre...*

Ма... ихъ нѣтъ какъ нѣтъ.

... Наконецъ колокольчикъ ближе и ближе; повозка постучала по мосту. Мы бросились въ сѣни. Тарантасъ, заложенный тройкою, быстро въѣзжалъ на дворъ — и остановился. Вышелъ Базиль. Я подошелъ дать руку Армансъ; она вдругъ меня схватила за руку, да съ такой силой, что я чуть не вскрикнулъ, — и потомъ разомъ бросилась мнѣ на шею, съ хохотомъ повторяя, *Monsieur Herstin...* Это былъ никто иной какъ Висарiонъ Григорьевичъ Бѣлинскiй *in propria persona*.

Въ тарантасѣ не было больше никого, кромѣ Бѣлинскаго, который хохоталъ до кашля, и Базиля, который до насморка чуть не плакалъ. Мы смотрѣли другъ на друга съ удивленiемъ. Для дополненiя эффекта надобно замѣтить, что два дня тому назадъ въ Москвѣ о Бѣлинскомъ и слуху не было.

„Давайте мнѣ ѣсть“ — сказалъ наконецъ Бѣлинскiй,

„я вамъ расскажу тамъ какія у насъ были чудеса; надобно же выручить несчастнаго Базиля, который васъ бонтся больше Армансъ“.

Вотъ что случилось. Видя, что дѣло быстро приближается къ развязкѣ, Базиль испугался; началъ *рефлексировать* и совершенно сконфузился, обдумывая неумолимый фатализмъ брака, неразрушимость его по кормчей книгѣ и по книгѣ Гегеля. Онъ заперся, отданный на жертву духу мучительнаго изслѣдованія и безпощаднаго анализа. Страхъ возрасталъ съ часу на часъ, и тѣмъ больше, что дорога къ отступленію была тоже не легка и, чтобы рѣшиться на нее, почти надобно было пмѣть столько же характера, какъ и на самый бракъ. Страхъ этотъ росъ до тѣхъ поръ, пока въ дверь постучался Бѣлинскій, пріѣхавшій изъ Петербурга прямо къ нему въ домъ. Базиль рассказалъ ему весь ужасъ, съ которымъ онъ идетъ на срѣтеніе своего счастья, и все отвращеніе, съ которымъ онъ вступаетъ въ бракосочетаніе по любви,—и требовалъ его совѣта и помощи.

Бѣлинскій отвѣчалъ ему, что надобно быть сумасшедшимъ, чтобъ послѣ этого—сознательно и зная впередъ что будетъ,—положить на себя такую цѣпь. „Вотъ Герценъ“, говорилъ онъ, „и женился, и жену свою увезъ, и за ней пріѣзжалъ изъ ссылки; а спроси его: онъ ни разу ни задумывался слѣдуетъ ему такъ дѣлать, или нѣтъ, и какіи будутъ послѣдствія. Я увѣренъ, что ему казалось, что онъ *не можетъ* иначе поступить. Ну, ему и вытанцовалось. А ты тоже хочешь сдѣлать, любу мудрствуя и рефлектируя“.

Только этого и надобно было Базилю. Онъ въ ту же ночь написалъ Армансъ диссертацию о бракѣ, о своей несчастной рефлексіи, о невозможности простаго счастья для нѣтливаго духа; излагалъ всѣ невыгоды и

опасности ихъ соединенія, и спрашивалъ у Армансь совѣта, что имъ теперь дѣлать?

Отвѣтъ Армансь онъ привезъ съ собой.

Въ разсказѣ Бѣлинскаго и въ письмѣ Армансь обѣ натуры:—ея и Базиля,—вполнѣ вышли какъ на ладони. Дѣйствительно, брачный союзъ такихъ противоположныхъ людей былъ бы страненъ. Армансь писала ему грустно; она была удивлена, оскорблена, рефлексіи его не понимала, а видѣла въ нихъ предлогъ, охлажденіе; говорила, что, въ такомъ случаѣ, не должно быть и рѣчи о свадьбѣ, развязывала его отъ даннаго слова и заключила тѣмъ, что, послѣ случившагося, имъ не слѣдуетъ видѣться. „Я васъ буду помнить“,—писала она: „съ благодарностью, и нисколько не виню васъ: я знаю, вы чрезвычайно *добры*, но еще больше слабы! Прощайте же и будьте счастливы!“

Такое письмо должно быть не совсѣмъ пріятно получить. Въ каждомъ словѣ сила, энергія и не много свысока. Дитя славнаго плебейскаго кряжа, Армансь поддержала свое происхожденіе. Будь это англичанка, какъ бы крѣпко она ухватилась за письмо Базиля, какъ, ртомъ бы своего добродѣтельнаго солиситора разсказала съ негодованіемъ, со стыдомъ, о первомъ пожатіи руки, о первомъ поцѣлуѣ, и какъ бы ея адвокатъ, со слезами на глазахъ и мѣломъ въ парикѣ, потребовалъ у присяжныхъ вознаградить обиженную невинность тысячею или двумя фунтовъ.

Француженкѣ, бѣдной швеѣ, это и въ голову не пришло.

Два или три дня, которые они провели въ Покровскомъ, были печальны для эксъ-жениха. Точно ученикъ. сильно напакостившій въ классѣ — и который боится и учителя, и товарищей.

Вскорѣ мы услышали, что Б. ѣдетъ въ чужіе края. Онъ писалъ ко мнѣ письмо смутное, недовольное собой, звалъ проститься. Въ первыхъ числахъ Августа, я поѣхалъ изъ Покровскаго въ Москву: новая диссертация поѣхала въ тоже время изъ Москвы въ Покровское къ Natalie. Я отправился къ Б. и прямо попалъ на прощальный пиръ. Пили шампанское, и въ тостахъ, въ желаніяхъ, были какіе-то странные намеки. „Вѣдь ты не знаешь“, — сказалъ мнѣ Базиль на ухо: „вѣдь я... того... и онъ прибавилъ шопотомъ: вѣдь Армансъ ѣдетъ со мной. Вотъ дѣвушка! Я теперь только ее узналъ“, и онъ качалъ головой.

Это стоило появленія Бѣлинскаго.

Въ эпистолѣ къ Natalie онъ пространно объяснялъ ей, что мысль и рефлексія о женитбѣ, повергли его въ раздумье и отчаяніе: онъ усомнился и въ своей любви къ Армансъ, и въ своей способности къ семейной жизни; что такимъ образомъ, онъ дошелъ до мучительнаго сознанія, что онъ долженъ все разорвать и бѣжать въ Парижъ, что въ этомъ расположеніи онъ явился смѣшнымъ и жалкимъ въ Покровское. Рѣшившись такимъ образомъ, онъ, перечитывая письмо Армансъ, сдѣлалъ новое открытіе; именно, что онъ Армансъ любитъ очень много, и потому потребовалъ у нея свиданія и снова предложилъ ей руку. Онъ думалъ опять о покровскомъ попѣ, но близость Мамоновской фабрики пугала его. Вѣнчаться онъ собирался въ Петербургъ и тотчасъ ѣхалъ во Францію. „Армансъ рада какъ ребенокъ“.

Въ Петербургѣ Базиль придумалъ вѣнчаться въ Казанскомъ соборѣ. Чтобъ при этомъ философія и наука не были забыты, онъ пригласилъ для совершенія обряда протоіерея Сидонскаго, ученаго автора „Введенія въ науку философіи“. Сидонскій давно зналъ Б. по его

статьямъ, какъ свободнаго свѣтскаго мыслителя и нѣмецкаго любомудра. Послѣ всѣхъ чудесъ, бывшихъ съ Армансъ, ей досталась честь, рѣдко достоящаяся, послужить поводомъ одной изъ самыхъ комическихъ встрѣчъ двухъ заклятыхъ враговъ : религіи и науки.

Сидонскій, чтобъ блеснуть своимъ мірскимъ образованіемъ, передъ вѣнчаніемъ сталъ говорить о новыхъ философскихъ брошюрахъ и, когда все было готово и дьячекъ подалъ ему эпитрахиль, къ которой онъ приложился и сталъ надѣвать, онъ, потупя взоры, сказалъ Б.: „Вы извините : обряды-съ ; я весьма хорошо знаю, что христіанскій ритуаль сдѣлалъ свое время, что...“

— О нѣтъ, нѣтъ, — прервалъ его Базиль голосомъ полнымъ участія и состраданія : Христіанство вѣчно ; его сущность, его субстанція не можетъ пройти.

Сидонскій поблагодарилъ цѣломудреннымъ взглядомъ „рыцарственнаго“ антагониста, обратился къ клиру и запѣлъ : „благословенъ богъ нашъ — и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ“ — „Аминь!“ — грянулъ клиръ, и дѣло пошло своимъ порядкомъ, и Б. въ вѣнцѣ, и Армансъ въ вѣнцѣ повелъ Сидонскій вокругъ аналоя... заставляя ликовать Исаію.

Изъ Собора Базиль отправился съ Армансъ домой, и оставивъ ее тамъ, явился на литературный вечеръ Краевского. Черезъ два дня Бѣлинскій посадилъ молодыхъ на парходъ. Теперь-то, подумаютъ, исторія навѣрное окончена.

Нисколько.

До Категата дѣло шло очень хорошо ; но тутъ попался проклятый Жакъ Ж.-Санда.

— Какъ ты думаешь о Жакѣ? — спросилъ Б. Армансъ, когда она кончила романъ.

Армансъ сказала свое мнѣніе.

Базиль объявилъ ей, что оно совершенно ложно, что

она оскорбляетъ своимъ сужденіемъ глубочайшія стороны его духа и что его *міросозерцаніе* не имѣетъ ничего общаго съ ея.

Сангвиническая Армансъ не хотѣла мѣнять міросозерцанія; такъ прошли оба Бельта.

Вышедши въ Нѣмецкое море, Б. почувствовалъ себя больше дома и сдѣлалъ еще разъ опытъ перемѣнить міросозерцаніе и убѣдить Армансъ иначе взглянуть на Жака.

Умпрающая отъ морской болѣзни, Армансъ собрала послѣднія силы и объявила, что мнѣнія своего о Жакѣ она не перемѣнитъ.

— Что же насъ связываетъ послѣ этого? — замѣтилъ сильно расхолоднвшійся Б.

— Ничто, — отвѣчала Армансъ, *et si vous me cherchez querelle*, такъ лучше просто разстаться, какъ только коснемся земли.

— Вы рѣшились, — говорилъ Б. пѣтушась. — Вы предпочитаете?...

— Все на свѣтѣ, чѣмъ жить съ вамп; вы несносный человѣкъ, слабый и тиранъ.

— Madame!

— Monsieur!

Она пошла въ каюту; онъ остался на палубѣ. Армансъ сдержала слово. Изъ Гавра она уѣхала къ отцу, и, черезъ годъ, возвратилась въ Россію одна, и притомъ въ Сибирь.

На этотъ разъ кажется исторія этого перемежающагося брака кончилась.

А впрочемъ Барреръ говорилъ же: „только мертвые не возвращаются“.

(Писано 1857, Putney, Laurelhousе.)

## ОТРЫВКИ

изъ

# БЫЛАГО И ДУМЪ

---

### НѢМЦЫ ВЪ ЭМИГРАЦІИ

Руте, Бинкель, SCHWEFELBÆNDE. — Американскій Овздъ. — THE LEADER. — Народный сходъ въ St-Martin's Hall.

Нѣмецкая эмиграція отличалась отъ другихъ своимъ тяжелымъ, скучнымъ и сварливымъ характеромъ. Въ ней не было энтузіастовъ, какъ въ итальянской; не было ни горячихъ головъ, ни горячихъ языковъ, какъ между французамъ.

Другія эмиграціи мало сближались съ нею. Разница въ манерѣ, въ *habitus'*ѣ, удерживала ихъ на нѣкоторомъ разстояніи; французская дерзость не имѣетъ ничего общаго съ нѣмецкой грубостью. Отсутствіе общепринятой свѣтскости, тяжелый школьный доктринаризмъ, излишняя фамиллярность, излишнее простодушіе нѣмцевъ, затрудняли съ ними сношенія непривычныхъ людей. Они и сами не очень сближались, считая себя съ одной стороны гораздо выше прочихъ по научному развитію, а съ другой — чувствуя передъ другими непріятную



неловкость провинціала въ столичномъ салонѣ, или чиновника въ аристократическомъ кругу.

Внутри нѣмецкая эмиграція представляла такую же разсыпчатость, какъ и ея родина. Общаго плана у нѣмцевъ не было: единство ихъ поддерживалось взаимной ненавистью и злымъ преслѣдованіемъ другъ друга. Лучшие изъ нѣмецкихъ изгнанниковъ чувствовали это. Люди энергическіе, люди чистые, люди умные, какъ К. Шурцъ, какъ А. Виллихъ, какъ Рейхенбахъ, уѣзжали въ Америку. Люди кроткіе по нраву прятались за дѣлами, за Лондонской далью, какъ Фрейлигратъ. Остальные, не исключая двухъ-трехъ вожаковъ, раздирали другъ друга на части съ неутолимымъ остервенѣніемъ, не щадя ни семейныхъ тайнъ, ни самыхъ уголовныхъ обвиненій.

Вскорѣ послѣ моего приѣзда въ Лондонъ, поѣхалъ я въ Брэйтонъ къ Арнольду Руге. Руге былъ коротко знакомъ Московскому университетскому кругу сороковыхъ годовъ: онъ издавалъ знаменитые *Hallische Jahrbücher*; мы въ нихъ черпали философскій радикализмъ. Встрѣтился я съ нимъ въ 1849, въ Парижѣ, на неостывшей еще вулканической почвѣ. Въ тѣ времена было не до изученія личностей. Онъ приѣзжалъ однимъ изъ повѣренныхъ Баденскаго инсurreкціоннаго правительства звать Мѣрославскаго, неумѣшаго по нѣмецки, начальствовать арміей фрейшерлеровъ и переговаривать съ французскимъ правительствомъ, которое вовсе не хотѣло признавать революціонный Баденъ. Съ нимъ былъ и К. Блиндъ. Послѣ 13 Іюня ему и мнѣ пришлось бѣжать изъ Франціи. К. Блиндъ опоздалъ нѣсколькими часами и былъ посаженъ въ консьержери. Съ тѣхъ поръ я не видалъ Руге до осени 1852. Въ Брэйтонѣ я нашелъ его брюзгливымъ старикомъ, озлобленнымъ и злобчивымъ. Оставленный прежними друзьями, забытый

въ Германіи, безъ вліянія на дѣла, и перессорившись съ эмиграціей, — Руге былъ поглощенъ сплетнями и пересудами. Въ постоянной связи съ нимъ были два-три бездарнѣйшихъ газетныхъ корреспондента, грошевыхъ фельетонистовъ, мелкихъ мародеровъ гласности, которыхъ никогда не видятъ во время сраженія и всегда послѣ, майскихъ жуковъ политическаго и литературнаго міра, каждый вечеръ съ наслажденіемъ и усердіемъ копающихся въ выброшенныхъ остаткахъ дня. Съ ними Руге составлялъ статьи, подзадоривалъ ихъ, давалъ имъ матеріалы и сплетничалъ на нѣсколько журналовъ въ Германіи и Америкѣ.

Я обѣдалъ у него и провелъ весь вечеръ. Въ продолженіи всего времени онъ жаловался на эмигрантовъ и сплетничалъ на нихъ. „Вы не слышали, — говорилъ онъ, — какъ идутъ дѣла нашего сорока-пяти-лѣтняго Вертера съ баронессой? Говорятъ, что, открываясь ей въ любви, онъ хотѣлъ ее увлечь химической перспективой гениальнаго ребенка, который долженъ родиться отъ аристократки и коммуниста? Баронъ не охотникъ до фізіологическихъ опытовъ, говорятъ, прогналъ его въ три шеи. Правда-ли это?

— Какъ же вы можете вѣрить такимъ нелѣпостямъ?

— Да я и въ самомъ дѣлѣ не очень вѣрю. Живу здѣсь въ захолустьи и слышу только о томъ, что дѣлается въ Лондонѣ, отъ нѣмцевъ; всѣ они, а особенно эмигранты, вдругъ богъ знаетъ что, всѣ между собой въ ссорѣ, клеветуютъ другъ на друга. Я думаю, это К. распустилъ такой слухъ въ знакъ благодарности за то, что баронесса его выпустила изъ тюрьмы. Вѣдь онъ бы и самъ за ней поволочился, да воли-то нѣтъ. Жена не даетъ ему баловаться: „Ты, говоритъ, меня отъ перваго мужа отбилъ, такъ ужъ теперь довольно.....“

Вотъ обращеніе философской бесѣды Арнольда Руге.

Одинъ разъ онъ измѣнилъ своему діапазону и сталъ съ дружескимъ участіемъ говорить о Бакунинѣ; но на полъ-дорогѣ спохватился и добавилъ: „А впрочемъ въ послѣднее время онъ какъ-то сталъ опускаться, бредилъ какимъ-то революціоннымъ царизмомъ, панславизмомъ“.

Я уѣхалъ отъ него съ тяжелымъ сердцемъ и съ твердымъ намѣреніемъ никогда не возвращаться.

Черезъ годъ онъ читалъ въ Лондонѣ нѣсколько лекцій о философскомъ движеніи въ Германіи. Лекціи были плохи, берлинско-англійскій акцентъ непріятно поражалъ ухо; къ тому же онъ всѣ греческія и римскія имена произносилъ на нѣмецкій манеръ, такъ что англичане не могли догадаться кто это Іофисъ, Юно, и проч.

На вторую лекцію пришли десять человѣкъ; на третью человѣкъ пять, да я съ Ворцелемъ. Руге, проходя по пустой залѣ мимо насъ, сильно сжалъ мнѣ руку и прибавилъ: „Польша и Россія пришли, а Италіи нѣтъ; этого я ни Маццини, ни Саффи не забуду при новомъ возстаніи народовъ“. Когда онъ ушелъ, разгнѣванный и грозившій, я посмотрѣлъ на сардоническую улыбку Ворцеля и сказалъ ему: „Россія зоветъ Польшу къ себѣ отобѣдать“. — *„S'en est fait de l'Italie“*, замѣтилъ Ворцель, качая головой, и мы пошли.

К. былъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ нѣмецкихъ эмигрантовъ въ Лондонѣ. Человѣкъ безукоризненнаго поведенія, работавшій въ потѣ лица своего, что, какъ ни странно можетъ это показаться, почти вовсе не встрѣчалось въ эмиграціи, К. былъ заклятый врагъ Руге; — почему? это такъ же трудно объяснить, какъ то, что проповѣдникъ атеизма, Руге, былъ другомъ нео-католика Ронге.

Готфридь К. былъ одинъ изъ главъ сорока сороковъ лондонскихъ нѣмецкихъ расколовъ. Глядя на него, я всегда дивился, какъ величественная Зевсовская голова попала на плечи нѣмецкаго профессора, и какъ нѣмецкій профессоръ попалъ сначала на поле сраженія, потомъ, раненый, въ прусскую тюрьму;— а можетъ мудренѣе всего этого то, что все это, *плюсъ* Лондонъ, его нисколько не измѣнило, и онъ остался нѣмецкимъ профессоромъ. Высокій ростомъ, съ сѣдыми волосами и бородой съ просѣдью, онъ самъ по себѣ имѣлъ величавый и внушающій уваженіе видъ, — но онъ къ нему прибавлялъ какое-то официальное помазаніе, *Salbung*, что-то судейское и архіерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттѣнокъ этотъ въ разныхъ варіаціяхъ встрѣчается у модныхъ пасторовъ, у дамскихъ врачей; особенно у магнетизеровъ, адвокатовъ, специально защищающихъ нравственность, у главныхъ waiters'овъ аристократическихъ отелей въ Англіи. К. въ молодости много занимался богословіемъ; освободившись отъ него, онъ остался священникомъ въ приѣмахъ. Это не удивительно: самъ Ламене, подрывая такъ глубоко корни католицизма, сохранилъ до старости видъ аббата. Обдуманная и плавная рѣчь К., правильная и избѣгающая крайностей, шла какой-то назидательной бесѣдой; онъ съ изученнымъ снисхожденіемъ выслушивалъ другаго, и съ искреннимъ удовольствіемъ самого себя.

Онъ былъ профессоромъ въ Сомерсетъ-гаузѣ и въ нѣсколькихъ высшихъ заведеніяхъ, читалъ публичныя лекціи объ эстетикѣ въ Лондонѣ и Манчестерѣ:—этого ему не могли простить голодные и праздношатающіеся въ Лондонѣ освободители тридцати четырехъ нѣмецкихъ отечествъ. К. былъ постоянно обругиваемъ въ амери-

канскихъ газетахъ, сдѣлавшихся главнымъ стокомъ нѣмецкихъ сплетенъ, и на тощихъ митингахъ, ежегодно даваемыхъ въ память Роберта Блюма, перваго баденскаго Schilderhebung'a и проч., перваго австрійскаго Schwertfart'a. Ругали его всѣ его соотечественники, — неимѣвшіе никогда уроковъ, всегда просящіе денегъ въ займы, никогда неотдающіе занятаго, и постоянно готовые выдать человѣка за шпіона и вора въ случаѣ отказа. К. не отвѣчалъ; — писаки лаяли, лаяли, и стали, по крыловски, отставать; только еще изрѣдка какая нибудь нечесаная и шершавая шавка выбѣжитъ изъ нижняго этажа германской демократіи куда нибудь въ фельетонъ нѣкѣмъ нечитаемаго журнала, — и залетѣтъ злѣйшимъ лаемъ, который такъ и напомнитъ счастливыя времена братскихъ возстаній въ разныхъ Тюбингенахъ, Дармштатахъ и Брауншвейгъ-Вольфенбюттеляхъ.

Въ домѣ К., на его лекціяхъ, въ его разговорѣ, все было хорошо и умно, — но не доставало какого-то масла въ колесахъ, и отъ того все вертѣлось туго, безъ скрипа, — но тяжело. Онъ говорилъ всегда интересныя вещи; жена его, извѣстная пьянистеа, играла прекрасныя вещи; а скука была смертная. Одни дѣти, прыгая, вносили какой-то больше свѣтлый элементъ; ихъ свѣтленькіе глазенки и звонкіе голоса обѣщали меньше достоинства, но больше масла въ колесахъ (\*).

. . . . .  
 . . . . .

(\*) Здѣсь пропускъ въ рукописи, которая снова начинается слѣдующими словами: ... „отвращенія, является горькое чувство зависти. Источникъ этихъ ненавистей долею лежитъ въ сознаніи политической второстепенности *германскаго отечества* и въ притязаніи играть первую роль“.

... Смѣшно національное фанфаронство и у французовъ; но все же они могутъ сказать: „что, нѣкоторымъ образомъ, за челоуѣчество кровь проливали“, въ то время какъ ученые германцы проливали однѣ чернила. Притязаніе на какое-то огромное національное значеніе, идущее рядомъ съ доктринерскимъ космополитизмомъ, тѣмъ смѣшнѣе, что оно не предъявляетъ другаго права, кромѣ неувѣренности въ уваженіи другихъ, желанія sich geltend machen. „За что насъ поляки не любятъ?“

говорилъ серьезно въ обществѣ гелертовъ одинъ нѣмецъ. Тутъ случился журналистъ, умный человѣкъ, давно поселившійся въ Англіи.

— Ну это еще не такъ мудроно понять, — отвѣчалъ онъ: вы лучше скажите, кто насъ любитъ? Или за что насъ всѣ ненавидятъ?

— Какъ всѣ ненавидятъ? — спросилъ удивленный профессоръ.

— По крайней мѣрѣ всѣ пограничные: итальянцы, датчане, шведы, русскіе, славяне.

— Позвольте, Негг Дослог, есть же исключенія, — возразилъ обезпокоенный и нѣсколько сконфуженный гелертеръ.

— Безъ малѣйшаго сомнѣнія, и какое исключеніе: Франція и Англія.

Ученый началъ разсвѣтать.

— И знаете отчего? — Франція насъ не боится, а Англія презираетъ.

Положеніе нѣмца дѣйствительно печальное, — но печаль его не интересна. Всѣ знаютъ, что они справиться могутъ съ внутреннимъ и внѣшнимъ врагомъ, но не умѣютъ. Отчего, напримѣръ, единоплеменные ей народы: Англія, Голландія, Швеція, свободны, а нѣмцы нѣтъ? Неспособность тоже обиживаетъ, какъ дворянство, кой къ чему, и всего больше къ скромности. Нѣмцы чувствуютъ это и прибѣгаютъ къ отчаяннымъ средствамъ, чтобъ имѣть верхъ; они выдаютъ Англію и Сѣверо-Американскіе Штаты за представителей Германизма въ сферѣ государственной прахис. Руге, разгнѣвавшись на Эдгарда Бауера за его пустую брошюру о Россіи (кажется подъ заглавіемъ Kirche und Staat), и подозрѣвая, что я Э. Бауера ввелъ въ искушеніе, писалъ мнѣ, (а потомъ тоже самое напечаталъ въ Жер-

сейскомъ Альманахѣ), что Россія одинъ грубый матеріаль, дивій и неустроенный, котораго сила, слава и красота только отъ того и происходятъ, что Германскій геній ей придалъ свой образъ и подобіе.

Каждый русскій, являющійся на сцену, встрѣчаетъ то озлобленное удивленіе нѣмцевъ, которое не такъ давно находили отъ нихъ же наши ученые, желавшіе сдѣлаться профессорами русскихъ университетовъ и русской академіи. Выписнымъ „коллегамъ“ казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захватомъ чужаго мѣста.

Марксъ, очень хорошо знавшій Бакунина, который чуть не сложилъ голову за нѣмцевъ подъ топоромъ саксонскаго палача, выдалъ его за *русскаго шпіона*. Онъ разсказалъ въ своей газетѣ цѣлую исторію, какъ Ж.-Сандъ слышала отъ Ледрю-Роллена, что, когда онъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, то видѣлъ какую-то компрометирующую Бакунина переписку. Бакунинъ тогда сидѣлъ, ожидая приговора, въ тюрьмѣ — и ничего не подозрѣвалъ. Клевета толкала его на эшафотъ и порывала послѣднее общеніе любви между мученикомъ и сочувствующей ему массой. — Другъ Бакунина А. Рейхель, написалъ въ *Nohant* къ Ж.-Сандъ, и спросилъ ее въ чемъ дѣло? Она тотчасъ отвѣчала Рейхелю и прислала письмо въ редакцію Марксова журнала, отзываясь съ величайшей дружбой о Бакунинѣ; она прибавляла, что вообще *никогда не говорила* съ Ледрю-Ролленомъ о Бакунинѣ, въ силу чего не могла сказать и сказаннаго въ газетѣ. Марксъ нашелся ловко и помѣстилъ письмо Ж.-Сандъ съ примѣчаніемъ, что статья о Бакунинѣ была помѣщена во время его отсутствія.

Финалъ совершенно нѣмецкій: онъ невозможенъ не только во Франціи, гдѣ *point d'honneur* такъ щепетиленъ



и гдѣ издатель зарылъ бы всю нечистоту дѣла подъ кучей фразъ, словъ, околичностей, нравственныхъ сен-тенцій, покрылъ бы ее отчаяніемъ *qu'on avoit surpris sa religion*; но даже англійскій издатель, несравненно менѣе церемонный, не смѣлъ бы свалить дѣла на сотрудниковъ (\*).

Черезъ годъ послѣ моего приѣзда въ Лондонъ, Маркова шайка еще разъ возвратилась на гнусную клевету противъ Бакунина, тогда погребеннаго въ Алексѣевскомъ равелинѣ.

(\*) Не смотря на то, что они позволяютъ себѣ ужасно много, для ихъ характеристики расскажу одинъ случай, бывшій съ Луи-Бланомъ. *Теймсъ* напечаталъ, что Луи-Бланъ, бывши членомъ временнаго правительства, истратилъ „милліона полтора франковъ казенныхъ денегъ“ на составленіе себѣ партіи между работниками. Луи-Бланъ отвѣчалъ редакціи, что она имѣетъ невѣрные свѣдѣнія о немъ, что, при пущемъ желаніи, онъ не могъ ни украсть, ни истратить полтора милліона франковъ; потому что во все время его заведыванія Люксембургской Коммиссіей у него не было въ распоряженіи болѣе 30,000 франковъ. *Теймсъ* не помѣстилъ его отвѣта. Луи-Бланъ отправился въ редакцію самъ и потребовалъ свиданія съ главнымъ издателемъ. Ему отвѣчали, что главнаго издателя *вообще нѣтъ*, что *Теймсъ* издается какъ-то артелью. Луи-Бланъ требовалъ отвѣтственнаго артельщика; ему отвѣчали, что никто лично ни за что не отвѣчаетъ.

„Къ кому же наконецъ я долженъ обратиться, у кого требовать отчетъ въ томъ, что мое письмо въ дѣлѣ, касающемся до моего добраго имени, не было помѣщено“? — Здѣсь, — сказалъ ему одинъ изъ чиновниковъ при *Теймсѣ*: „не такъ какъ во Франціи; у насъ нѣтъ ни *Géant responsable*, ни законнаго обязательства помѣщать отвѣты“.

— Рѣшительно нѣтъ отвѣтственнаго редактора? — спросилъ Луи-Бланъ.

— Нѣтъ.

— Очень, очень жаль, — замѣтилъ Луи-Бланъ, зло улыбаясь: „что нѣтъ главнаго редактора; а то я непременно надавалъ бы ему пощечинъ. Прощайте Господа“.

— Good day Sir, good day. God bless you! — повторилъ чиновникъ при *Теймсѣ*, учтиво и спокойно открывая двери.

Въ Англіи, въ этомъ стародавнемъ отечествѣ поврежденныхъ, одно изъ самыхъ оригинальныхъ мѣстъ между ними занимаетъ *Давидъ Уркуардъ*:—человѣкъ съ талантомъ и энергіей, эксцентрическій радикалъ изъ консерватизма. Онъ помѣшался на двухъ идеяхъ: во первыхъ, — что Турція превосходная страна, имѣющая большую будущность, въ силу чего онъ завелъ себѣ турецкую кухню, турецкую баню, турецкіе диваны; — во вторыхъ, что русская дипломатія, самая хитрая и ловкая во всей Европѣ, подкупаетъ и надуваетъ всѣхъ государственныхъ людей во всѣхъ государствахъ міра сего, и преимущественно въ Англіи. Уркуардъ работалъ годы, чтобъ отыскать доказательства того — что Пальмерстонъ на откупѣ у Петербургскаго кабинета. Онъ объ этомъ печаталъ статьи и брошюры, дѣлалъ предложенія въ парламентѣ, проповѣдывалъ на митингахъ. Сначала на него сердились, отвѣчали ему, бранили его; потомъ привыкли. Обвиняемые и слушавшіе стали улыбаться, не обращали вниманія; наконецъ разразились общимъ хохотомъ.

На одномъ митингѣ, въ одномъ изъ большихъ центровъ, Уркуардъ до того увлекся своей идеей, что, представляя Кошута человѣкомъ невѣрнымъ, онъ прибавилъ, что, если Кошута и не подкупленъ Россіей, то находится подъ вліяніемъ человѣка, явнымъ образомъ работающаго въ пользу Россіи, и *этотъ человекъ Мацинини!* Уркуардъ, какъ Дантовская Франческа, не продолжалъ больше своего чтенія въ этотъ день. При имени Мацинини поднялся такой гомерическій смѣхъ, что самъ Давидъ замѣтилъ, что итальянскаго Голиафа онъ не сбилъ своей пращею, а себѣ свихнулъ руку.

Человѣкъ, думавшій и открыто говорившій, что, отъ Гизо и Дерби, до Эспартеро, Кобдена и Мацинини, все

русскіе агенты, былъ кладъ для шайки непризнанныхъ нѣмецкихъ государственныхъ людей, окружавшихъ неузнаннаго генія первой величины, Маркса. Они пзъ своего неудачнаго патріотизма и страшныхъ притязаній сдѣлали какую-то Hochschule клеветы и заподозрѣванія всѣхъ людей, выступавшихъ на сцену съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ они сами. Имъ не доставало честнаго имени. Уркуардъ его далъ. Съ Уркуардомъ и публикой питейныхъ домовъ вошли въ Morning Advertiser Маркесиды и ихъ друзья. Гдѣ пиво — тамъ и нѣмцы.

Однимъ добрымъ утромъ, Morning Advertiser вдругъ поднялъ вопросъ: „Былъ ли Бакунинъ русскій агентъ или нѣтъ?“ Само собою разумѣется, отвѣчалъ на него положительно (\*). Поступокъ этотъ былъ до того гнусенъ, что возмущилъ даже такихъ людей, которые не принимали особеннаго участія въ Бакунинѣ.

Оставить это дѣло такъ было невозможно. Какъ ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацію съ Головиннымъ (объ этомъ субъектѣ будетъ особая глава), но выбора не было. Я пригласилъ Ворцеля и Мацинини присоединиться къ нашему протесту: они тотчасъ согласились. Казалось бы, что, послѣ свидѣтельства предсѣдателя польской демократической централизаціи и такого человѣка какъ Мацинини, все кончено.

Но нѣмцы не остановились на этомъ.

(\*) Уркуардъ имѣлъ тогда большое вліяніе на Morning Advertiser, — одинъ изъ журналовъ, самымъ страннымъ образомъ поставленныхъ. Журнала этого нѣтъ ни въ клубахъ, ни у большихъ стешіонеровъ, ни на столѣ у порядочныхъ людей; однако же онъ имѣетъ большую циркуляцію, чѣмъ Daily News, и только въ последнее время дешевые листы, въ родѣ Daily Telegraph, Morning Star, и Evening Star, отодвинули Morning Advertiser на второй планъ. Явленіе чисто англійское, Morning Advertiser журналъ питейныхъ домовъ, и нѣтъ кабака, въ которомъ бы его не было.

Онѣ затянули скучнѣйшую полемику съ Главнымъ, который, съ своей стороны, поддерживалъ ее для того, чтобъ собою занимать публику лондонскихъ кабаковъ...

Мой протестъ и то что я писалъ къ Мадцинн и Ворцелю, должно было обратить на меня гнѣвъ Маркса. Вообще, то было время, въ которое нѣмцы спохватились и стали меня окружать такою же грубою непріязнью, какъ прежде окружали грубымъ ухаживаніемъ; онѣ уже не писали мнѣ панегириковъ, какъ во время выхода Vom Andern Ufer и Писемъ изъ Италіи, а отзывались обо мнѣ, „какъ о дерзкомъ варварѣ, осмѣливающимся смотрѣть на Германію сверху внизъ“ (\*). Одинъ изъ Марксовскихъ гезеллей написалъ цѣлую книжку противъ меня и отослалъ Гофману и Кампе, которые отказались ее печатать. Тогда онѣ напечатали (что я узналъ гораздо позже) ту статейку въ Лидерѣ, о которой шла рѣчь. Имя его я не припомню.

Къ Марксистамъ присоединился вскорѣ и рыцарь съ опущеннымъ забраломъ, *Карлъ Блиндъ*, тогда *satulus* Маркса, теперь его врагъ. Въ его корреспонденціи въ Нью-Йорскіе журналы было сказано по поводу обѣда, который давалъ намъ американскій консулъ въ Лондонѣ: „на этомъ обѣдѣ былъ русскій, именно А. Герценъ, выдающій себя за социалиста и республиканца. Герценъ живетъ въ близкихъ сношеніяхъ съ Мадцинн, Кошутомъ и Саффи. Со стороны людей, стоящихъ во главѣ движенія, чрезвычайно неосторожно допускать русскаго въ

(\*) Это печатали нѣкто Колачекъ въ одномъ американскомъ журналѣ, по поводу втораго французскаго изданія: *Du développement des idées révolutionnaires en Russie*. *Пикантное* этого состоитъ въ томъ, что *весь текстъ* этой книги былъ прежде напечатанъ по нѣмецки въ *Deutsche Jahrbücher*, издаваемыхъ тѣмъ же самымъ Колачкомъ!

свою близость. Желая, чтобы имъ не пришлось слишкомъ поздно раскаться въ этомъ“.

Самъ ли Блиндъ это писалъ, или кто изъ его помощниковъ, — я не знаю; текста у меня передъ глазами нѣтъ, но за смыслъ я отвѣчаю.

При этомъ надобно замѣтить, что, какъ со стороны К. Блинда, такъ и со стороны Мареса, котораго я совсѣмъ не зналъ, вся эта ненависть была чисто платоническая, такъ сказать безличная: меня приносили на жертву фатерланду изъ патриотизма. Въ американскомъ обществѣ, между прочимъ, ихъ бѣсило отсутствіе нѣмца, — за это они наказали русскаго (\*).

Обществу, надѣлавшему много шума по ту и другую сторону Атлантики, случился такимъ образомъ. Президентъ Пирсъ будировалъ старыя европейскія правительства, — долею для того, чтобы приобрести больше популярности дома; долею, чтобы отвести глаза всѣхъ радикальныхъ партій въ Европѣ отъ главнаго алмаза, на которомъ ходила вся его политика: отъ незамѣтнаго упроченія и распространенія невольничества.

Это было время посольства Суле въ Испанію и сына Р. Оуэна въ Неаполь, вскорѣ послѣ дуэли Суле съ Тюрго и его настоятельнаго требованія проѣхать, вопреки приказу Наполеона, черезъ Францію въ Брюссель: въ проѣздѣ этомъ императоръ французовъ отказать не рѣшился. „Мы посылаемъ пословъ“, — говорили американцы

(\*) Отсутствіе нѣмца на обществѣ напоминаетъ мнѣ похороны матери Гарибальди. Она умерла въ Ниццѣ, въ 1851 году. Друзья ея сына пригласили изгнанниковъ разныхъ странъ нести покойницу; въ томъ числѣ былъ приглашенъ и я. Когда мы собрались у сѣней дома, оказалось, что приглашенные были: два римлянина (одинъ изъ нихъ былъ Орсини), два ломбардца, два неаполитанца, два француза, Хоецкій — полякъ и я — русскій. „Господа“, — сказалъ Хоецкій: *L'Europe entière est représentée; même il y manque un Allemand!*

— „не къ царямъ, а къ народамъ“. Отсюда идея дать дипломатическій обѣдъ врагамъ всѣхъ существующихъ правительствъ.

Я не имѣлъ понятія о готовящемся обѣдѣ; получаю вдругъ приглашеніе отъ Саундерса, американскаго консула. Въ приглашеніи лежала небольшая записочка отъ Мацини: онъ просилъ меня, чтобъ я не отказывался, что обѣдъ этотъ дѣлается съ цѣлью кой-кого подразнить и показать симпатію кой-кому другому.

На обѣдъ были Мацини, Кошутъ, Ледрю-Ролленъ, Гарibaldi, Орсини, Ворцель, Пульскій и я. Изъ англичанъ одинъ радикальный членъ парламента, Жозуа Вомсей; затѣмъ посолъ Бюхананъ и всѣ посольскіе чиновники.

Надобно замѣтить, что одна изъ цѣлей *краснаго* обѣда, даннаго защитникомъ *чернаго* рабства, состояла въ сближеніи Кошута съ Ледрю-Ролленомъ. Дѣло было не въ томъ, чтобы ихъ примирить: они никогда не ссорились, а чтобы ихъ официально познакомить. Ихъ незнакомство случилось такъ: Ледрю-Ролленъ былъ уже въ Лондонѣ, когда Кошутъ пріѣхалъ изъ Турціи. Возникъ вопросъ, кому первому ѣхать съ визитомъ: Ледрю-Роллену къ Кошуту, или Кошуту къ Ледрю-Роллену. Вопросъ этотъ сильно занималъ ихъ друзей, сподвижниковъ, ихъ дворъ, гвардію и чернь. Рго и сопг: были значительныя. Одинъ былъ диктаторомъ Венгріи; другой не былъ диктаторомъ, но за то *французъ*. Одинъ былъ почетный гость Англіи, левъ первой величины, на вершинѣ своей славы; другой былъ въ Англіи какъ дома, а визиты дѣлаются вновь пріѣзжающими. Словомъ, вопросъ этотъ, какъ квадратура круга или *regretium mobile*, былъ найденъ обоими дворами неразрѣшимымъ... а потому и рѣшили тѣмъ, чтобы не ѣздить ни тому, ни другому, предоставляя дѣло

встрѣчи волѣ божіей и случаю. Года три или четыре Ледрю-Ролленъ и Кошутъ, живя въ одномъ городѣ, имѣя общихъ друзей, общіе интересы и одно дѣло, должны были игнорировать другъ друга, а случая никакого не было. Маццини рѣшился помочь судьбѣ.

Передъ обѣдомъ, послѣ того какъ Бюхананъ уже пережалъ намъ всѣмъ руки и изъявилъ каждому свое полное удовольствіе, что познакомился лично, — Маццини взялъ Ледрю-Роллена подъ руку; въ тоже самое время Бюхананъ сдѣлалъ такой же маневръ съ Кошутомъ, и, крѣтко подвигая виновниковъ, привели ихъ почти къ столкновенію и назвали ихъ другъ другу. Новые знакомые не остались въ долгу и осыпали другъ друга комплиментами — съ восточнымъ, цвѣтистымъ оттѣнкомъ со стороны великаго Мадьяра, и съ сильнымъ колоритомъ рѣчей Конвента со стороны великаго Галла...

Я стоялъ во время всей этой сцены у окна съ Орсини; взглянувъ на него, я былъ до смерти радъ, видя легкую улыбку больше въ его глазахъ, чѣмъ на губахъ. „Послушайте, — сказалъ я ему — какой мнѣ вздоръ пришелъ въ голову: въ 1847 году я видѣлъ въ Парижѣ въ историческомъ театрѣ какую-то глупѣйшую военную пьесу, въ которой главную роль играли дымъ и стрѣльба, вторую — лошади, пушки и барабаны. Въ одномъ изъ дѣйствій полководцы обѣихъ армій выходятъ для переговоровъ съ противоположныхъ сторонъ сцены, храбро идутъ на встрѣчу другъ другу, и, подойдя, одинъ снимаетъ шляпу и говорить:

Souvaroff—Massena!

На что другой ему отвѣчаетъ тоже безъ шляпы:

Massena—Souvaroff!

— Я самъ едва удержался отъ смѣха, — сказалъ мнѣ Орсини съ совершенно серьезнымъ лицомъ.

Хитрый старикъ Бюхананъ, мечтавшій тогда уже, не смотря на семидесятилѣтній возрастъ, о президентствѣ, и потому говорившій постоянно о счастьи покоя, объ идиллической жизни и о своей дряхлости, любезничалъ съ нами такъ, какъ любезничалъ въ Зимнемъ дворцѣ съ Орловымъ и Бенкендорфомъ, когда былъ посломъ при Николаѣ. Съ Кошутомъ и Маццини онъ былъ прежде знакомъ; другимъ онъ говорилъ очень хорошо отдѣланные комплименты, напоминавшіе гораздо больше тертаго дипломата, чѣмъ суроваго гражданина демократической республики. Мнѣ онъ ничего не сказалъ, кромѣ того, что онъ долго былъ въ Россіи и вывезъ убѣжденіе, что она имѣетъ великую будущность. Я ему на это, разумѣется, ничего не сказалъ, а замѣтилъ, что помню его со временъ коронаціи Николая. „Я былъ мальчикомъ, но вы были такъ замѣтны въ вашемъ простомъ черномъ фракѣ и въ круглой шляпѣ среди толпы раззолоченной ливрейной знати“ (\*).

Гарибальди онъ замѣтилъ: „У васъ такая же слава въ Америкѣ, какъ въ Европѣ; только въ Америкѣ еще прибавляется новый титулъ: тамъ васъ знаютъ за отличнаго моряка“.

За десертомъ, когда М<sup>ме</sup> Sanders уже вышла и подали сигары съ еще бѣльшимъ количествомъ вина, Бюхананъ, сидѣвшій противъ Ледрю-Роллена, сказалъ ему, „что у него былъ знакомый въ Нью-Йоркѣ, говорившій, будто онъ готовъ бы былъ съѣздить изъ Америки во Францію только для того, чтобъ познакомиться съ нимъ“.

По несчастію Бюхананъ какъ-то шамшилъ, а Ледрю-Ролленъ плохо понималъ по англійски; въ силу чего вышло презабавное *qui pro quo*. Ледрю-Ролленъ думалъ,

(\*) Я ни слова тогда не говорилъ по англійски. Бюхананъ плохо понималъ по французски. Ворцель ему переводилъ мои слова.



что Бюхананъ говоритъ это отъ себя и, съ французскимъ *effusion de reconnaissance*, сталъ его благодарить — и протянулъ ему черезъ столъ свою огромную руку. Бюхананъ принялъ благодарность и руку и, съ тѣмъ невозмущаемымъ спокойствіемъ въ трудныхъ обстоятельствахъ, съ которыми англичане и американцы тонуть съ кораблемъ или теряютъ половину состоянія, — замѣтилъ ему : « I think — it is a mistake, — это не я такъ думалъ, это одинъ изъ моихъ хорошихъ пріятелей въ New-York'ѣ ».

Праздникъ кончился тѣмъ, что поздно вечеромъ, когда Бюхананъ уѣхалъ, а въ слѣдъ за нимъ не счелъ болѣе возможнымъ остаться и Кошутъ, и отправился съ своимъ министромъ безъ портфеля, — Сандерсъ сталъ умолять насъ снова сойти въ столовую, гдѣ онъ хотѣлъ самъ приготовить какой-то американскій пуншъ изъ стараго кентукійскаго виски. Къ тому же Сандерсу тамъ хотѣлось вознаградить себя за отсутствіе тостовъ за будущую всемірную (бѣлую) республику и т. д., которыхъ должно быть осторожный Бюхананъ не допускалъ. За обѣдомъ пили тосты двухъ-трехъ гостей и его, безъ рѣчей.

Пока онъ жегъ какой-то алкоголь и приправлялъ его всякой всячиной, — онъ предложилъ хоромъ *отслужить* Марсельезу. Оказалось, что музыку ея порядкомъ зналъ одинъ Ворцель : — за то у него было *extinction* голоса, — да кое-какъ Мадзини, и пришлось звать американку Сандерсъ, которая сыграла марсельезу на гитарѣ.

Между тѣмъ ея супругъ, окончивъ свою страпню, попробовалъ ее, остался доволенъ и разлилъ намъ въ большія чайныя чашки. Не опасаясь ничего, — я сильно хлебнулъ — и въ первую минуту не могъ перевести духа. Когда я пришелъ въ себя и увидѣлъ, что Ледрю-Рол-

лень собирался также усердно хлебнуть, я остановилъ его словами : „Если вамъ дорога жизнь, то вы осторожнѣе обращайтесь съ кентувійскимъ прохладительнымъ ; я русскій — да и то опалилъ себѣ небо, горло и весь пищепріемный каналъ,— что же будетъ съ вами? Должно быть у нихъ въ Кентуки пуншъ дѣлается изъ краснаго перца, настоящаго на купоросномъ маслѣ“.

Американецъ радовался, пронически улыбаясь, слабости европейцевъ. Подражатель Митридата съ молодыхъ лѣтъ, я одинъ подаль пустую чашку и попросилъ еще. Это химическое сродство съ алкоголемъ ужасно подняло меня въ глазахъ консула.— „Да, да — говорилъ онъ— только въ Америкѣ и въ Россіи люди и умѣютъ пить“.

— Да есть и еще больше лестное сходство, подумалъ я, только въ Америкѣ и въ Россіи умѣютъ крѣпостныхъ засѣкать до смерти.

Пуншемъ въ 70 % окончился этотъ обѣдъ, испортившій больше крови нѣмецкимъ фолликуляріямъ, чѣмъ желудокъ обѣдавшимъ.

За трансатлантическимъ обѣдомъ слѣдовала попытка *международнаго комитета* : — послѣднее усиліе чартистовъ и изгнанниковъ соединенными силами заявить свою жизнь и свой союзъ. Мысль этого комитета принадлежала Эрнесту Джонсу. Онъ хотѣлъ оживить дряхлѣвшій не по лѣтамъ чартизмъ,— сблизать англійскихъ работниковъ съ французскими социалистами. Общественнымъ актомъ этой entente cordiale назначенъ былъ митингъ — въ воспоминаніе 24 Февраля 1848.

Международный комитетъ избралъ между десятками другихъ и меня своимъ членомъ. Меня просили сказать рѣчь о Россіи ; я поблагодарилъ ихъ письмомъ, рѣчи говорить не хотѣлъ ; тѣмъ бы и заключилъ, еслибъ Марксъ и Головинъ не вынудили меня явиться на зло

имъ на трибунѣ St.-Martin's Hall. Сначала Джонсъ получилъ письмо отъ какого-то нѣмца, протестовавшаго противъ моего избранія. Онъ писалъ, что я извѣстный панславистъ, что я писалъ о необходимости завоеванія Вѣны, которую называлъ славянскою столицей; что я проповѣдую русское крѣпостное состояніе, какъ идеаль для земледѣльческаго населенія. Во всемъ этомъ онъ ссылаясь на мои письма къ Линтону. (*La Russie et le vieux monde.*) Джонсъ бросилъ безъ вниманія патриотическую клевету.

Но это письмо было только авангардною рекогносцировкой. Въ слѣдующее засѣданіе комитета Марксъ объявилъ, что онъ считаетъ мой выборъ несовмѣстнымъ съ цѣлью комитета и предлагалъ выборъ уничтожить. Джонсъ замѣтилъ, что это не такъ легко, какъ онъ думаетъ, что комитетъ, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желанія быть членомъ, и сообщивши ему официально избраніе, не можетъ измѣнить рѣшеній по желанію одного члена, что пусть Марксъ формулируетъ свои обвиненія, и онъ ихъ предложитъ теперь же на обсужденіе комитета.

На это Марксъ сказалъ, что онъ меня лично не знаетъ, что онъ не имѣетъ никакого частнаго обвиненія, но находитъ достаточнымъ и того, что я русскій, и притомъ *русскій, который во всемъ, что писалъ, поддерживаетъ Россію*, что наконецъ, если комитетъ не исключитъ меня, то онъ Марксъ, со всѣми своими, будетъ принужденъ выйти.

Французы, поляки, итальянцы, челоуѣка два-три нѣмцевъ и англичане вотировали за меня. Марксъ остался въ страшномъ меньшинствѣ. Онъ всталъ и, со своими пріятелями, оставилъ комитетъ, куда болѣе не возвращался.

Побитые въ комитетѣ, Марксиды отретировались въ

свою твердню — въ Morning Advertiser. Герстъ и Блакетъ издали англійскій переводъ одного тома „Былаго и Думъ“, включивъ въ него „Тюрьму и Ссылку“; чтобъ товаръ продать лицомъ, они не обинуясь поставили: • *My exile in Siberia* • на заглавномъ листѣ. Express первый замѣтилъ это фанфаронство. Я написалъ къ издателямъ письмо, и другое въ Express. Герстъ и Блакетъ объявили, что заглавіе было сдѣлано ими, что въ оригиналѣ его нѣтъ, но что Гофманъ и Кампе поставили въ нѣмецкомъ переводѣ тоже „въ Сибири“. Express все это напечаталъ. Казалось, дѣло было кончено. Но Morning Advertiser началъ меня шпиговать въ недѣлю раза два-три. Онъ говорилъ, что я слово *Сибирь* употребилъ для лучшаго сбыта книги, что я протестовалъ черезъ *пять дней* послѣ выхода книги, т. е. давши время сбыть изданіе. Я отвѣчалъ, они сдѣлали рубрику: «*Case of M. Herzog*», какъ помѣщаютъ дополненіе къ убійствамъ или уголовнымъ процессамъ. Адвертейзеровскіе нѣмцы не только сомнѣвались въ Сибири, приписанной книгопродавцемъ, но и въ самой ссылке. „Въ Вяткѣ и Новгородѣ г. Герценъ былъ на императорской службѣ; гдѣ же и когда онъ былъ въ ссылкѣ?“

Наконецъ интересъ изсякъ, и Morning Advertiser забылъ меня.

Прошло четыре года.—Началась итальянская война.—Красный Марксъ избралъ самый черно-желтый журналъ въ Германіи, „Аугсбургскую газету“, и въ ней сталъ выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона; Кошута съ Телеки, Пульскаго и пр., какъ продавшихъ Бонапарту. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ напечаталъ: „Герценъ, по самымъ вѣрнымъ источникамъ, получаетъ большія деньги отъ Наполеона. Его близкія сношенія съ Palais-Royal'емъ были и прежде не тайной“.

Я не отвѣчалъ; но за то былъ почти обрадованъ, когда одинъ тощій лондонскій журналъ помѣстилъ статейку, въ которой говорилъ (не смотря на то, что я десять разъ отрицалъ это), будто я „рекомендую Россіи завоевать Вѣну и считаю ее столицей Славянскаго міра“.

Мы сидѣли за обѣдомъ — человѣкъ десять; кто-то рассказывалъ изъ газетъ о злодѣйствахъ, сдѣланныхъ Урбаномъ со своими пандурами возлѣ Комо. Кавуръ обнародовалъ ихъ. Что касается до Урбана, въ немъ сомнѣваться было грѣшно. Кондотьеръ безъ роду и племени, онъ гдѣ-то родился на бивакахъ и выросъ въ какихъ-то казармахъ: пандуръ и грабитель *par droit de conquête et par droit de naissance*, *filles du régiment* мужскаго пола, и по всему свирѣпый солдатъ. Дѣло было какъ-то около Мадженты и Сольферино. Нѣмецкій патріотизмъ былъ тогда въ періодѣ злѣйшей ярости; классическая любовь къ Италіи, патріотическая ненависть къ Австріи: все исчезло передъ *патосомъ* національной гордости, хотѣвшей во что бы то ни стало удержать чужой „квадрилатеръ“. Баварцы собирались итти, не смотря на то, что ихъ никто не посылалъ, никто не звалъ, никто не пускалъ. Гремя ржавыми саблями бефрейюнгсъ-крига, они запаивали пивомъ и засыпали цвѣтами всякихъ кроатовъ и далматовъ, шедшихъ бить итальянцевъ за Австрію и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанникъ Бухеръ и какой-то, должно быть побочный, потомокъ Барбароссы — Ротбартусъ — протестовали противъ всякаго притязанія иностранцевъ (т. е. итальянцевъ) на Венецію.

При этихъ неблагоприятныхъ обстоятельствахъ и былъ между супомъ и рыбой, поднять несчастный вопросъ о злодѣйствахъ Урбана.

— Ну, а если это не правда? — замѣтилъ нѣсколько поблѣднѣвшій докторъ М.-С. изъ Мекленбурга по тѣлесному и Берлина по духовному — рожденію.

— Однако же нота Кавура...

— Ничего не доказываетъ.

— Въ такомъ случаѣ, — замѣтилъ я — можетъ подъ Маджентой австрійцы разбили на голову французовъ: вѣдь никто изъ насъ не былъ тамъ.

— Это другое дѣло: тамъ тысячи свидѣтелей, а тутъ какіе-то итальянскіе мужики.

— Да что за охота защищать австрійскихъ генераловъ?... развѣ мы ихъ и прусскихъ офицеровъ не знаемъ по 1848 г.: эти проклятые юнкеры, съ дерзкимъ лицомъ, надменнымъ видомъ...

— Господа — замѣтилъ М.-С. — прусскихъ офицеровъ не слѣдуетъ оскорблять и ставить на ряду съ австрійскими.

— Такихъ тонкостей мы не знаемъ; всѣ они несносны, противны. Мнѣ кажется, что всѣ они, да и наши лейбъ-гвардейцы въ добавокъ, такіе же...

— Кто обижаетъ прусскихъ офицеровъ, обижаетъ прусскій народъ: они съ нимъ неразрывны, и М.-С., совсѣмъ блѣдный, отставилъ въ первый разъ отъ роду дрожащей рукой стаканъ палитаго пива.

— Нашъ другъ М.-С., величайшій патріотъ Германія, — сказалъ я, все еще полушутя — онъ на алтарь отечества приносить больше чѣмъ жизнь, больше чѣмъ обожженную руку; онъ жертвуетъ здравымъ смысломъ.

— И нога его не будетъ въ домѣ, гдѣ обижаютъ германскій народъ!

Съ этими словами мой докторъ философіи всталъ, бросилъ на столъ салфетку, какъ матеріальный знакъ разрыва, и мрачно вышелъ... Съ тѣхъ поръ мы не видѣлись.

А вѣдь мы съ нимъ шли на «Du» у Стеели, Gendarmen-Platz, въ Берлинѣ, въ 1847 году, и онъ былъ самый лучший и самый счастливый Вимплегъ изъ всѣхъ, видѣнныхъ мною. Не вѣзжая въ Россію, онъ какъ-то всю жизнь прожилъ съ русскими, и біографія его не лишена для насъ интереса.

Какъ всѣ нѣмцы, не работающіе руками, М.-С. учился древнимъ языкамъ очень долго и подробно; знать ихъ очень хорошо и много. Его образованіе было до того упорно классическое, что онъ не имѣлъ времени никогда заглянуть ни въ какую книгу объ естествовѣденіи; хотя естественныя науки уважалъ, зная, что Гумбольдтъ ими занимался всю жизнь. М.-С., какъ всѣ филологи, умеръ бы отъ стыда, еслибъ онъ не зналъ какой-нибудь книжонки средневѣковой, или классической дрянью, и не обинуясь признавался напр. въ совершенномъ невѣденіи физики, химіи и пр. Страстный музыкантъ безъ Anschlag'a и голоса, платоническій эстетикъ, неумѣвшій карандаша взять въ руки и изучавшій картины и статуи. Въ Берлинѣ М.-С. началъ свою карьеру глубокомысленными статьями объ игрѣ талантливыхъ, но все неизвѣстныхъ, берлинскихъ актеровъ въ „Шпекеровой газетѣ“, и былъ страстнымъ любителемъ спектакля. Театръ впрочемъ не мѣшалъ ему любить вообще всѣ зрѣлища, отъ звѣринцевъ съ пожилыми львами и умивающимися бѣлымъ медвѣдемъ, и фокусниковъ, до панорамъ, телятъ съ двумя головами, восковыхъ фигуръ, ученыхъ собакъ и пр.

Въ жизнь мою я не видывалъ такого *дѣятельнаго* *лѣнтяя*, такого вѣчно занятаго праздношатающагося. Утомленный, въ поту, въ пыли, измятый, затасканный, приходилъ онъ въ одиннадцатомъ часу вечера — и бросался на диванъ... вы думаете, у себя въ комнатѣ?

совсѣмъ нѣтъ,—въ учено-литературной биръ-кнейшѣ, у Стеели,—и принимался за пиво. Выпивалъ онъ его нечеловѣческое количество, безпрестанно стучалъ крышкою кружки, и Jungfer уже знала безъ словъ и просьбы, что слѣдуетъ нести другую. Здѣсь, окруженный отставными актерами и еще непринатыми въ литературу писателями, проповѣдывалъ М.-С. часы о Каульбахѣ и Корнелиусѣ, — о томъ какъ нѣлъ въ этотъ вечеръ Лаблашъ въ королевской оперѣ, о томъ какъ мысль губить стихотвореніе и портить картину, убивая ея непосредственность..... Вдругъ онъ вскакивалъ, вспомнивъ, что долженъ завтра въ восемь часовъ утра бѣжать къ Пассаланьи, въ египетскій музей смотрѣть новую мумію; и непременно въ восемь часовъ, потому что, въ половинѣ десятаго одинъ пріятель обѣщалъ сводить его въ конюшню англійскаго посланника, показать какъ англичане отлично содержатъ лошадей. Схваченный такимъ воспоминаніемъ, М.-С., извиняясь, наскоро выпивалъ кружку, забывая то очки, то платокъ, то крошечную табакерку, бѣжалъ въ какой-то переулокъ за Шпре, подымался на четвертый этажъ и торопился выспаться, чтобъ не заставить дожидаться мумію, три-четыре тысячи лѣтъ покоившуюся, не нуждался ни въ Пассаланьи, ни въ докторѣ М.-С.

Безъ гроша денегъ и трата послѣднія на Cerevisia и Circenses, М.-С. жилъ на антоніевой пищѣ, храня внутри сердца непреодолимую любовь къ кухоннымъ рѣдкостямъ и столовымъ лакомствамъ. За то, когда фортуна ему улыбалась и когда его несчастная любовь могла перейти въ реальную,—онъ торжественно доказывалъ, что онъ не только уважалъ категорію качества, но столько же отдавалъ справедливости категоріи количества.



Судьба, рѣдко балующая нѣмцевъ, особенно идущихъ по филологической части, сильно баловала М.-С. Онъ случайно попалъ въ пассатное русское общество, и при томъ молодыхъ и образованныхъ русскихъ. Оно завертѣло его, закармилло, запоило. Это было лучшее, поэтическое время его жизни, *Genussjahre*! Лица мѣнялись, пиръ продолжался. Безсмѣннымъ былъ одинъ М.-С. Кого и кого, съ 1848 года, не водилъ онъ по музеямъ, кому не объяснялъ Каульбаха, кого не водилъ въ университетъ? Тогда была эпоха Германопоклоненія въ пущемъ разгарѣ; русскій останавливался съ почтеніемъ въ Берлинѣ, тронутый тѣмъ, что попираетъ философскую землю, которую Гегель попиралъ, поминалъ его и учениковъ его съ М.-С. языческими возліаніями и страсбургскими пирогами. Эти событія могли разстроить все міросозерцаніе какаго угодно нѣмца. Нѣмецъ не можетъ однимъ синтезисомъ обнять страсбургскіе пироги и шампанское съ изученіемъ Гегеля, идущимъ даже до брошюръ Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шиллера, Розенкранца и всѣхъ въ жизни усопшихъ знаменитостей сороковыхъ годовъ. У нихъ все еще, — если страсбургскій пирогъ — то банкиръ, — если *Champagner* — то конекъ.

М.-С. довольный, что нашелъ такое вкусное сочетаніе науки съ жизнью, сбился съ ногъ; покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь въ почтовую карету (или, потомъ, въ вагонъ), чтобъ ѣхать въ Парижъ, перебрасывала его, какъ ракету или воланъ, въ русской семьѣ, подъѣзжавшей изъ Кенигсберга или Штетина. Съ проводовъ онъ торопился на встрѣчу, — и горькое пиво разлуки было нагоняемо сладкимъ пивомъ новаго знакомства. Виргилій философскаго чистилица — онъ вводилъ сѣверныхъ неофитовъ въ берлинскую жизнь и разомъ отерывалъ имъ двери въ святилище

des reinen Denkens und des deutschen Kneipens. Чистые душою соотечественники наши оставляли съ увлеченіемъ и порядочное вино, и прибранныя комнаты отелей, чтобы бѣжать съ М.-С. въ душную полъ-пивную. Они всѣ были внѣ себя отъ буршикозной жизни, и северный табачный дымъ Германіи имъ сладокъ и пріятенъ былъ.

Въ 1847 году и я дѣлилъ эти увлеченія; и мнѣ казалось, что я какъ-то выше становлюсь въ общественномъ значеніи, оттого, что по вечерамъ встрѣчалъ въ полъ-пивной Ауэрбаха, читавшаго каррикатурно Шиллерову *Bürgschaft* и рассказывавшаго смѣшныя анекдоты, въ родѣ того какъ русскій генераль покупалъ для двора какія-то картины въ Дюссельдорфѣ. Генераль былъ не совсѣмъ доволенъ величиной картины и думалъ, что живописецъ хочетъ его обмѣрить.

„*Гутъ*, — говоритъ онъ, — *аберъ клеймъ. Кейзеръ liebt grosse Bilder, Кейзеръ sehr klug; Gott klüger, aber Кейзеръ noch jung*“ и т. п. Кромѣ Ауэрбаха, тамъ бывали дватри берлинскихъ (что было въ этомъ звукѣ для русскаго уха сороковыхъ годовъ!) профессора; одинъ изъ нихъ, въ какомъ-то сюртукѣ на *военный* манеръ, и какой-то спившійся актеръ, который былъ недоволенъ современнымъ сценическимъ искусствомъ и считалъ себя неузнаннымъ гениемъ. Этого неоцѣненнаго Тальму заставляли всякій вечеръ пѣть куплеты „о покушеніи Фіаски на Людвига Филиппа“ и, немного потише, о выстрѣлѣ чеха въ прусскаго короля.

Haute Keiner je so Pech  
Wie der Bürgermeister Tschech,  
Denn er schoss der Landesmutter  
Durch den Rock ins Unterfutter.

— Вотъ она свободная-то Европа!... вотъ онѣ — Аѳины на Шпре! И какъ мнѣ было жаль друзей, остав-

шихся на Тверскомъ бульварѣ и на Невскомъ проспектѣ.

Зачѣмъ износились всѣ эти чувства непочатости, свѣрной свѣжести и невѣденія, удивленія, поклоненія. Все это оптический обманъ. Что же за бѣда? развѣ мы въ театрѣ ходимъ не изъ за оптическаго обмана; только тутъ мы сами въ разговорѣ съ обманщикомъ; а тамъ если и есть обманъ, — то нѣтъ обманщика. Потому всякій увидитъ свои ошибки, улыбнется, немного посо-вѣстится; солжетъ, что этого никогда не было. А веселія-то минуты *были* таки.

Зачѣмъ видѣть сразу всю подноготную? Мнѣ просто хотѣлось бы воротиться къ прежнимъ демократіямъ и взглянуть на нихъ съ лицевой стороны: „Луиза, обмани меня... солги Луиза!“

Но Луиза (тоже М.-С.), отворачиваясь отъ старика, говоритъ, надувши губки: „Ach, um Himmelsgnaden, lassen Sie doch ihre Thorheiten und gehen Sie nur ihren Weg!“ и бреди себѣ по мостовой изъ булыжника, въ пыли, шумѣ, трескѣ, въ безотрадныхъ, ненужныхъ, мелькающихъ встрѣчахъ, ничѣмъ не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь къ выходу—зачѣмъ? Затѣмъ, что его миновать нельзя.

Возвращаясь къ М.-С., я долженъ сказать, что не все же онъ жилъ бабочкой, перелетая отъ Кролгартена Подъ-Липы. Нѣтъ, и его молодость имѣла свою героическую главу. Онъ высидѣлъ цѣлыхъ *пять мѣтъ* въ тюрьмѣ и никогда порядкомъ не зналъ за что, такъ же какъ и философское правительство, которое его засадило; тогда преслѣдовали отголоски Гамбахскаго праздника, студенческихъ рѣчей, брудершафтскихъ тостовъ, буршентумскихъ идей и тугендбундскихъ воспоминаній. Вѣроятно и М.-С., что нибудь вспомнилъ: его и поса-

дили. Конечно, во всѣхъ Пруссіяхъ, съ Вестфаліей и Рейнскими провинціями, не было субъекта меньше опаснаго для правительства, какъ М.-С. — М.-С. родился зрителемъ, шаферомъ, публикой. Во время берлинской революціи 1848 г. онъ отнесся къ ней точно также; онъ бѣгалъ съ улицы на улицу, подвергаясь то пулѣ, то аресту, для того, чтобы посмотрѣть, что тамъ дѣлается и что тутъ.

Послѣ революціи, отеческое управленіе короля-богослова и философа стало тяжело, и М.-С., походивши еще съ полъ-года къ Стеели и Пассаланьи, началъ скучать. Звѣзда его стояла высоко: спасеніе было возлѣ. Полина Гарсія Віардо пригласила его къ себѣ въ Парижъ. Она была такъ покрыта нашими подсиѣжными вѣнками, такъ окружена сѣверной любовью нашей, что сама состояла на правахъ русской и имѣла, стало быть, въ свою очередь неотъемлемое право на чичеронство М.-С. въ Берлигѣ. Віардо звала его погостить у нихъ. Быть въ домѣ у умной, блестящей, образованной Віардо, значило разомъ перешагнуть пропасть, которая дѣлитъ всякаго туриста отъ Парижскаго и Лондонскаго общества; всякаго нѣмца безъ *особенныхъ примѣтъ* отъ французовъ. Быть у нея въ домѣ — значило быть въ кругу артистовъ и либераловъ Марастовскаго цвѣта, литераторовъ, Ж.-Сандъ и проч. Кто не позавидовалъ бы М.-С. и его дебютамъ въ Парижѣ.

На другой день послѣ своего пріѣзда онъ прибѣжалъ ко мнѣ совершенно запаленный отъ усталости и суеты и, не имѣя времени сказать двухъ словъ, выпилъ бутылку вина, разбилъ стаканъ, взялъ мою зрительную трубку и побѣжалъ въ театръ. Въ театрѣ онъ трубку потерялъ и, проведя цѣлую ночь по разнымъ полицейскимъ домамъ, явился ко мнѣ съ повинной головой. Я отпу-

стиль ему грѣхъ бинокля за удовольствіе, которое мнѣ онъ доставлялъ своимъ медовымъ мѣсяцемъ въ Парижѣ. Тутъ только онъ показалъ всю ширь своихъ способностей; онъ выросъ ненасытностью всего на свѣтѣ: картинъ, дворцовъ, звуковъ, видовъ, потрясеній, ѣды и питья. Проглотивъ три-четыре дюжины устрицъ, онъ принимался за три другихъ, потомъ за омара, потомъ за цѣлый обѣдъ; окончивъ бутылку шампанскаго, онъ наливалъ съ такимъ же наслажденіемъ стаканъ пива; сходя съ лѣстницы вандомской колонны, онъ шелъ на куполь Пантеона: и тамъ и тутъ удивлялся громкимъ и напвнымъ удивленіемъ нѣмца, этого провинціала по натурѣ. Между волкомъ и собакой забѣгалъ онъ ко мнѣ, выпивалъ галонъ пива, ѣлъ что попало и, когда волкъ бралъ верхъ надъ собакой, М.-С. въ райкѣ какого нибудь театра заливался громкимъ гутуральнымъ хохотомъ и потомъ, струившимся со всего лица его.

Не успѣлъ еще М.-С. досмотрѣть Парижъ и догадаться, что онъ становится невыносимо противенъ, какъ Ж.-Сандъ увезла его къ себѣ въ Nohant. Для элегантной Віардо М.-С. *à la longue* былъ слишкомъ грузенъ; съ нимъ случались въ ея гостиной разныя несчастія. Разъ какъ-то онъ съ неосторожной скоростью уничтожилъ цѣлую корзиночку какихъ-то особенныхъ чудесъ, приготовленныхъ къ чаю для десяти человѣкъ, такъ что, когда Віардо ихъ предложила, въ корзинѣ были одни крошки, и не въ одной корзинѣ, а и на усахъ М.-С. (\*).

Віардо передала его Ж.-Сандъ. Ж.-Сандъ, наскучивъ

(\*) Н. Т. говорилъ о М.-С., что, садясь за закуску, онъ съ охотностью искуснаго полководца осматривалъ позицію и, если находилъ слабое мѣсто, т. е. вино или мясо, поданное въ недостаточномъ количествѣ, онъ тотчасъ нападалъ на нихъ и бралъ двойную порцію.

Парижемъ, ѣхала на покойное помѣщичье житье. Ж.-Сандъ сдѣлала съ М.-С. чудеса. Она какъ-то вычистила, прибрала, привела его въ порядокъ; исчезъ темный табакъ, покрывавшій верхнюю часть его бѣлокурыхъ усовъ, и доля нѣмецкихъ кнейповыхъ пѣсенъ замѣнилась французскими въ родѣ: „Prisadier, rébontit Pantore“ ... Зачѣмъ онъ не утонулъ, купаясь въ Nohant; зачѣмъ не зашибла его гдѣ нибудь желѣзная дорога? жизнь его окончилась бы, не зная горя, веселой прогулкой по кунсткамерѣ съ буфетами, плошками и музыкой. М.-С. вставилъ двойную рамку лорнета въ глаза и помолодѣлъ; когда онъ пріѣхалъ въ Парижъ въ отпускъ, я его едва узналъ. Послѣ 13 Іюня 1849 г., я уѣхалъ изъ Парижа; геройство М.-С., кричавшаго Au armes! на Chaussée d'Antin, я рассказалъ въ другомъ мѣстѣ. Возвратившись въ 1850 г. въ Парижъ, я М.-С. не видѣлъ; онъ былъ у Ж.-Сандъ. Меня выслали изъ Франціи. Года черезъ два, я былъ въ Лондонѣ и шелъ по Трафальгарской площади. Какой-то господинъ пристально смотрѣлъ въ вставленный лорнетъ на Нельсона; досмотрѣвши его съ лѣвой стороны, онъ занялся правой. „Да это онъ! кажется онъ“.

Между тѣмъ господинъ занялся спиной адмирала. — М.-С.!—закричалъ я ему. Онъ не тотчасъ пришелъ въ себя: такъ его заняла плохая статуя сквернаго чловека; но потомъ, съ крикомъ Potz Tausend, бросился ко мнѣ. Онъ переѣхалъ на житье въ Лондонъ, счастливая звѣзда его померкла. Да и трудно сказать, зачѣмъ онъ пріѣхалъ именно въ Лондонъ. Буммлеру, когда у него есть деньги, нельзя не побывать въ Лондонѣ: въ немъ будетъ пробѣлъ, раскаяніе, неудовлетворенное желаніе; но жить въ Лондонѣ ему нельзя и съ деньгами; а безъ денегъ и думать нечего.

Въ Лондонѣ надобно работать въ *самомъ дѣль*, работать — безостановочно, какъ локомотивъ, — правильно, какъ машина. Если человѣкъ отошелъ на день, на его мѣстѣ стоятъ двое другихъ; если человѣкъ занемогъ, его считаютъ мертвымъ всѣ, отъ кого ему надобно получать работу, и здоровымъ всѣ, кому надобно получать отъ него деньги.

М.-С., М.-С.!..... куда ты попалъ изъ должности Виргилія въ Берлинѣ, изъ салоновъ Віардо, изъ помѣщичьей нѣги Ж.-Сандъ! Ноганскіе пресале и пулирден — прощай; прощай русскіе завтраки, продолжающіеся до вечера, и русскіе обѣды, оканчивающіеся на другой день; да прощай и русскіе: — въ Лондонѣ русскіе ѣздили на скорую руку, сконфуженные, потерянные; имъ было не до М.-С. Да встаетъ прощай и солнце, которое такъ хорошо грѣетъ и весело свѣтитъ, когда нѣтъ денегъ на внутреннее топливо... Туманъ, дымъ и вѣчная борьба работы, бой изъ-за работы! Года черезъ три М.-С. сталъ замѣтно старѣть; морщины прорѣзывались глубже и глубже, — онъ опускался. Уроки не шли (не смотря на то, что онъ на нѣмецкій ладъ былъ очень основательно ученъ). Зачѣмъ онъ не ѣхалъ въ Германію? но вообще у нѣмцевъ, даже у такихъ неистовыхъ патріотовъ, какъ М.-С., дѣлается, проживши нѣсколько лѣтъ внѣ Германіи, непреодолимое отвращеніе отъ родины, что-то въ родѣ обратнаго Heimweh. Въ Лондонѣ онъ не могъ свести концовъ. Длинная масляница, длившаяся около десяти лѣтъ, кончилась, и суровый постъ захватилъ добродушнаго бумлера; потерянный, вѣчно ищущій захватить денегъ, кругомъ въ маленькихъ долгахъ и становясь лицомъ изъ Дивенсова романа, М.-С. все еще доканчивалъ „Эриха“, — все еще мечталъ, что продастъ его и заслужить разомъ

талеры и лавры,—но „Эрихъ“ былъ упоренъ и не оканчивался, и М.-С., чтобъ освѣжиться, позволялъ себѣ, сверхъ пива, одну роскошь—pleasure-train въ воскресенье. Онъ платилъ очень дешево за большія пространства и ничего не видалъ.

„Я ѣду на Isle of Wight, взадъ и впередъ (помнится) 4 шил., и завтра утромъ рано буду опять въ Лондонѣ“. Что же ты увидишь тамъ? „Да, но за то четыре шиллинга!“ Бѣдный М.-С., бѣдный буммлеръ!

А впрочемъ, пусть онъ съѣздитъ въ Рейдъ, не видавши его; лишь бы также не видалъ будущаго: въ его гороскопѣ не осталось ни одной свѣтлой точки, ни одного шанса. Онъ, бѣдняга безотрадный, исчезнетъ въ лондонскомъ туманѣ.





## ПРИБАВЛЕНІЕ

# КЪ ГОРНЫМЪ ВЕРШИНАМЪ

---

### I

#### ЛЕДРЮ-РОЛЛЕНЪ И КОШУТЪ

... На другой день я отправился къ Ледрю-Роллену. Онъ меня принялъ очень привѣтливо. Колоссальная, импозантная фигура его, которой не надо разбирать en détail, общимъ впечатлѣніемъ располагала въ его пользу. Должно быть онъ былъ и bon enfant и bon vivant. Морщины на лбу и просѣды показывали, что заботы и ему не совсѣмъ даромъ прошли. Онъ потратилъ на революцію свою жизнь и свое состояніе; а общественное мнѣніе ему измѣнило. Его странная, непрямая роль въ Апрѣлѣ и Маѣ, слабая въ Іюньскіе дни, отдалила отъ него часть красныхъ, не сблизивъ съ синими. Имя его, служившее символомъ и произносимое иной разъ съ ошибкой (\*) мужиками, но все же произносимое, рѣже было слышно. Самая партія его въ Лондонѣ таяла

(\*) Мужички дальнихъ краевъ любили le duc Rollin'a и жалѣли только, что имъ руководствуетъ женщина, съ которой онъ связался — La Martine. Что она-то дюка сбиваетъ, а что онъ самъ bon pour le populaire.

больше и больше ; особенно, когда и Феликсъ Пья открылъ свою лавочку въ Лондонѣ.

Усѣвшись покойно на кушеткѣ, Ледрю-Ролленъ началъ меня „гарантировать“. „Революція—говорилъ онъ — только и можетъ лучиться (gaupner) изъ Франціи. Ясно, что къ какой бы странѣ вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать намъ для вашего собственного дѣла. Революція только можетъ выйти изъ Парижа. Я очень хорошо знаю, что нашъ другъ Маддини не того мнѣнія — онъ увлекается своимъ патриотизмомъ. Что можетъ сдѣлать Италія съ Австріей на шеѣ и съ наполеоновскими солдатами въ Римѣ? Намъ надобно Парижъ ; Парижъ — это Римъ, Варшава, Венгрія, Сицилія, и, по счастью, Парижъ совершенно готовъ — не ошибайтесь — совершенно готовъ! Революція сдѣлана — la révolution est faite : c'est clair comme bon jour. Я объ этомъ и не думаю ; я думаю о послѣдствіяхъ, о томъ, какъ избѣгнуть прежнихъ ошибокъ“. Такимъ образомъ онъ продолжалъ съ полъ-часа и вдругъ, спохватившись, что онъ и не одинъ, и не передъ аудиторіей, добродушнѣйшимъ образомъ сказалъ мнѣ : „Вы видите ; мы съ вами совершенно одинакаго мнѣнія“. Я не раскрывалъ рта. Ледрю-Ролленъ продолжалъ : „что касается до матеріальнаго факта революціи, — онъ задержанъ нашимъ безденежемъ. Средства наши истощились въ этой борьбѣ, которая идетъ годы и годы. Будь теперь сейчасъ въ моемъ распоряженіи *сто тысячъ* франковъ, — да — мизерабельныхъ *сто тысячъ* франковъ! и послѣ завтра, черезъ три дня, революція въ Парижѣ“. — Да какъ же это, — замѣтилъ я наконецъ — такая богатая нація, совершенно готовая на возстаніе, не находитъ ста тысячъ — полумилліона франковъ?

Ледрю-Ролленъ немного покраснѣлъ, но не запинаясь

отвѣчалъ : « Pardon, pardon. Вы говорите о *теоретическихъ предположеніяхъ* въ то время, какъ я вамъ говорю о фактахъ, о простыхъ фактахъ ».

Этого я не понялъ.

Когда я уходилъ, Ледрю-Ролленъ по англійскому обычаю проводилъ меня до лѣстницы и еще разъ, подавая мнѣ свою огромную богатырскую руку, сказалъ : „Надѣюсь это не въ послѣдній разъ, я буду всегда радъ; и такъ — au revoir ».

— Въ Парижѣ — отвѣтилъ я.

— Какъ въ Парижѣ?

— Вы такъ убѣдили меня, что революція за плечами, что я право не знаю, успѣю ли я побывать у васъ здѣсь.

Онъ смотрѣлъ на меня съ недоумѣніемъ, и потому я поторопился прибавить : „По крайней мѣрѣ я этого искренно желаю, въ этомъ, думаю, вы не сомнѣваетесь“.

— „Иначе вы не были бы здѣсь“ — замѣтилъ хозяинъ, и мы разстались.

Кошута въ первый разъ я видѣлъ собственно во второй разъ. Это случилось такъ : когда я пріѣхалъ къ нему, меня встрѣтилъ въ парлорѣ военный господинъ, въ полу-венгерскомъ военномъ костюмѣ, съ извѣщеніемъ, что г. *Губернаторъ* не принимаетъ.

— Вотъ письмо отъ Маццини.

— Я сейчасъ передамъ.— Сдѣлайте одолженіе.— Онъ указалъ мнѣ на трубку и потомъ на стулъ. Черезъ двѣтри минуты возвратился.— *Г. Губернаторъ* чрезвычайно жалѣеть, что не можетъ васъ видѣть. Сейчасъ онъ оканчиваетъ *американскую почту*; впрочемъ, если вамъ угодно подождать, то онъ будетъ очень радъ васъ принять“.

— А скоро онъ кончитъ почту?

— Къ пяти часамъ непремѣнно.

Я взянулъ на часы ; половина второго. — Ну трехъ часовъ съ половиной я ждать не стану.

— Да вы не придете ли послѣ ?

— Я живу не меньше трехъ миль отъ Нотингъ-Гила. Впрочемъ — прибавилъ я — у меня никакого спѣшнаго дѣла къ г. Губернатору нѣтъ!

— Но г. Губернаторъ будетъ очень жалѣть.

— Такъ вотъ мой адресъ.

Прошло съ недѣлю, вечеромъ является длинный господинъ, съ длинными усами — венгерскій полковникъ, съ которымъ я лѣтомъ встрѣтился въ Лугано. — „Я къ вамъ отъ г. Губернатора : онъ очень беспокоится, что вы у него не были“.

— Ахъ, какая досада. Я вѣдь, впрочемъ, оставилъ адресъ. Еслибъ я зналъ время, то непременно поѣхалъ бы къ Кошуту сегодня — или... прибавилъ я вопросительно, какъ надобно говорить, къ г. Губернатору? — *« Zu dem Olten, zu dem Olten, — замѣтилъ улыбаясь гонведъ — мы его между собой все называемъ der Olte. — Вотъ увидите человѣка ! такой головы въ мірѣ нѣтъ, не было и „... полковникъ внутренно и тихо помолился Кошуту.*

— Хорошо, я завтра, въ два часа приѣду.

— Это невозможно. Завтра среда, завтра утромъ старикъ принимаетъ однихъ нашихъ, однихъ венгерцевъ.

Я не выдержалъ, засмѣялся и полковникъ засмѣялся. Когда же вашъ старикъ пьетъ чай?

— Въ восемь часовъ вечера.

— Скажите ему, что я приѣду завтра въ восемь часовъ ; но если нельзя, вы мнѣ напишите.

— Онъ будетъ очень радъ. Я васъ жду въ приемной.

На этотъ разъ, какъ только я позвонилъ, длинный

полковникъ меня встрѣтилъ, а короткій полковникъ тотчасъ повелъ въ кабинетъ Кошута (\*).

Я засталъ Кошута, работающаго за большимъ столомъ; онъ былъ въ черной бархатной венгеркѣ и въ черной шапочкѣ; Кошутъ гораздо лучше всѣхъ своихъ портретовъ и бюстовъ; въ первую молодость онъ былъ вѣроятно красавцемъ и долженъ былъ имѣть страшное вліяніе на женщинъ особеннымъ романтически-задумчивымъ характеромъ лица. Черты его не имѣютъ античной строгости, какъ у Маццини, Саффи, Орсини; но (и, можетъ, именно по этому) онъ былъ роднѣ намъ, жителямъ сѣвера; въ печально кроткомъ взглядѣ его сквозилъ не только сильный умъ, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и нѣсколько восторженная рѣчь окончательно располагали въ его пользу. Говорить онъ чрезвычайно хорошо, хотя и съ рѣзкимъ акцентомъ, равно остающимся въ его французскомъ языкѣ, нѣмецкомъ и англійскомъ. Онъ не отдѣливается фразами, не опирается на битыя мѣста; онъ думаетъ съ вами, выслушиваетъ и развиваетъ свою мысль почти всегда оригинально, потому, что онъ свободнѣе другихъ отъ доктрины и отъ духа партіи. Можетъ въ его манерѣ доводовъ и возраженій видѣтъ адвокатъ, но то, что онъ говоритъ—серьезно и обдуманно.

Кошутъ много занимался до 1848 года практическими дѣлами своего края; это дало ему своего рода вѣрность взгляда. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ мірѣ событій и приложеній не всегда можно прямо летать, какъ воронъ, что факты развиваются рѣдко по простой логической линіи, а идутъ лавируя, заплетаясь

(\*) Слѣдующее до конца этой главы перепечатано изъ „Полярной Звѣзды“, кн. V. (Прим. Издателей.)

эпициклами, срываясь по касательнымъ. И вотъ, между прочимъ, причина, почему Кошутъ уступаетъ Маццини въ огненной дѣятельности и почему съ другой стороны Маццини дѣлаетъ непрерывные опыты, натягиваетъ попытки, а Кошутъ ихъ не дѣлаетъ вовсе.

Маццини глядитъ на итальянскую революцію какъ фанатикъ; онъ вѣруетъ въ свою мысль объ ней; онъ ее не подвергаетъ критикѣ и стремится ога e sempre, какъ стрѣла, пущенная изъ лука. Чѣмъ меньше обстоятельствъ онъ беретъ въ расчетъ, тѣмъ прочнѣе и проще его дѣйствіе, тѣмъ чище его идея.

Революціонный идеализмъ Ледрю-Роллена тоже не сложенъ, его можно весь прочесть въ рѣчахъ конвента и въ мѣрахъ комитета общественнаго спасенія. Кошутъ принесъ съ собою изъ Венгріи не общее достояніе революціонной традиціи, не апокалептическихъ формулы соціального доктринаризма, а протестъ своего края, который онъ глубоко изучилъ, края новаго, неизвѣстнаго ни въ отношеніи къ его потребностямъ, ни въ отношеніи къ его дико-свободнымъ учрежденіямъ, ни въ отношеніи къ его средневѣковымъ формамъ. Въ сравненіи съ своими товарищами, Кошутъ былъ специалистъ.

Французскіе рефюжѣ, съ своей несчастной привычкой рубить съ плеча и все мѣрять на свою мѣрку, сильно упрекали Кошута за то, что онъ въ Марсели выразилъ свое сочувствіе къ соціальнымъ идеямъ, а въ рѣчи, которую произнесъ въ Лондонѣ съ балкона Mansion House, съ глубокимъ уваженіемъ говорилъ о парламентаризмѣ.

Кошутъ былъ совершенно правъ. Это было во время его путешествія изъ Константинополя, т. е. во время самаго торжественно-эпического эпизода темныхъ лѣтъ, шедшихъ за 1848 годомъ. Сѣверо-американскій корабль, вырвавшій его изъ занесенныхъ вѣгтей Австріи и Рос-

сін, съ гордостью плыль съ изгнанникомъ въ республику и остановился у береговъ другой. Въ этой республикѣ ждалъ уже приказъ полицейскаго диктатора Франціи, чтобъ изгнанникъ не смѣлъ ступить на землю будущей имперіи. Теперь это прошло бы такъ; но тогда еще не всѣ были окончательно надломлены, толпы работниковъ бросились на лодкахъ къ кораблю привѣтствовать Кошута, и Кошутъ говорилъ съ ними очень натурально о социализмѣ. Картина мѣняется. По дорогѣ одна свободная страна выпросила у другой изгнанника къ себѣ въ гости. Кошутъ, всенародно благодаря англичанъ за пріемъ, не скрылъ своего уваженія къ государственному быту, который его сдѣлалъ возможнымъ. Онъ былъ въ обоихъ случаяхъ совершенно искрененъ; онъ не представлялъ вовсе такой-то партіи; онъ могъ, сочувствуя съ французскимъ работникомъ, сочувствовать съ англійской конституціей, не сдѣлавшись Орлеанистомъ и не предавъ Республики. Кошутъ это зналъ и отрицательно превосходно понималъ свое положеніе въ Англіи относительно революціонныхъ партій; онъ не сдѣлался ни Глюкистомъ, ни Пиччинистомъ; онъ держалъ себя равно въ далека отъ Ледрю-Роллена и отъ Лун-Блана. Съ Маццини и Ворцелемъ у него былъ общій terrain, смежность границъ, одинавая борьба и почти одна и таже борьба; съ ними онъ и сошелся съ первыми.

Но Маццини и Ворцель давнымъ давно были по испанскому выраженію *afrancisados*. Кошутъ, упираясь, туго поддавался имъ, и очень замѣчательно, что онъ уступалъ по той мѣрѣ, по которой надежды на возстаніе въ Венгріи становились блѣднѣе и блѣднѣе.

Изъ моего разговора съ Маццини и Ледрю-Ролленомъ видно, что Маццини ждалъ революціоннаго толчка изъ Италіи и вообще былъ очень недоволенъ Франціей; но

изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ я былъ неправъ, назвавъ и его afrancisado. Тутъ, съ одной стороны, въ немъ говорилъ патріотизмъ, не совсѣмъ согласный съ идеей братства народовъ и всеобщей республики; съ другой — личное негодованіе на Францію за то, что въ 1848 она ничего не сдѣлала для Италіи, а въ 1849 все, чтобъ погубить ее. Но быть раздраженнымъ противъ современной Франціи не значитъ быть *enъ ея духа*; французскій революціонаризмъ имѣетъ свой общій мундиръ, свой ритуаль, свой символъ вѣры; въ ихъ предѣлахъ можно быть специально политическимъ либераломъ, или отчаяннымъ демократомъ; можно, не любя Франціи, любить свою родину на французскій манеръ; все это будутъ варьяціи, частные случаи, но алгебраическое уравненіе останется тоже.

Разговоръ Кошута со мной тотчасъ принялъ серьезный оборотъ: въ его взглядѣ и въ его словахъ было больше грустнаго, нежели свѣтлаго; навѣрное, онъ не ждалъ революціи завтра. Свѣденія его объ юго-востокѣ Европы были огромны: онъ удивлялъ меня, цитируя пункты екатерининскихъ трактатовъ съ Портой. „Какой страшный вредъ вы сдѣлали намъ во время нашего возстанія“, сказалъ онъ, „и какой страшный вредъ вы сдѣлали самимъ себѣ. Какая узкая и *противуславянская* политика поддерживать Австрію. Разумѣется, Австрія и спасибо не скажетъ за спасеніе, развѣ вы думаете, что она не понимаетъ, что Николай не ей помогалъ, а вообще деспотической власти“.

Соціальное состояніе Россіи ему было гораздо меньше извѣстно, чѣмъ политическое и военное. Оно и не удивительно: многіе ли изъ нашихъ государственныхъ людей знаютъ что нибудь о немъ, кромѣ общихъ мѣстъ и частныхъ, случайныхъ, ни съ чѣмъ несвязанныхъ



замѣчаній. Онъ думалъ, что казенные крестьяне отправляютъ барщиной свою подать, разспрашивалъ о сельской общинѣ, о помѣщичьей власти; я рассказалъ ему, что зналъ.

Оставивъ Кошута, я спрашивалъ себя, да что же общаго у него, кромѣ любви къ независимости своего народа, съ его товарищами. Маццини мечталъ Италіей освободить человѣчество, Ледрю-Ролленъ хотѣлъ его освободить въ Парижѣ и потомъ строжайше предписать свободу всему міру. Кошутъ врядъ ли заботился обо всемъ человѣчествѣ и былъ, казалось, довольно равнодушенъ къ тому, скоро ли провозгласятъ республику въ Лиссабонѣ или Дей Триполи будетъ называться простымъ гражданиномъ одного и нераздѣльнаго Триполійскаго Братства.

Различіе это, бросившееся мнѣ въ глаза съ перваго взгляда, обличилось потомъ рядомъ дѣйствій. Маццини и Ледрю-Ролленъ, какъ люди независимые отъ практическихъ условий, каждые два-три мѣсяца усиливались дѣлать революціонные опыты: Маццини возстаніями, Ледрю-Ролленъ посылкою агентовъ. Мацциньевскіе друзья гибли въ австрійскихъ и папскихъ тюрьмахъ, Ледрю-Ролленовскіе посланцы гибли въ Ламбессѣ или Кайеннѣ, но они съ фанатизмомъ слѣпо вѣрующихъ продолжали отправлять своихъ Исааковъ на закланіе. Кошутъ не дѣлалъ опытовъ; Лебени, ткнувшій ножомъ австрійскаго императора, не имѣлъ никакихъ сношеній съ нимъ.

Безъ сомнѣнія, Кошутъ пріѣхалъ въ Лондонъ съ болѣе сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было отчего закружиться головѣ. Вспомните опять эту постоянную овацію, это царственное шествіе черезъ моря и океаны; города Америки спо-

рпли о чести, кому первому пдти ему на встрѣчу и вести въ свои стѣны. Двухмилліонный, гордый Лондонъ ждалъ его на ногахъ у желѣзной дороги, карета Лордъ-Мера стояла, приготовленная для него; алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его моремъ волнующагося народа, привѣтствовавшаго его криками и бросаньемъ шляпъ вверхъ. И когда онъ вышелъ съ лордомъ-меромъ на балконъ Mansion House'a, его привѣтствовало то громогласное „ура!“ котораго Николаѣ не могъ въ Лондонѣ добиться ни протекціей Веллингтона, ни статуей Нельсона, ни куртизанствомъ какимъ-то лошадямъ на скачкахъ.

Надменная англійская аристократія, уѣзжавшая въ свои помѣстья, когда Бонапартъ пировалъ съ королевой въ Виндзорѣ и бражничалъ съ мѣщанами въ Сити, толпилась, забывъ свое достоинство, въ коляскахъ и каретахъ, чтобъ увидѣть знаменитаго агитатора; высшіе чины представлялись ему — изгнаннику. *Теймсъ* нахмурилъ было брови, но до того испугался передъ кривомъ общественнаго мнѣнія, что сталъ ругать Наполеона, чтобъ загладить ошибку.

Мудрено ли, что Кошутъ воротился изъ Америки полный упованій. Но, проживши въ Лондонѣ годъ, другой, и видя, куда и какъ идетъ исторія на материкѣ и какъ въ самой Англіи остывалъ энтузіазмъ, Кошутъ понялъ, что возстаніе невозможно и что Англія плохая союзница революціи.

Разъ, еще одинъ разъ, онъ исполнился надеждами и снова сталъ адвокатомъ за прежнее дѣло передъ народомъ англійскимъ: это было въ началѣ крымской войны.

Онъ оставилъ свое уединеніе и явился рука объ руку съ Ворцелемъ, т. е. съ демократической Польшей, которая

просила у союзниковъ одного *воззванія*, одного согласія, чтобъ рискнуть возстаніе. Безъ сомнѣнія, это было для Польши великое мгновеніе—*oggi o mai*. Еслибъ возстановленіе Польши было признано, чего же было бы ждать Венгріи? Вотъ почему Кошутъ является на польскомъ митингѣ 29 ноября 1854 года и требуетъ слова. Вотъ почему онъ вслѣдъ за тѣмъ отправляется съ Ворцелемъ въ главнѣйшіе города Англіи, проповѣдуя агитацію въ пользу Польши. Рѣчи Кошута, произнесенныя тогда, чрезвычайно замѣчательны и по содержанію и по формѣ. Но Англіи на этотъ разъ онъ не увлекъ; народъ толпами собирался на митинги, рукоплескалъ великому дару слова, готовъ былъ дѣлать складчины; но вдалѣ движеніе не шло, но рѣчи не вызывали того отзвука въ другихъ кругахъ, въ массахъ, который бы могъ имѣть вліяніе на парламентъ или заставить правительство измѣнить свой путь. Прошелъ 1854 годъ; насталъ 1855, умеръ Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегомъ Крыма; о возстановленіи польской національности нечего было и думать; Австрія стояла костью въ горлѣ союзниковъ; всѣ хотѣли къ тому же мира, главное было достигнуто — *статскій* Наполеонъ покрывся военной славой.

Кошутъ снова сошелъ со сцены. Его статьи въ „Атласѣ“ и лекціи о конкордатѣ, которыя онъ читалъ въ Единбургѣ, Манчестерѣ, скорѣе должно считать частнымъ дѣломъ. Кошутъ не спасъ ни своего достоинства, ни достоинства своей жены. Привыкнувши къ широкой роскоши венгерскихъ магнатовъ, ему на чужбинѣ пришлось выработывать себѣ средства; онъ это дѣлаетъ, нисколько не скрывая.

Во всей семьѣ его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тутъ прошли великія событія, и что

они подняли діапазонъ всѣхъ. Кошутъ еще до сихъ поръ окруженъ нѣсколькими вѣрными сподвижниками; сперва они составляли его дворъ, теперь они просто его друзья.

Не легко прошли ему событія; онъ сильно состарѣлся въ послѣднее время, и тяжело становится на сердцѣ отъ его покоя.

Первые два года мы рѣдко видались; потомъ случай насъ свелъ на одной изъ изящнѣйшихъ точекъ не только Англіи, но и Европы, на Isle of Wight. Мы жили въ одно время съ нимъ мѣсяцъ времени въ Вентнорѣ, это было въ 1855 г.

Передъ его отъѣздомъ мы были на дѣтскомъ праздникѣ. Оба сына Кошута, прекрасные, милые отроки, танцовали вмѣстѣ съ моими дѣтьми... Кошутъ стоялъ у дверей и какъ-то печально смотрѣлъ на нихъ, потомъ, указывая съ улыбкой на моего сына, сказалъ мнѣ: „Вотъ уже и юное поколѣніе совсѣмъ готово намъ на смѣну“.

— Увидятъ ли они?

— Я именно объ этомъ и думалъ. А пока пусть попляшутъ—прибавилъ онъ и еще грустнѣе сталъ смотреть.

Кажется, что и на этотъ разъ мы думали одно и тоже:

А увидятъ ли отцы? И что увидятъ? Та революціонная эра, къ которой стремились мы, освѣщенные договоромъ заревомъ девяностыхъ годовъ, къ которой стремилась либеральная Франція, юная Италія, Маццини, Ледрю-Ролленъ, не принадлежитъ ли уже прошедшему; эти люди не дѣлаются ли печальными представителями былого, около которыхъ закипаютъ иные вопросы, другая жизнь? Ихъ религія, ихъ языкъ, ихъ

движеніе, ихъ цѣль, все это и родственно намъ и съ тѣмъ вмѣстѣ чужое..... звуки церковнаго колокола тихимъ утромъ праздничнаго дня, литургическое пѣніе и теперь потрясаютъ душу, но вѣры все же въ ней нѣтъ!

Есть печальныя истины — трудно, тяжело прямо смотрѣть на многое, трудно и высказывать иногда, что видишь. Да врядъ и нужно ли? Вѣдь это тоже своего рода страсть или болѣзнь. „Истина, голая истина, одна истина!“ Все это такъ; да сообразно ли вѣденіе ее съ нашей жизнію? не разѣдаетъ ли она ее, какъ слишкомъ крѣпкая кислота разѣдаетъ стѣнки сосуда? Не есть ли страсть къ ней — страшный недугъ, горько казнящій того, кто воспитываетъ его въ груди своей?

Разъ, годъ тому назадъ, въ день памятный для меня — мысль эта особенно поразила меня.

Въ день кончины Ворцеля я ждалъ скульптора въ бѣдной комнатѣ, гдѣ домучился этотъ страдалецъ. Старая служанка стояла съ оплывшимъ, желтымъ огаркомъ въ рукѣ, освѣщая исхудалый группъ, прикрытый одной простыней. Онъ, несчастный какъ Іовъ, заснулъ съ улыбкой на губахъ, вѣра замерла въ его потухающихъ глазахъ, закрытыхъ такимъ же фанатикомъ какъ онъ — Маццини.

Я этого старика грустно любилъ, и ни разу не сказалъ ему *всей правды*, бывшей у меня на умѣ. Я не хотѣлъ тревожить потухающій духъ его, онъ и безъ того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то онъ былъ такъ радъ, когда Маццини его умирающему уху шепталъ обѣты и слова вѣры!

---

## II

ФЕЛИКСЪ ПЬЯ, В. ГЮГО И ПР., ЛУИ-БЛАНЪ

и

### ФРАНЦУЗСКІЕ ЭМИГРАНТЫ

---

Французская эмиграція, какъ и всѣ другія, увезла съ собою въ изгнаніе и ревниво сохранила всѣ раздоры, всѣ партіи. Сумрачная среда чужой и непріязненной страны, не скрывавшей, что она хранитъ свое *право убѣжища* не для ищущихъ его, а изъ уваженія къ себѣ, раздражала нервы.

А тутъ оторванность отъ людей и привычекъ, невозможность передвиженія. Столкновенія стали злѣе, упреки въ прошедшихъ ошибкахъ — безпощаднѣе. Оттѣнки партій расходились до того, что старые знакомые прерывали всѣ сношенія, не кланялись...

Были дѣйствительные, теоретическіе и всяческіе раздоры ; но рядомъ съ идеями стояли лица ; рядомъ со знаменами — собственныя имена, рядомъ съ фанатизмомъ — зависть, и съ откровеннымъ увлеченіемъ — наивное самолюбіе.

Года черезъ полтора послѣ *сoup d'État*, пріѣхалъ въ Лондонъ Феликсъ Пья изъ Швейцаріи. Бойкій фельетонистъ, онъ былъ извѣстенъ процессомъ, который имѣлъ,

скучной комедіей *Дюенъ*, понравившейся французамъ своими сухими и тощими сентенціями, наконецъ успѣхомъ „Вѣтошника“ на сценѣ Porte Saint-Martin. Объ этой пьесѣ я когда-то писалъ цѣлую статью (\*). Феликсъ Пья былъ членомъ послѣдняго законодательнаго собранія, сидѣлъ на горѣ, *подрался* какъ-то въ палатѣ съ Пруденомъ, замѣшался въ протестъ 13 Іюня 1849 г. и, вслѣдствіе этого, долженъ былъ оставить Францію тайкомъ. Уѣхалъ онъ, какъ и я, съ молдавскимъ видомъ, и ходилъ въ Женевѣ въ костюмъ какого-то Мавра, вѣроятно для того, чтобъ его всѣ узнали. Въ Лозаннѣ, куда онъ переѣхалъ, составилъ у Ф. Пья небольшой кругъ почитателей изъ французскихъ изгнанниковъ, жившихъ манною его острыхъ словъ и крупницами его мыслей. Горько ему было изъ кантональных вождей перейти въ какую нибудь изъ лондонскихъ партій. Для лишняго кандидата на великаго человѣка не было партій; пріатели и поклонники его выручили изъ бѣды: они выдѣлились изъ всѣхъ прочихъ партій и назвались *лондонской революціонной коммуной*.

La Commune révolutionnaire должна была представлять самую красную сторону демократіи и самую коммунистическую социализма. Она считала себя вѣчно на чеку, въ самыхъ тѣсныхъ связяхъ съ „Марьяной“ и съ тѣмъ вмѣстѣ вѣрнѣйшей представительницей Бланки in partibus infidelium.

Мрачный Бланки, суровый педантъ и доктринеръ сво-

(\*) Письма изъ Avenue Marigny. „Зачѣмъ вы испортили вашего Chiffonier, навязавъ ему въ концѣ счастливую развязку, портящую и нравственность пьесы и ея артистическое единство?“ спросилъ я разъ Пья.

— Зачѣмъ, — отвѣчалъ онъ — что еслибъ я огорчилъ Парижанъ мрачной судьбой старика и дѣвушки, на другое представленіе никто бы не пошелъ.

его дѣла, аскетъ, искудавшій въ тюрьмахъ, расправилъ въ образѣ Ф. Пя свои морщины, подкрасилъ въ алый цвѣтъ свои черныя мысли, и сталъ морить со смѣху Парижскую Коммуну въ Лондонѣ. Выходки Ф. Пя въ его письмахъ къ королевѣ, къ Валуевскому, котораго онъ называлъ *ex-réfugié* и *ex-Polonais*, не принцемъ и пр., были очень забавны; но въ чемъ сходство съ Бланки, я никакъ не могъ добратся; да и вообще, въ чемъ состояла отличительная черта, дѣлившая его отъ Луи-Блана напр., простымъ глазомъ видѣть было трудно.

Тоже должно сказать о Жерсейской партіи Виктора Гюго.

Викторъ Гюго никогда не былъ въ настоящемъ смыслѣ слова политическимъ дѣятелемъ. Онъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ подъ вліяніемъ своей фантазіи, чтобы быть имъ. И конечно, я это говорю не въ порицаніе ему. Соціалистъ-художникъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ поклонникомъ военной славы, республиканскаго разгрома, средневѣковаго романтизма и бѣлыхъ лилій,—Виконтъ и Гражданинъ, Перъ орлеанской Франціи и агитаторъ 2 Декабря: это пышная, великая личность; но не глава партіи, не смотря на рѣшительное вліяніе, которое онъ имѣлъ на два поколѣнія. Кого не заставилъ задуматься надъ вопросомъ о смертной казни „Послѣдній день осужденнаго?“ въ комъ не возбуждали чего-то въ родѣ угрызений совѣсти его рѣзкія, страшно и странно освѣщенные, на манеръ Турнера, картины общественныхъ язвъ бѣдности и роковаго порока?

Февральская революція застала Гюго въ расплохъ; онъ не понималъ ее, удивился, отсталъ, надѣлалъ бездну ошибокъ, пока реакція въ свою очередь не опередила его. Приведенный въ негодованіе цензурой театральныхъ пьесъ и римскими дѣлами, онъ явился на трибунѣ



собрания съ рѣчами, раздававшимися по всей Франціи. Успѣхъ и рукоплесканія увлекали его дальше и дальше. Наконецъ, 2 Декабря 1851, онъ сталъ во весь ростъ: онъ, въ виду штыковъ и заряженныхъ ружей, звалъ народъ къ возстанію; подъ пулями протестовалъ противъ *сюр д'ѣта* и удалился изъ Франціи, когда нечего было въ ней дѣлать. Раздраженнымъ львомъ отступилъ онъ въ Жерсей; оттуда, едва переводя духъ, онъ бросилъ въ императора своего «*Napoléon le petit*»; потомъ свои «*Châtiments*». Какъ ни старались бонапартскіе агенты примирить стараго поэта съ новымъ дворомъ—не могли. „Если останутся хоть десять французовъ въ изгнаніи, и я останусь съ ними; если три, я буду въ ихъ числѣ; если останется одинъ, то этотъ изгнанникъ буду я. Я не возвращусь иначе, какъ въ свободную Францію“.

Отъѣздъ Гюго изъ Жерсея въ Гернсей, кажется, убѣдилъ еще больше его друзей и его самого въ его политическомъ значеніи: въ то время какъ отъѣздъ этотъ могъ только убѣдить въ противномъ. Дѣло было такъ. Когда Ф. Пья написалъ свое письмо къ королевѣ Викторіи, послѣ посѣщенія ею Наполеона, онъ прочиталъ его на митингѣ и отослалъ его въ редакцію *L'Homme*. Свентославскій, печатавшій *L'Homme* на свой счетъ въ Жерсеѣ, былъ тогда въ Лондонѣ и вмѣстѣ съ Ф. Пья пріѣзжалъ ко мнѣ; уходя, онъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ, что ему знакомый его *lawyer* сообщилъ, что за это письмо легко можно преслѣдовать журналъ въ Жерсеѣ, состоящемъ на положеніи колоній; а Ф. Пья непременно хочетъ въ *L'Homme*. Свентославскій сомнѣвался и хотѣлъ знать мое мнѣніе.

— Не печатайте.

— Да, я и самъ думаю такъ, только вотъ что северно; онъ подумаетъ, что я испугался.

Какъ же не бояться при теперешнихъ обстоятельствахъ потерять нѣсколько тысячъ франковъ.

— Вы правы. Этого я не могу, не долженъ дѣлать.

Свентославскій, такъ премудро рассуждавшій, уѣхалъ въ Жерсей и письмо напечаталъ.

Слухи носились, что министерство хотѣло что-то сдѣлать. Англичане были обижены за тонъ, съ которымъ Ф. Пья обращался къ Квинѣ. Первымъ результатомъ этихъ слуховъ было то, что Ф. Пья пересталъ ночевать у себя дома : онъ боялся въ Англии *visite domiciliaire* и ночнаго ареста за напечатанную статью! Преслѣдовать судомъ правительство и не думало ; министры подмигнули Жерсейскому губернатору, или какъ тамъ онъ у нихъ называется, и тотъ, пользуясь незаконными правами, которыя существуютъ въ Колоніяхъ, велѣлъ Свентославскому выѣхать съ острова. Свентославскій протестовалъ, и съ нимъ человѣкъ десять французовъ ; въ томъ числѣ В. Гюго. Тогда полицейскій Наполеонъ Жерсея велѣлъ выѣхать всѣмъ протестовавшимъ. Имъ слѣдовало не слушаться до нельзя ; пусть бы полиція схватила кого нибудь за шиворотъ и выбросила съ острова ; тогда можно было бы поставить передъ судомъ вопросъ о высылкѣ. Это и предлагали французамъ англичане. Процессы въ Англии безобразно дороги ; но издатели *Daily News* и другихъ либеральныхъ листовъ обѣщали собрать какую надобно сумму, найти способныхъ защитниковъ. Французамъ путь легальности показался скученъ и долго, противенъ : и они съ гордостью оставили Жерсей, увлекая за собой Свентославскаго и С. Телеки.

Объявленіе полицейскаго приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейскій чиновникъ вошелъ къ нему, чтобъ прочесть приказъ, Гюго позвалъ своихъ

сыновей; сѣлъ, указавъ на стулъ чиновнику и, когда всѣ ушли, — какъ въ Россіи передъ отъѣздомъ, — онъ всталъ и сказалъ: „Г. Коммиссаръ, мы дѣлаемъ теперь страницу исторіи. (Nous faisons maintenant une page de l'histoire). — Читайте вашу бумагу“. Полицейскій, ожидавшій, что его выбросятъ за двери, былъ удивленъ легкостью побѣды; обязавъ Гюго подпиской, что онъ уѣдетъ, и ушелъ, отдавая справедливость учтивости французовъ, давшихъ даже ему стулъ. Гюго уѣхалъ, и другіе съ нимъ вмѣстѣ оставили Жерсей. Большая часть поѣхали не дальше Гернсея; другіе отправились въ Лондонъ; дѣло было проиграно и право высылать осталось непочатымъ. Серьезныхъ партій было только двѣ, т. е. партія формальной республики и насильственного социализма: Ледрю-Ролленъ и Луи-Бланъ. О послѣднемъ я еще не говорилъ, а зналъ я его почти больше чѣмъ всѣхъ французскихъ изгнанниковъ.

Нельзя сказать, чтобъ воззрѣніе Луи-Блана было неопредѣленно: — оно во всѣ стороны обрѣзано какъ ножомъ. Луи-Бланъ въ изгнаніи приобрѣлъ много фактическихъ свѣдѣній (по своей части, т. е. по части изученія первой французской революціи), — нѣсколько устоялся и успокоился; но въ сущности своего воззрѣнія не подвинулся ни на одинъ шагъ съ того времени, какъ писалъ „Исторію десяти лѣтъ“ и „Организацію труда“. Осѣвшее и устоявшееся было тоже самое, что бродило съ молоду.

Въ маленькомъ тѣлцѣ Луи-Блана живетъ бодрый и круто сложившійся духъ, très-éveillé, съ сильнымъ характеромъ, со своей опредѣленно вываинной особенностью, и притомъ совершенно французскій. Быстрые глаза, скорыя движенія, придаютъ ему какой-то вмѣстѣ подвижной и точный видъ, нелишенный граціи. Онъ по-

хожъ на сосредоточеннаго чловѣка, сведеннаго на наименьшую величину; въ то время какъ колоссальность его противника, Ледрю-Роллена, похожа на разбухнувшаго ребенка, на карлика въ огромныхъ размѣрахъ, или подъ увеличительнымъ стекломъ. Они оба могли бы чудесно играть въ Гуливеровомъ путешествіи. Луи-Бланъ, —и эта большая сила и очень рѣдкое свойство, мастерски владѣетъ собой; въ немъ много выдержки, и онъ въ самомъ пылу разговора, не только публично, но и въ пріятельской бесѣдѣ, никогда не забываетъ самыхъ сложныхъ отношеній, никогда не выходитъ изъ себя въ спорѣ, не перестаетъ весело улыбаться, —и никогда не соглашается съ противникомъ. Онъ мастеръ рассказывать и, не смотря на то, что много говоритъ, —какъ французъ, никогда не скажетъ лишняго слова — какъ Корсиканецъ.

Онъ занимается только Франціей, знаетъ только Францію и ничего не знаетъ „развѣ ее“. Событія міра, открытія науки, землетрясенія и наводненія занимаютъ его по той мѣрѣ, по которой они касаются Франціи. Говоря съ нимъ, слушаая его тонкія замѣчанія, его замѣчательные рассказы, легко изучать характеръ французскаго ума и тѣмъ легче, что мягкія, образованныя формы его не имѣютъ въ себѣ ничего вызывающаго раздражительную волкость (\*).

(\*) Все это, за исключеніемъ нѣкоторыхъ добавокъ и поправокъ писано лѣтъ десять тому назадъ. Я долженъ признаться, что послѣднія событія заставили меня отчасти измѣнить мое мнѣніе о Луи-Бланѣ. Онъ дѣйствительно сдѣлалъ шагъ впередъ — и, какъ слѣдовало ожидать, отъ якобинскихъ старообрядцевъ. Онъ ему не прошелъ даромъ. „Что дѣлать — говорилъ мнѣ Луи-Бланъ, еще въ разгарѣ Мексиканской войны: — Честь нашего знамени компрометирована“. Мнѣніе чисто французское и совершенно противочеловѣческое. Видно оно сильно мучило Луи-Блана. Черезъ годъ, за обѣ-

Я иногда шутя останавливалъ его на общихъ мѣстахъ, которыя онъ, вѣроятно, повторялъ годы, не думая, чтобъ можно было возражать на такія почтенныя истины, и самъ не возражая: „Жизнь человѣка великій социальный долгъ; человѣкъ *долженъ* постоянно приносить себя на жертву обществу“.

— Зачѣмъ? спросилъ я вдругъ.

— Какъ зачѣмъ? Помилуйте: вся цѣль, все назначеніе лица — благосостояніе общества.

— Оно никогда не достигнется, если всѣ будутъ жертвовать и никто не будетъ наслаждаться.

— Это игра словъ.

домъ, который давали въ Брюсселѣ В. Гюго послѣ изданія „*Les Misérables*“, Луи-Бланъ въ своей рѣчи сказалъ: „Горе народу, когда его понятіе о чести вообще — не совпадаетъ съ понятіемъ военной чести“. Тутъ былъ цѣлый переворотъ. Онъ-то и обличился при началѣ послѣдней войны. Энергическія, полныя мѣткости и истинныя статьи Луи-Блана, помѣщаемыя въ *Le Temps*, возбудили грозу *Siecl'a* и *Opinion Nationale*: они чуть не выдали Луи-Блана за австрійскаго агента; и выдали бы совсѣмъ, еслибъ онъ не пользовался дѣйствительно заслуженной репутаціей — чистоты.

Когда я ближе познакомился съ Луи-Бланомъ, меня поразилъ внутренній невозмутимый покой его. Въ его разумѣниі все было въ порядкѣ и рѣшено; тамъ не возникало вопросовъ, кромѣ второстепенныхъ, прикладныхъ. Свои счеты онъ свелъ: *er war im Klagen mit sich*; ему было нравственно свободно, какъ человѣку, который знаетъ, что онъ правъ. — Въ частныхъ ошибкахъ своихъ, въ промахахъ друзей — онъ сознавался добродушно; теоретическихъ угрызений совѣсти у него не было. Онъ былъ доволенъ собой послѣ разрушенія республики 1848 г., какъ Моисеевъ богъ послѣ созданія міра. Умъ его, подвижной въ ежедневныхъ дѣлахъ и подробностяхъ, — былъ японски неподвиженъ во всемъ общемъ. Эта пезнблемая увѣренность въ основахъ, однажды принятыхъ, слегка провѣтриваемая холоднымъ раціональнымъ вѣтеркомъ, прочно держалась на нравственныхъ подпорочкахъ, силу которыхъ онъ никогда не испытывалъ, потому что вѣрилъ въ нее. Мозговая религіозность и отсутствіе скептическаго сосанія подъ ложкой обводили его китайской стѣной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнѣнія.

— Барварская сбивчивость понятій, говорилъ я смѣясь.

— Мнѣ никакъ не дается материалистическое понятіе о духѣ говорилъ онъ разъ, все же духъ и матерія различны; они тѣсно связаны, такъ тѣсно, что и не являются врозь, но все же они не одно и тоже и, видя, что какъ-то доказательство идетъ пихо, онъ вдругъ прибавилъ: Ну вотъ я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата; вижу его черты, слышу его голосъ; гдѣ же матеріальное существованіе этого образа?

Я сначала думалъ, что онъ шутить; но, видя, что онъ говоритъ совершенно серьезно, я замѣтилъ ему, что образъ его брата на сію минуту въ фотографическомъ заведеніи, называемомъ мозгомъ и что врядъ ли существуетъ портретъ Шарля-Блана отдѣльно отъ фотографическаго снаряда.

— Это совсѣмъ другое дѣло: матеріально въ моемъ мозгѣ нѣтъ изображенія моего брата.

— Почему вы знаете?

— А вы почему?

— По наведенію.

— Кстати: это напоминаетъ мнѣ преуморительный анекдотъ.....

И тутъ, какъ всегда, рассказъ о Дидро или М<sup>ме</sup> Тенсин, очень милый, но вовсе не идущій къ дѣлу.

Въ качествѣ преемника Максимилиана Робеспьера, Луи-Бланъ поклонникъ Руссо и въ холодныхъ отношеніяхъ съ Вольтеромъ. Въ своей исторіи онъ по библейски раздѣлилъ всѣхъ дѣятелей на два стана. Одесную — агнцы братства; ошуюю — козлы алчности и эгоизма. Эгоистамъ, въ родѣ Монтеня, пощады нѣтъ, и ему досталось порядкомъ. Луи-Бланъ въ этой сортировкѣ ни на чемъ не останавливается, и, встрѣтивъ финансиста

Лау, смѣло зачислилъ его по братству, чего конечно отважный шотландецъ нѣкогда не ожидалъ.

Въ 1856 году пріѣзжалъ въ Лондонъ изъ Гаги Барбесъ. Луи-Бланъ привелъ его ко мнѣ. Съ умиленіемъ смотрѣлъ я на страдальца, который провелъ почти всю жизнь въ тюрьмѣ. Я прежде видѣлъ его одинъ разъ, и гдѣ? Въ окнѣ Hôtel-de-Ville, 15 мая 1848 г., за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, какъ ворвавшаяся національная гвардія схватила его (\*).

Я звалъ ихъ на другой день обѣдать; они пришли и мы просидѣли до поздней ночи.

Прежде чѣмъ мы перейдемъ къ этой дикой, стихійной силѣ, которая мрачно содрагается, скованная людскимъ насиліемъ и собственнымъ невѣжествомъ, и подъ чась прорывается въ щели и трещины разрушительнымъ огнемъ, наводящимъ ужасъ и смятеніе, — остановимся еще разъ на послѣднихъ тамплиерахъ и классикахъ французской революціи; на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбонской, демократической буржуазіи, которая участвовала лѣтъ десять въ борьбѣ съ Людовикомъ-Филиппомъ, увлекаясь событіями 1848 года, и осталась имъ вѣрной и дома, и въ изгнаніи.

Въ ихъ рядахъ есть люди умные, острые, люди очень добрые, съ горячей религіей и съ готовностью ей пожертвовать всѣмъ; но понимающихъ людей, людей, которые изслѣдовали бы свое положеніе, свои вопросы.

(\*) До чего доходило остервенѣніе хранителей порядка въ этотъ день, можно измѣрить тѣмъ, что національная гвардія схватила на бульварѣ Луи-Блана, котораго вовсе не слѣдовало арестовать, и котораго полиція тотчасъ велѣла освободить. Видя это, національный гвардеецъ, державшій его, схватилъ его за палецъ, срывалъ съ него свои когти и повернулъ послѣдній суставъ.

такъ, какъ естествоиспытатель изслѣдуетъ явленіе или патологъ болѣзни, почти вовсе нѣтъ.

Скорѣе полное отчаяніе, презрѣніе къ лицамъ и дѣлу, скорѣе праздность упрековъ и попрековъ, стоицизмъ, героизмъ, всѣ лишенія, чѣмъ изслѣдованіе. Или такая же полная вѣра въ успѣхъ, безъ взвѣшиванія средствъ, безъ уясненія практической цѣли. Въмѣсто нелъ удовольствія знаменемъ, заголовкомъ, общимъ мѣстомъ: право на трудъ, уничтоженіе пролетаріата, республика и порядокъ! братство и солидарность всѣхъ народовъ. Да какъ же все это устроить, осуществить? Это послѣднее дѣло. Лишь бы имѣть власть; остальное сдѣлается декретами, плебисцитами. А не будутъ слушаться — Grenadiers, en avant armes! pas de charge... bayonnettes!

И религія террора, coup d'état, централизація, военного вмѣшательства, сквозить въ дыры карманьолы и блузы. Не смотря на доктринерскій протестъ нѣсколькихъ аттическихъ умовъ орлеанской партіи, отъ которыхъ разитъ Англіей на ружейный выстрѣлъ, терроръ былъ величественъ въ своей грозной неожиданности, въ своей неприготовленной, колоссальной мести; но останавливаться на немъ съ любовью, но звать его безъ необходимости—страшная ошибка, которой мы обязаны реакцію.

На меня Комитетъ общественнаго спасенія постоянно производилъ то впечатлѣніе, которое я испытывалъ въ магазинѣ Charrière, rue de l'école de Médecine: со всѣхъ сторонъ блестятъ злобѣющимъ блескомъ стали кривыя, прямыя лезвия, ножницы, пилы, оружія вѣроятно спасенія, но навѣрно и боли. Операции оправдываются успѣхомъ, а терроръ этимъ похвастаться не можетъ. Онъ всей своей хирургіей не спасъ республики. Къ чему была сдѣлана *Дантономотомія*, къ чему *Еберто-*



томія? Онѣ ускорили лихорадку термидора; а въ ней республика и зачахла; люди все также и еще больше бредили спартанскими добродѣтелями, латинскими сентенціями и латинизмами à la David; бредили до того, что *Salus populi* въ одинъ прекрасный день перевели на *Salvum fac Imperatorem*, и пропѣли его „Соборне“, во всемъ архіерейскомъ орнатѣ, въ Потръ-Дамскомъ соборѣ.

Террористы были люди недюжинные. Суровые, рѣзкіе образы ихъ глубоко выяснились въ пятомъ дѣйствіи и вѣка останутся въ исторіи до тѣхъ поръ, пока у рода человѣческаго не зашибетъ памяти; но нынѣшніе французы - республиканцы на нихъ смотрятъ не такъ; они въ нихъ видятъ образцы и стараются быть кровожадными въ теоріи и въ надеждѣ приложенія.

Повторяя à la Saint-Just натянутыя сентенціи изъ хрестоматій и латинскихъ классовъ, восхищаясь холоднымъ, риторическимъ краснорѣчіемъ Робеспьера, они не допускаютъ, чтобъ ихъ героевъ судили какъ прочихъ смертныхъ. Человѣкъ, который бы сталъ говорить о нихъ, освобождаясь отъ обязательныхъ титуловъ, которые ставятъ всѣмъ нашимъ въ „бозѣ почившимъ“, былъ бы обвиненъ въ ренегатствѣ, въ измѣнѣ, въ шпіонствѣ.

Изрѣдка встрѣчалъ я, впрочемъ, людей эксцентричныхъ, сорвавшихся со своей торной, гуртовой дороги.

За то уже французы въ этихъ случаяхъ, загусывая удила и усвоивая себѣ какую нибудь мысль, непринадлежащую къ суммѣ *оборотныхъ* мыслей и идей, доводятъ эту мысль до того черезъ край, что человѣкъ, подавшій имъ ее, самъ съ ужасомъ отпращивалъ отъ нихъ.

Въ 1854 году, докторъ Sœurdegoi, посылая мнѣ изъ Испаніи свою брошюру, написалъ ко мнѣ письмо. Такой озлобленный крикъ противъ современной Франціи и ея

послѣднихъ революціонеровъ — мнѣ рѣдко удавалось слышать. Это былъ отвѣтъ Франціи на легко перенесенный *coup d'état*; онъ сомнѣвался въ умѣ, въ силѣ, въ крови своей расы; онъ звалъ казаковъ для „поправленія выродившагося народонаселенія“. Онъ писалъ ко мнѣ потому, что нашелъ въ моихъ статьяхъ „тоже воззрѣніе“. Я отвѣчалъ ему, что до исправительной трансфузіи крови не иду, и послалъ ему *du Développement des idées révolutionnaires en Russie*.

Cœurderoi не остался въ долгу; онъ отвѣтилъ мнѣ, что возлагаетъ всю надежду на войско Николая, должествующее разрушить до тла, безъ пощады и сожалѣнія, цивилизацію обвѣтшавшую, испорченную, и которая не имѣетъ силъ ни обновиться, ни умереть своей смертью.

Одно удѣлѣвшее письмо его прилагаю :

M. A. Herzen.

Santander 27 mai.

Monsieur,

Que je vous remercie tout d'abord de l'envoi de votre travail sur les idées révolutionnaires et leur développement en Russie. J'avais déjà lu ce livre, mais il ne m'était pas resté entre les mains, et c'était pour moi un très grand regret.

C'est vous dire combien j'en apprécie la valeur comme fond et comme forme, et combien je le crois utile pour donner conscience à chacun des forces de la Révolution universelle, aux Français surtout qui ne la croient possible que par *l'initiative du faubourg Saint-Antoine*.

Puisque vous m'avez fait l'amitié de m'envoyer votre livre, permettez-moi, Monsieur, de vous en témoigner ma gratitude en vous disant ce que j'en pense. Non que j'attache de l'importance à mon opinion, mais pour vous prouver que j'ai lu avec attention.

C'est une belle étude, organique et originale, il y a là véritable vigueur, travail sérieux, vérités nues, passages profondément émouvants. C'est jeune et fort comme la race slave; on sent parfaitement que ce n'est ni un Parisien, ni un Paléologue, ni un Philistre

d'Allemagne qui ont écrit des lignes aussi brûlantes ; ni un républicain constitutionnel, ni un socialiste théocrate et modéré, — mais un Cosaque (vous ne vous effrayez pas de ce nom, n'est-ce pas ?) grandement anarchiste, utopiste et poète, acceptant la négation et l'affirmation la plus hardie du XIX<sup>e</sup> siècle. Ce que peu de révolutionnaires français osent faire.

... Sur le point particulier de la Rénovation ethnographique prochaine, j'ai trouvé dans votre livre (surtout dans l'Introduction) bien des passages qui semblent se rapprocher de mon opinion. Quoique vos conclusions ne soient pas très nettement formulées sur ce point, je crois que vous comptez pour le succès de la Révolution sur la fédération démocratique des races slaves qui donneront à l'Europe l'impulsion générale. Il est bien entendu que nous ne différons pas pour le but : la Résurrection du Continent sous la forme démocratique et sociale. Mais je crois que le sac de la Civilisation sera fait par l'absolutisme. Là je vois toute la différence entre nous.

Oui, j'ai conçu ces convictions qu'on dit malheureuses, et j'y persiste parce que chaque jour je les trouve plus justes :

1<sup>o</sup> Que la force a quelque chose à voir dans les affaires de notre microcosme ;

2<sup>o</sup> Qu'en étudiant la marche des événements révolutionnaires dans le temps et dans l'espace on se convainc que la force prépare toujours la Révolution que l'idée a démontrée nécessaire ;

3<sup>o</sup> Que l'idée ne peut pas accomplir l'œuvre de sang et de destruction ;

4<sup>o</sup> Que le despotisme, au point de vue de la rapidité, de la sûreté, de la possibilité d'exécutions, est plus apte que la démocratie à bouleverser un monde ;

5<sup>o</sup> Que l'armée monarchique russe sera plutôt mise en mouvement que la phalange démocratique slave ;

6<sup>o</sup> Qu'il n'y a que la Russie en Europe assez compacte encore sous l'absolutisme, assez peu divisée par les intérêts propriétaires et les partis pour faire bloc, coin, massue, glaive, épée, et exécuter l'Occident et trancher le nœud gordien.

Là

Là

Là

Qu'on me montre une autre force capable d'accomplir une pareille tâche ; qu'on me fasse voir quelque part une armée démocratique toute prête et décidée à frapper sur les peuples, les frères, et à faire couler le sang, à brûler, à abattre sans regarder derrière elle, sans hésiter. Et je changerai de manière de voir.

Avec vous, je voulais seulement bien spécifier la question et la limiter sur ce seul point, *le moyen d'exécution générale de la civilisation occidentale*.

Je n'ai pas besoin de vous dire que notre appréciation sur le Passé et l'Avenir est la même. Nous ne différons absolument que sur le Présent. Vous, qui avez si bien apprécié le rôle révolutionnaire de Pierre I<sup>er</sup>, pourquoi ne pourriez-vous pas penser que tout autre, Nicolas ou l'un de ses successeurs, pût avoir un formidable rôle à accomplir ? Quelle autre main plus puissante, plus large, plus capable de rassembler des peuples conquérants, voyez-vous à l'Orient ? Avant que la démocratie slave ait trouvé un mot d'ordre et traduit le vague secret de ses aspirations, le tzar aura bouleversé l'Europe. Le sort des nations civilisées est dans son bras, s'il le veut. Le monde ne tremble-t-il pas parce qu'il a parlé un peu plus haut que d'habitude ? Je vous l'avoue, cette force me frappe tellement, que je ne puis concevoir qu'on cherche à en voir une autre. Et les révolutionnaires sentent tellement la nécessité d'une dictature pour démolir qu'ils voudraient l'instituer eux-mêmes dans le cas de réussite d'une nouvelle Révolution. A mon sens, ils ne se trompent pas sur la nécessité du moyen, seulement il n'est ni dans leur rôle, ni dans leurs principes, ni dans leurs forces de l'employer. Moi j'aime même voir le Despotisme se charger de cette odieuse tâche de fossoyeur.

Cette lettre est déjà bien assez longue. Je voulais seulement préciser avec vous le point débattu. Ce qu'il faudrait maintenant entre nous, je le sens : ce serait une conversation dans laquelle nous avancerions plus en une heure que par milliers de lettres. Je n'abandonne pas cet espoir, et ce jour sera le bienvenu pour moi. Avec un homme de Révolution, de travail, de science et d'audace je crois toujours pouvoir m'entendre.

Quant aux sourds ou muets de la tradition révolutionnaire de 93, j'ai grand peur que vous n'en fassiez jamais des socialistes universels et des hommes de liberté. Encore moins des partisans de la Possession, du Droit au travail, de l'Echange et du Contrat. C'est tellement séduisant que de rêver une place de commissaire aux armées ou à la police, ou encore une sinécure de représentant du Peuple avec une belle écharpe rouge autour des reins, comme disait Rabelais, beaux floquarts, beaux rubans, gentil pourpoint, galantes braguettes, etc., etc. La plupart de nos révolutionnaires en sont là !

Les hommes ne sont guère plus sages que les enfants, mais beau-

coup plus hypocrites. Ils portent des faux-cols et des décorations et se croient illustres. Les enfants jouent plus sérieusement aux soldats que les grands monarques et les énormes tribunes que les peuples admirent.

Vous voudrez bien me pardonner de vous avoir écrit sans avoir l'honneur de vous connaître personnellement.

Vous m'excuserez surtout de m'être permis de vous donner sur vos ouvrages une opinion qui n'a d'autre valeur que la sincérité. J'estime, d'après mes propres impressions, que c'est le moyen le plus efficace pour reconnaître un don, qui vous a fait plaisir. D'ailleurs notre commun exil et nos aspirations semblables me semblent devoir nous épargner à tous deux les vaines formules de politique banale. Je termine en vous résumant mon opinion par ces deux mots : La Force et la Destruction demain par le tzar, la pensée et l'ordre après demain par les socialistes universels, les Slaves comme les Germano-Latins.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée et de mes sympathies.

Ernest CŒURDEROI.

J'espère que vous publierez en volume vos lettres à Linton Esq<sup>re</sup> que le journal *l'Homme* a données à ses lecteurs.

Pourriez-vous me dire s'il existe des traductions françaises des poésies de Pouchkine, de Lermontoff et surtout de Koltzoff. Ce que vous en dites me fait désirer infiniment de les lire. La personne qui vous remettra cette lettre est mon ami, L. Charre, proscrit comme nous, à qui j'ai dédié *Mes jours d'exil*.



## БАРТЕЛЕМИ

---

Прошло два года, Бартелеми снова стоялъ передъ лордомъ Кемпбелемъ, и на этотъ разъ угрюмый старикъ, накрывшись чернымъ клобукомъ, произнесъ надъ нимъ иной приговоръ.

Въ 1854 году Бартелеми еще больше отдалился отъ всѣхъ; вѣчно чѣмъ-то занятый, онъ мало показывался, готовилъ что-то въ тиши; люди, жившіе съ нимъ вмѣстѣ, знали не больше другихъ. Я его видалъ изрѣдка; онъ всегда мнѣ показывалъ большое сочувствіе и довѣріе, но ничего особеннаго не говорилъ.

Вдругъ разнесся слухъ о двойномъ убійствѣ: Бартелеми убилъ какого-то мелкаго неизвѣстнаго англійскаго купца и потомъ полицейскаго агента, который хотѣлъ его арестовать. Объясненія, ключа — никакого, Бартелеми молчалъ передъ судьями, молчалъ въ Нью-Гетѣ. Онъ съ самаго начала признался въ убійствѣ полицейскаго: за это его можно было приговорить къ смертной казни, а потому онъ остановился на признаніи, защищая такъ сказать *свое право* быть повѣшеннымъ за послѣднее преступленіе, не говоря о первомъ.

Вотъ что мы узнали мало по малу. Бартелеми собрался ѣхать въ Голландію. Въ дорожномъ платьѣ, съ визиро-

ваннымъ пассомъ въ карманѣ, съ револьверомъ въ другомъ, въ сопровожденіи женщины, съ которой онъ жилъ, Бартелеми отправился въ десять часовъ вечера къ англичанину, фабриканту содовой воды. Когда онъ постучался, горничная отворила ему дверь; хозяинъ пригласилъ ихъ въ парлоръ и, вслѣдъ за тѣмъ, пошелъ съ Бартелеми въ свою комнату.

Горничная слышала какъ разговоръ становился крупнѣе, какъ онъ перешелъ въ брань; вслѣдъ за тѣмъ ея господинъ отворилъ дверь и пхнулъ Бартелеми; тогда Бартелеми вынулъ изъ кармана пистолетъ и выстрѣлилъ въ него. Купецъ упалъ мертвый. Бартелеми бросился вонъ; испуганная французенка скрылась прежде него и была счастлива. Полицейскій агентъ, слышавшій выстрѣлъ, остановилъ Бартелеми на улицѣ; онъ грозилъ ему пистолетомъ, полицейскій не пускалъ. Бартелеми выстрѣлилъ..... На этотъ разъ больше чѣмъ вѣроятно, что онъ не хотѣлъ убить агента, а только пострадать его; но, вырывая руку и сжимая другой пистолетъ, на такомъ близкомъ разстояніи, онъ его смертельно ранилъ. Бартелеми пустился бѣжать, но полицейскіе уже замѣтили его, и онъ былъ схваченъ.

Враги Бартелеми, не скрывая радости, говорили, что это былъ просто актъ разбоя, что Бартелеми хотѣлъ ограбить англичанина. Но англичанинъ вовсе не былъ богатъ. Безъ полного помѣшательства трудно предположить, чтобъ человѣкъ пошелъ на открытый разбой въ Лондонѣ, въ одномъ изъ населеннѣйшихъ кварталовъ, въ знакомый домъ, часовъ въ десять вечера, съ женщиной: и все это, чтобъ украсть какихъ нибудь сто фунтовъ (что-то такое было найдено въ коммодѣ убитаго).

Бартелеми, за нѣсколько мѣсяцевъ до этого, завелъ какую-то мастерскую крашенныхъ стеколъ съ узорами,

арабесками и надписями по особому способу. Онъ на привилегію истратилъ фунтовъ до 60 ; фунтовъ 15 не достало, онъ попросилъ у меня взаймы и очень аккуратно отдалъ. Ясно, что тутъ было что-то важнѣе простаго воровства. Внутренняя мысль Бартелеми, его страсть, мономанія остались. Что онъ ѣхалъ въ Голландію только для того, чтобы оттуда пробраться въ Парижъ — это знали многіе.

Едва три-четыре человѣка остановились въ раздумьи передъ этимъ кровавымъ дѣломъ ; остальные всѣ испугались и опрокинулись на Бартелеми. Быть повѣшеннымъ въ Англіи не респектабельно ; имѣть связи съ человѣкомъ, судимымъ за убійство — shocking ; ближайшіе друзья его отшарахнулись.

Я тогда жилъ въ Твикнемѣ. Прихожу разъ домой вечеромъ, меня ждутъ два рефюжѣ : „Мы къ вамъ — говорятъ они — пріѣхали, чтобы васъ удостовѣрить, что мы ни малѣйшаго участія не имѣли въ страшномъ дѣлѣ Бартелеми ; у насъ была общая работа, мало ли съ кѣмъ приходится работать. Теперь скажутъ... подумаютъ“....

— Да неужели вы за этимъ пріѣхали изъ Лондона въ Твикнемъ ? — спросилъ я.

— Ваше мнѣніе намъ очень дорого.

— Помилуйте, господа ; да я самъ былъ знакомъ съ Бартелеми, и хуже васъ, потому что никакой общей работы съ нимъ не имѣлъ ; но я не отрекаюсь отъ него. Я не знаю дѣла, судъ и осужденіе предоставляю лорду Кемпбелю, а самъ плачу о томъ, что такая молодая и богатая сила, такой талантъ, такъ воспитался горькой борьбой и средой, въ которой жилъ, что въ пущемъ цвѣтѣ лѣтъ его жизнь потухаетъ подъ рукою палача.

Поведеніе его въ тюрьмѣ поразило англичанъ : ров-



ное, покойное, печальное безъ отчаянія, твердое безъ жастансе. Онъ зналъ, что для него все кончено, и съ тѣмъ же непоколебимымъ спокойствіемъ выслушалъ приговоръ, съ которымъ нѣкогда стоялъ подъ градомъ пуль на баррикадахъ.

Онъ писалъ къ своему отцу и къ дѣвушкамъ, которую любилъ. Письмо къ отцу я читалъ; ни одной фразы, величайшая простота, онъ кротко утѣшаетъ старика, какъ будто рѣчь не о немъ самомъ.

Католическій священникъ, который ex officio ходилъ къ нему въ тюрьму, человѣкъ умный и добрый, принялъ въ немъ большое участіе и даже просилъ Пальмерстона о перемѣнѣ наказанія, но Пальмерстонъ отказалъ. Разговоры его съ Бартелеми были тихи и исполнены гуманности съ обѣихъ сторонъ. Бартелеми писалъ ему: „Много, много благодаренъ я вамъ за ваши добрыя слова, за ваши утѣшенія. Еслибъ я могъ обратиться въ вѣрующаго, то конечно, одни вы могли бы обратить меня; но что же дѣлать — у меня нѣтъ вѣры!“ Послѣ его смерти священникъ писалъ одной знакомой мнѣ дамѣ: „Какой человѣкъ былъ этотъ несчастный Бартелеми! еслибъ онъ дольше прожилъ, можетъ его сердце и раскрылось бы благодати. Я молюсь о его душѣ!“

Тѣмъ болѣе останавливаюсь я на этомъ случаѣ, что Times со злобой разсказалъ насмѣшку Бартелеми надъ шерифомъ.

За нѣсколько часовъ до казни, одинъ изъ шерифовъ, узнавъ, что Бартелеми отказался отъ духовной помощи, счелъ себя обязаннымъ обратить его на путь спасенія и началъ ему пороть ту піэтическую дичь, которую печатаютъ въ англійскихъ грошевыхъ трактатахъ, раздаваемыхъ даромъ на перекресткахъ. Бартелеми надобло увѣщаніе шерифа. Апостолъ съ золотой цѣпью за-

мѣтилъ это и, принявъ торжественный видъ, сказалъ ему: „Подумайте, молодой человѣкъ, черезъ нѣсколько часовъ, вы будете не мнѣ отвѣчать, а Богу“.

— А какъ вы думаете — спросилъ его Бартеlemi — Богъ говоритъ по французски или нѣтъ? Иначе я не могу ему отвѣчать.

Шерифъ поблѣднѣлъ отъ негодованія, и блѣдность и негодованіе дошли до параднаго ложа всѣхъ шерифскихъ, мерскихъ, алдерманскихъ вздоховъ и улыбокъ: до огромныхъ листовъ „Теймса“.

Но не одинъ апостольствующій шерифъ мѣшалъ Бартеlemi умереть въ томъ серьезномъ и нервно поднятомъ состояніи, котораго онъ искалъ, которое такъ естественно искать въ послѣдніе часы жизни.

Приговоръ былъ прочтенъ. Бартеlemi замѣтилъ кому-то изъ друзей, что, уже если нужно умереть, онъ предпочелъ бы тихо, безъ свидѣтелей, потухнуть въ тюрьмѣ, чѣмъ всенародно, на площади, погибнуть отъ руки палача. „Ничего нѣтъ легче: завтра, послѣ завтра, я тебѣ принесу стрихнина“. Мало одного, двое взялись за дѣло. Онъ тогда уже содержался какъ осужденный, т. е. очень строго; тѣмъ не меньше, черезъ нѣсколько дней, друзья достали стрихнинъ и передали ему въ бѣлѣ. Оставалось убѣдиться, что онъ нашелъ. Убѣдились и въ этомъ...

Боясь отвѣтственности, одинъ изъ нихъ, на котораго могло пасть подозрѣніе, хотѣлъ на время покинуть Англію. Онъ попросилъ у меня нѣсколько фунтовъ на дорогу; я былъ согласенъ ихъ дать. Что кажется проще этого? но я расскажу это ничтожное дѣло для того, чтобъ показать, какимъ образомъ всѣ тайные заговоры французовъ отерываются, какимъ образомъ у нихъ во всякомъ дѣлѣ, любовью къ роскошной *mise en scène*, бездна постороннихъ лицъ компрометируется.

Вечеромъ въ воскресенье у меня были по обыкновенію нѣсколько человѣкъ : польскихъ, итальянскихъ и другихъ рефюжѣ. Въ этотъ день были и дамы. Мы очень поздно сѣли обѣдать : часовъ въ восемь. Часовъ въ девять вошелъ одинъ близкій знакомый. Онъ ходитъ ко мнѣ часто, и потому его появленіе не могло броситься въ глаза ; но онъ такъ ясно выразилъ всѣмъ лицомъ : „Я умалчиваю!“, что гости переглянулись.

— Не хотите ли чегонибудь съѣсть, или рюмку вина? спросилъ я.

— Нѣтъ, сказалъ, опускаясь на стулъ, сосудъ, отяжелѣвшій отъ тайны.

Послѣ обѣда онъ при всѣхъ вызвалъ меня въ другую комнату и, сказавши что Бартелеми досталъ ядъ (новость, которую я уже слышалъ), передалъ мнѣ просьбу о ссудѣ деньгами отъѣзжающаго.

— Съ большимъ удовольствіемъ, я сейчасъ принесу, сказалъ я.

— Нѣтъ, я ночую въ Твикнемѣ и завтра утромъ еще увижусь съ вами. Мнѣ не нужно вамъ говорить, васъ просить, чтобъ ни одинъ человѣкъ.....

Я улыбнулся.

Когда я вошелъ опять въ столовую, одна молодая дѣвушка спросила меня : „Вѣрно онъ говорилъ о Бартелеми? “...

На другой день, часовъ въ восемь утра, вошелъ Франсуа и сказалъ, что какой-то французъ, котораго онъ прежде не видѣлъ, требуетъ непременно меня видѣть.

Это былъ тотъ самый пріятель Бартелеми, который хотѣлъ *незамѣтно* уѣхать. Я набросилъ на себя пальто и вышелъ въ садъ, гдѣ онъ меня дожидался. Тамъ я встрѣтилъ болѣзненнаго, ужасно исхудалаго, черноволосаго француза (я послѣ узналъ, что онъ годы сидѣлъ

въ Бель-Илѣ и потомъ à la lettre умиралъ съ голоду въ Лондонѣ). На немъ было потертое пальто, на которое бы никто не обратилъ вниманія; но дорожный вартузъ и большой дорожный шарфъ, обмотанный вокругъ шеи, невольно остановили бы на себѣ глаза въ Москвѣ, въ Парижѣ, въ Неаполѣ.

— Что случилось?

— Былъ у васъ такой-то?

— Онъ и теперь здѣсь.

— Говорилъ о деньгахъ?

— Это все кончено — деньги готовы.

— Я право очень благодаренъ.

— Когда вы ѣдете?

— Сегодня или завтра.

Къ концу разговора подоспѣлъ и нашъ общій знакомый. Когда путешественникъ ушелъ: „Скажите, пожалуйста, зачѣмъ онъ пріѣзжалъ?“ — спросилъ я, оставшись съ нимъ наединѣ.

— За деньгами.

— Да вѣдь вы могли ему отдать.

— Это правда, но ему хотѣлось съ вами познакомиться; онъ спрашивалъ меня пріятно ли вамъ будетъ, что же мнѣ было сказать?

— Безъ сомнѣнія очень; только я не знаю, хорошо ли онъ выбралъ время.

— А развѣ онъ вамъ помѣшалъ.

— Нѣтъ; а какъ бы полиція ему не помѣшала выѣхать...

По счастью этого не случилось. Въ то время, какъ онъ уѣзжалъ, его товарищъ усомнился въ ядѣ, который они доставили; подумалъ — подумалъ и далъ остатокъ его собакѣ. Прошелъ день, собака жива; прошелъ другой — жива. Тогда, испуганный, онъ бросился въ Нью-Гетъ, добился свиданья съ Бартеlemi черезъ рѣшетку

и, улучшивъ минуту, шепнулъ ему. „У тебя?“ — „Да, да!“ „Вотъ видишь, у меня большое сомнѣніе. Ты лучше не принимай: я пробовалъ надъ собакой, никакого дѣйствія не было!“

Бартелеми опустилъ голову, и потомъ, поднявши ее съ глазами полными слезъ, сказать: „Что же вы это надомной дѣлаете!“

— Мы достанемъ другаго.

— Не надобно — отвѣтилъ Бартелеми — пусть совершится судьба.

И съ той минуты сталъ готовиться къ смерти, не думалъ объ ядѣ и писалъ *какой-то мемуаръ, который не выдалъ* послѣ его смерти другу, которому онъ его завѣщалъ (тому самому, который уѣзжалъ).

Девятнадцатаго Января, въ субботу, мы узнали о посѣщеніи священникомъ Пальмерстона и его отказъ.

Тяжелое воскресенье слѣдовало за этимъ днемъ. Мрачно разошлась небольшая кучка гостей. Я остался одинъ. Легъ спать, уснулъ и тотчасъ проснулся. И такъ черезъ 7 — 6 — 5 часовъ, его, исполненнаго силы, молодости, страстей, совершенно здороваго, выведутъ на площадь и убьютъ, безъ жалости убьютъ, безъ удовольствія и озлобленія, а еще съ какимъ-то фарисейскимъ состраданіемъ!... На церковной башнѣ начало бить семь часовъ. *Теперь* двинулось шествіе, и Калькрафтъ на лицо. Послужили ли бѣдному Бартелеми его стальные нервы? у меня стучалъ зубъ объ зубъ.

Въ 11 утра взмошелъ Д.

— Кончено? спросилъ я.

— Кончено.

— Вы были?

— Былъ.

Остальное досказалъ Times.

Противъ статьи „Теймс“, аббатъ Roux напечаталъ:

The murderer Barthelemy.

Когда все было готово, — рассказываетъ Times — онъ попросилъ письмо той дѣвушки, къ которой писалъ и, помнится, локонъ ея волосъ или какой-то сувениръ, онъ сжалъ ихъ въ рукѣ, когда палачъ подошелъ къ нему... ихъ, сжатыми въ его окоченѣлыхъ пальцахъ нашли помощники палача, пришедшіе снять его тѣло съ висѣлицы. „Человѣческая справедливость — какъ говоритъ „Теймс“ — была удовлетворена!“ Я думаю, да этого и дьявольской не показалось бы мало!

Тутъ бы и остановиться. Но пусть же въ моемъ рассказѣ, какъ было въ самой жизни, останутся слѣды богатырской поступи возлѣ ступней ослиныхъ и свинныхъ копытъ.

Когда Бартелеми былъ схваченъ, у него не было достаточно денегъ, чтобъ платить солиситеру; да ему и не хотѣлось нанимать его. Явился какой-то неизвѣстный адвокатъ Герингъ, предложившій ему защищать его, явнымъ образомъ, чтобъ сдѣлать себя извѣстнымъ. Защищалъ онъ слабо; но не надобно забывать, задача была необыкновенно трудна; Бартелеми молчалъ и не хотѣлъ, чтобъ Герингъ говорилъ о главномъ дѣлѣ. Какъ бы то ни было, Герингъ возился, терялъ время, хлопоталъ. Когда казнь была назначена, Герингъ пришелъ въ тюрьму проститься; Бартелеми былъ тронутъ, благодарилъ его и, между прочимъ, сказалъ ему: „У меня ничего нѣтъ, я не могу вознаградить вашъ трудъ ничѣмъ, кромѣ моей благодарности. Хотѣлъ бы я вамъ по крайней мѣрѣ оставить что нибудь на память, да ничего у меня нѣтъ, чтобъ я могъ вамъ предложить. Развѣ мое пальто?

— Я вамъ буду очень, очень благодаренъ, я хотѣлъ его у васъ просить.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, — сказалъ Бартелеми — но оно плохо...

— О, я его не буду носить ; признаюсь вамъ откровенно, я уже запродалъ его, и очень хорошо.

— Какъ запродали? спросилъ удивленный Бартелеми.

— Да, Madame Туссо, для ея особой галлерей.

Бартелеми содрогнулся.

Когда его вели на казнь, онъ вдругъ вспомнилъ и сказалъ шерифу: „Ахъ, я совсѣмъ было забылъ попросить, чтобъ мое пальто никакъ не отдавали Герингу!“



## С. ВОРЦЕЛЬ

---

Давно накипавшее неудовольствіе противъ централизаціи въ молодой части демократической эмиграціи подняло голосъ; голосъ, обвиняющій Ворцеля. Онъ обомлѣлъ: этой раны онъ не ждалъ, и она пришла совершенно естественно. Былъ ли онъ виновать и на сколько — мы сейчасъ увидимъ.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля, и изъ числа которыхъ были избраны почти всѣ члены централизаціи, далеко не имѣла одного уровня съ нимъ. Ворцель понималъ это, и постоянно находился подъ ихъ влияніемъ. Этому странному явленію способствовало многое: снисхожденіе человѣка сильнаго къ слабымъ, но благонамѣреннымъ людямъ; желаніе сохранить около себя цѣлую партію, цѣною по видимому неважныхъ уступокъ; наконецъ физическая слабость и его астма: ему говорить было трудно, поднимать голосъ онъ не могъ; а тѣ не привыкли его понижать и, въ случаѣ возраженій, такъ кричали, что Ворцель отказывался отъ своего мнѣнія, чтобъ опомниться отъ крика. Привыкнувъ къ своему жиденькому хору, онъ воображалъ, что ведетъ его, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направлялъ его куда хотѣлъ. Только старіеъ подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно; хоръ, исполняя должность мѣщанской родни, какъ гиря,



стигивалъ его въ низменную сферу эмиграціонныхъ дрязгъ и мелочныхъ расчетовъ; бѣдный Ворцель задыхался въ этой средѣ столько же отъ духовнаго астма, сколько отъ физическаго.

Люди не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ. Они въ немъ видѣли средство придать новый колоритъ дѣлу; вѣчная таутологія общихъ мѣстъ, патріотическія фразы, казенныя воспоминанія—все это пріѣлось, наскучило. Соединеніе съ русскимъ давало новый интересъ. Къ тому же они думали поправить свои дѣла, очень разстроенныя, на счетъ русской пропаганды.

Съ самаго начала между мной и членами централизаціи не было настоящаго пониманья. Недовѣрчивые ко всему русскому, они хотѣли, чтобъ я написалъ и нанечаталъ нѣчто въ родѣ profession de foi. Я написалъ: „Поляки прощаютъ насъ“. Они просили измѣнить кой-какія выраженія. Я это сдѣлалъ, хотя далеко не былъ согласенъ съ ними. Въ отвѣтъ на мою статью, Л. З. написалъ воззваніе къ Русскимъ и прислалъ мнѣ его въ рукописи. Ни тѣни новой мысли; тѣ же фразы, тѣ же воспоминанія, и притомъ католическія выходки. Прежде чѣмъ переводить на русскій языкъ, я показалъ Ворцелю нелѣпости редакціи. Ворцель былъ согласенъ и пригласилъ меня вечеромъ объяснить дѣло членамъ централизаціи. Тутъ произошла вѣчная сцена Трпсотина и Вадіуса: именно тѣ мѣста, на которыя я указывалъ, онѣ-то и были *необходимы* для того, чтобъ „Польша не сгинѣла“. На счетъ католическихъ фразъ они сказали, что—каковы бы ни были ихъ личныя вѣрованія—они хотятъ быть съ народомъ; а народъ горячо любитъ свою гонимую мать, латинскую церковь.

Ворцель поддерживалъ меня. Но, какъ только онъ

начиналъ говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлялъ отъ табачнаго дыма и ничего не могъ сдѣлать. Онъ общалъ мнѣ переговорить съ ними потомъ и настоять на главныхъ поправкахъ. Черезъ недѣлю вышелъ „Демократъ Польскій“. Въ воззваніи не было перемѣнено *ни одной іоты*; я отказался отъ перевода. Ворцель говорилъ мнѣ, что и онъ былъ удивленъ этой продѣлкой. „Этого мало, что вы удивились, зачѣмъ вы не остановили!“ — замѣтилъ я ему.

Для меня было очевидно, что, рано или поздно, вопросъ станетъ для Ворцеля такъ: разорвать съ тогдашними членами централизаціи и остаться въ близкомъ отношеніи со мной, или разорвать со мной и остаться по прежнему со своими революціонными недорослями..... Ворцель выбралъ послѣднее; я былъ огорченъ этимъ, но никогда не сѣтовалъ на него и не сердился.

Здѣсь я долженъ буду войти въ печальныя подробности. Когда я завелъ типографію, у насъ было рѣшено такъ: всѣ расходы книгопечатанія (бумага, наборъ, наемъ мѣста, работа и проч.) падали на мой счетъ. Централизація брала на свой счетъ пересылку русскихъ листовъ и брошюръ тѣми путями, которыми она пересылала польскія брошюры. Все, что они брали для пересылки, я имъ давалъ безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша; но вышло, что и она была мала.

Для своихъ дѣлъ, и преимущественно для собранія денегъ, централизація рѣшила послать въ Польшу эмиссара. Хотѣли даже, чтобъ онъ пробрался въ Кіевъ, а если можно — въ Москву, для русской пропаганды, и просили отъ меня писемъ. Я отказалъ, боясь надѣлать бѣды. Дня за три до его отправления, вечеромъ, встрѣтилъ я на улицѣ З., который тотчасъ меня спросилъ :

Вы сколько даете на посылку эмиссара со своей стороны?

Вопросъ показался мнѣ страннымъ; но, зная ихъ стѣсненное положеніе, я сказалъ, что, пожалуй, дамъ фунтовъ десять (250 фр.).

— Да что вы шутите, что ли? — спросилъ морщась З. — Ему надобно по меньшей мѣрѣ шестьдесятъ фунтовъ, а у насъ *фунтовъ сорокъ* не достааетъ. Этого такъ оставить нельзя, я поговорю съ нашими и приду къ вамъ.

Дѣйствительно, на другой день онъ пришелъ съ Ворцелемъ и двумя членами централизаціи. На этотъ разъ З. меня просто обвинилъ въ томъ, что я не хочу дать достаточно денегъ на посылку эмиссара, а согласенъ ему дать русскіе печатные листы.

— Помплуйте, — отвѣчалъ я — вы рѣшили послать эмиссара, вы находите это необходимымъ; трата падаетъ на васъ. Ворцель на лицо, пусть онъ вамъ напомнить условія.

— Что тутъ толковать о *ездоръ*: развѣ вы не знали, что у насъ теперь гроша нѣтъ.

Тонъ этотъ мнѣ наконецъ надоѣлъ.

— Вы — сказалъ я — кажется, не читали „Мертвыя Души“; а то бы я вамъ напомнилъ Ноздрева, который, показывая Чичикову границу своего имѣнья, замѣтилъ, что и съ той и съ другой стороны земля его. Это очень сбиваетъ на нашъ дѣлежъ: мы дѣлили работу нашу и тягу пополамъ на томъ условіи, чтобъ обѣ половины лежали на моихъ плечахъ.

Маленькій, желчный литвинъ началъ выходить изъ себя, кричать о гонорѣ и заключилъ нелѣпую и невѣжливую рѣчь вопросомъ: „Чего же вы хотите?“

— Того, чтобъ вы меня не принимали ни за *bailleur de fonds*, ни за демократическаго банкира, какъ меня

назвалъ одинъ нѣмецъ въ своей брошюрѣ. Вы слишкомъ оцѣнили мои средства, и, кажется, слишкомъ мало меня; вы ошиблись...

— Да позвольте, да позвольте — горячился блѣдный отъ ярости литвинъ.

— Я не могу дозволить продолженія этого разговора, сказалъ наконецъ Ворцель, — мрачно сидѣвшій въ углу и вставая — или продолжайте его безъ меня. *Cher Herrzen*, вы правы; но подумайте объ нашемъ положеніи: эмиссара послать необходимо, а средствъ нѣтъ.

Я остановилъ его. „Въ такомъ случаѣ можно было меня спросить: могу ли я что нибудь сдѣлать, но нельзя было требовать; а требовать въ этой грубой формѣ просто гадко. Деньги я дамъ; дѣлаю это единственно для васъ и, даю вамъ честное слово, господа, въ послѣдній разъ“.

Я вручилъ Ворцелю деньги, и всѣ мрачно разошлись.

Эмиссаръ поѣхалъ и пріѣхалъ назадъ, ничего не сдѣлавши. Война приближалась, началась. Эмиграція была недовольна; молодые эмигранты винили товарищей Ворцеля въ неспособности, лѣни, въ желаніи устроить свои дѣлишки вмѣсто польскихъ дѣлъ. Неудовольствіе ихъ дошло до явнаго ропота; они поговаривали объ отчетѣ, котораго хотѣли требовать отъ членовъ централизаціи, объ открытомъ заявленіи недовѣрія. Ихъ останавливало и удерживало одно — уваженіе и любовь къ Ворцелю. Сколько могъ, я, черезъ Ч., поддерживалъ это; но ошибка за ошибкой централизаціи должны были наконецъ вывести изъ терпѣнія хоть кого.

Въ ноябрѣ 1854 былъ снова польскій митингъ; но уже совсѣмъ въ другомъ духѣ, чѣмъ въ прошломъ году. Предсѣдателемъ былъ избранъ членъ парламента, Жюзуа Вомслей. Поляки ставили свое дѣло подъ англійскій

патронажъ. Въ предупрежденіе слишкомъ красныхъ рѣчей, Ворцель написалъ кое къ кому записки въ родѣ полученной мною: „Вы знаете, что 29-го у насъ митингъ; не можемъ пригласить васъ и въ этотъ разъ, какъ въ прошлый, сказать намъ нѣсколько сочувственныхъ словъ: война и необходимость сближенія съ англичанами заставляютъ насъ дать митингу иной цвѣтъ. Не Герценъ, не Ледрю-Ролленъ и Пьянчани будутъ говорить, а большей частью англичане; изъ нашихъ же одинъ Кошутъ возьметъ рѣчь, чтобы изложить положеніе дѣлъ и пр.“.

Я отвѣчалъ, „что приглашеніе *не говоритъ* на митингъ я получилъ, и съ тѣмъ большей охотой его принимаю, что оно очень легко“.

Сближеніе съ англичанами не состоялось; уступки были сдѣланы напрасно; даже подписка шла плохо. Ж. Вомслей сказалъ, что онъ готовъ дать денегъ, но не хочетъ подписать своего имени, не желая, какъ членъ парламента, официально участвовать въ сборѣ, цѣль котораго не признана правительствомъ.

Все это, и между прочимъ мое отдѣленіе отъ митинга, довело раздраженіе молодыхъ людей до крайней степени; у нихъ уже ходилъ по рукамъ обвинительный актъ. Какъ нарочно въ тоже время я долженъ былъ перевести русскую типографію въ другое мѣсто. З., нанимавшій на свое имя домъ, въ которомъ помещалась она, вмѣстѣ съ польской типографіей, былъ кругомъ въ долгахъ; два раза уже являлись брокеры; всякій день можно было ждать, что типографію захватятъ вмѣстѣ съ другой мебелью. Я поручилъ Ч. ее перевезти; З. упирался, не хотѣлъ выдать буквъ и принадлежностей; я написалъ ему холодную записку. Въ отвѣтъ на нее, на другой день, пріѣхалъ больной и разстроенный Ворцель ко мнѣ въ Ричмондъ.

— Вы намъ наносите *le coup de grâse*; въ то самое время, какъ у насъ идетъ такая усобица, вы переводите типографію.

— Увѣряю васъ, что тутъ никакихъ нѣтъ политическихъ причинъ, ни ссоръ, ни демонстраціи; а очень просто: я боюсь, что опишутъ все у З. Отвѣчаете ли вы мнѣ, что этого не будетъ; я на *ваше* честное слово положусь и типографію оставлю.

— Дѣла его очень запутаны, это правда.

— Какъ же вы хотите, чтобъ я рисковалъ моимъ единственнымъ орудіемъ. Если даже я потомъ и выкуплю, чего будетъ стоить одна потери времени? вы знаете какъ это здѣсь дѣлается.

Ворцель молчалъ.

— Вотъ что я могу сдѣлать для васъ; я напишу письмо, въ которомъ скажу, что хозяйственные распоряженія заставляютъ меня перевезти типографію, но что это не только не значитъ, что мы расходимся, но, напротивъ, что у насъ вмѣсто одной, будутъ двѣ типографіи; письмо это вы можете напечатать, ежели желаете, или показать кому угодно.

Дѣйствительно, я въ этомъ смыслѣ и написалъ письмо на имя Ж., забитаго члена централизаціи, завѣдывавшаго ея матеріальной частью.

Ворцель остался обѣдать; послѣ обѣда я уговорилъ его переночевать въ Ричмондѣ; вечеромъ мы сидѣли съ нимъ вдвоемъ передъ каминомъ. Онъ былъ очень печаленъ, ясно понимая какихъ ошибокъ онъ надѣлалъ, какъ всѣ уступки не повели ни къ чему, кромѣ внутренняго распадѣнія; наконецъ, какъ агитація, которую онъ дѣлалъ съ Кошутомъ, пропадала безслѣдно; а фономъ всей черной картины — убійственный покой Польши.

Осенью 1856 Ворцелю совѣтовали ѣхать въ Ниццу и сначала пожить на теплыхъ закраинахъ Женевского озера. Услышавъ это, я ему предложилъ деньги, нужныя на путь. Онъ принялъ, и это насъ снова сблизило; мы опять стали чаще видаться. Но собирався онъ въ путь тихо; лондонская зима сырая, съ продымленнымъ, давящимъ туманомъ, вѣчной сыростью и страшными сѣверо-восточными вѣтрами, начиналась. Я торопилъ его, но у него уже развивался какой-то инстинктивный страхъ отъ переменъ, отъ движенія. Онъ боялся одиночества. Я ему предлагалъ взять съ собою когонибудь до Женевы; тамъ я его передалъ бы Карлу Фогту.

Онъ все принималъ, со всѣмъ соглашался, но ничего не дѣлалъ. Жилъ онъ ниже *rez-de-chaussée*; у него въ комнатѣ почти никогда не было свѣтло. Тамъ-то, въ асмѣ, безъ воздуха, дыша каменнымъ углемъ, онъ потухалъ.

П. Тэйлоръ велѣлъ хозяинѣ дома всякую недѣлю посылать къ нему счетъ за квартиру, столъ и прачку: этотъ счетъ онъ платилъ, но „на руки“ ему не давалъ ни одного фунта.

Ѣхать онъ рѣшительно опоздалъ; я ему предложилъ нанять для него хорошую комнату въ *Brompton Consumption hospital*.

— Да, это было бы хорошо, но нельзя. Помилуйте, это страшная даль отсюда.

— Ну такъ что же?

— Ж. живетъ здѣсь, и всѣ дѣла наши здѣсь; а онъ *долженъ каждое утро приходить ко мнѣ съ дневнымъ отчетомъ!*

Тутъ самоотверженіе граничило съ сумасшествіемъ.

Со смертью Ворцеля, демократическая партія польской эмиграціи въ Лондонѣ обмелѣчала. Имъ, его изыщ-

ной, его почтенной личностью, она держалась. Вообще радикальная партія распалась на мелкія партіи, почти враждебныя. Годичные митинги въ разбивку стали бѣдны числомъ и интересомъ: вѣчная панихида, перечень старыхъ и новыхъ потерь и, какъ всегда въ панихидахъ, чаяніе воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка, вѣра во второе пришествіе Бонапарта и въ преображеніе Рѣчи Посолитой.

Два-три благородныхъ старца остались величественными и скорбными памятниками; какъ тѣ длиннородные, сѣдые израильтяне, которые плачутъ у стѣнъ Іерусалимскихъ, они, не какъ вожди, указываютъ путь впередъ, а какъ иноки, могилу; они останавливаютъ насъ своимъ *Sta viator!*

Между ними лучший изъ лучшихъ, сохранившій въ дряхломъ тѣлѣ молодое сердце и юный, кроткій, дѣтски чистый голубой взглядъ. Одна нога его уже въ гробъ; скоро уйдетъ онъ, скоро и противникъ его, Адамъ Чарторижскій.

Ужъ не въ самомъ ли дѣлѣ это *finis Poloniæ*?

..... Прежде чѣмъ мы совсѣмъ оставимъ трогательную и симпатичную личность Ворцеля на холодномъ Гай-Гетовскомъ кладбищѣ, я хочу рассказать нѣсколько мелочей о немъ. Такъ люди, идущіе съ похоронъ, приостанавливая скорбь, рассказываютъ разныя подробности о покойномъ.

Ворцель былъ очень разсѣянъ въ маленькихъ житейскихъ дѣлахъ; послѣ него всегда оставались очки, ихъ чехолъ, платокъ, табакерка; за то, если близко него лежалъ не его платокъ, онъ его клалъ въ карманъ; онъ приходилъ иногда съ тремя перчатками, иногда съ одной.

Прежде чѣмъ онъ переѣхалъ въ *Hunter street*, онъ



жилъ возлѣ, въ полукругѣ небольшихъ домовъ Burton Crescent, 43, недалеко отъ Нью-Родъ. На англійскій манеръ, всѣ дома полукруга были одинакіе. Домъ, въ которомъ жилъ Ворцель, былъ пятый съ края, и онъ всякій разъ, зная свою разсѣянность, считалъ двери. Возвращаясь какъ-то съ противоположной стороны полудунія, Ворцель постучалъ и, когда ему отперли, вошелъ въ свою комнату. Изъ нея вышла какая-то дѣвушка, вѣроятно хозяйская дочь. Ворцель сѣлъ отдохнуть къ потухавшему камину. За нимъ кто-то раза два кашлянулъ: на креслахъ сидѣлъ незнакомый человѣкъ. „Извините, — сказалъ Ворцель — вы вѣрно меня ждали?“

— Позвольте, — замѣтилъ англичанинъ — прежде чѣмъ я отвѣчу, узнать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

— Я Ворцель.

— Не имѣю удовольствія знать; что же вамъ угодно?

Тутъ вдругъ Ворцеля поразила мысль, что онъ не туда попалъ; оглядѣвшись, онъ увидѣлъ, что мебель и все прочее не его. Онъ разсказалъ англичанину свою бѣду и, извиняясь, отправился въ пятый домъ съ другой стороны. По счастью англичанинъ былъ очень учтивый человѣкъ, что не очень обыкновенный плодъ въ Лондонѣ.

Мѣсяца черезъ три таже исторія. На этотъ разъ, когда онъ постучалъ, горничная, отворившая дверь, видя почтеннаго старика, просила его взойти прямо въ парлоръ; тамъ англичанинъ ужиналъ со своей женой. Увидя входящаго Ворцеля, онъ весело протянулъ ему руку и сказалъ: „Это не здѣсь, вы живете въ 43“.

При этой разсѣянности, Ворцель сохранилъ до конца жизни необыкновенную память; а въ немъ справлялся какъ въ лексиконѣ или энциклопедіи. Онъ читалъ все

на свѣтѣ, занимался всѣмъ: механикой и астрономіей, естественными науками и исторіей. Не имѣя никакихъ католическихъ предразсудковъ, онъ, по старому ріі польскаго ума, вѣрилъ въ какой-то духовный міръ, неопредѣленный, ненужный, невозможный, но отдѣльный отъ міра матеріальнаго. Это не религія Моисея, Авраама и Исаака, а религія Жанъ-Жака, Жоржъ-Сандъ, Пьера-Леру, Мадзини и пр. Но Ворцель имѣлъ меньше ихъ всѣхъ правъ на нее.

Когда его астма не очень мучилъ и на душѣ было не очень темно, Ворцель былъ очень любезенъ въ обществѣ. Онъ превосходно рассказывалъ, п особенно воспоминанія изъ стараго панскаго быта; этихъ рассказовъ я заслушивался. Міръ пана Тадеуша, міръ Мурделио проходилъ передъ глазами; міръ, о кончинѣ котораго не жалѣешь, напротивъ, радуешься, но которому невозможно отказать въ какой-то яркой, необузданной поэзіи, вовсе недостающей нашему барскому быту. Намъ въ сущности такъ не свойственна западная аристократія, что всѣ рассказы о нашихъ тузахъ, сводятся на дикую роскошь, на шпы на цѣлый городъ, на безчисленныя дворни, на тиранство крестьянъ и мелкихъ сосѣдей, съ рабскимъ подобострастіемъ передъ императоромъ и дворомъ. Шереметьевы и Голицыны, со всѣми ихъ дворцами и помѣстьями, ничѣмъ не отличались отъ своихъ крестьянъ, кромѣ нѣмецкаго кафтана, французской грамоты, царской милости и богатства. Всѣ они непрерывно подтверждали изрѣченіе Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди: это тѣ, съ которыми онъ говоритъ и пока говорить. Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что можетъ быть жалче *et moins aristocratique*, какъ послѣдній представитель русскаго барства и вельмож-

ничества, видѣнный мною, князь Сергій Михайловичъ Голицынъ, — и что отвратительнѣе какого нибудь Измайлова.

Замашки польскихъ пановъ были скверны, дики, почти непонятны теперь; но діаметръ другой, но другой закалъ личности, и ни тѣни холопства.

— Знаете вы, — спросилъ меня разъ Ворцель — отчего называется passage Radzivil, въ Пале-Рояль?

— Нѣтъ.

— Вы помните знаменитаго Радзивилла, пріятеля Регента, который проѣхалъ на своихъ изъ Варшавы въ Парижъ, и для всякаго ночлега покупалъ домъ; количество вина, которое выпивалъ Радзивиллъ, покорило ему разслабленнаго хозяина; Герцогъ такъ привыкъ къ нему, что, видаясь всякій день, посылалъ еще по утрамъ къ нему записки. Занудило какъ-то Радзивиллу что-то сообщить Регенту. Онъ послалъ хлопца къ нему съ письмами. Хлопецъ искалъ — искалъ, не нашелъ и принесъ повинную голову. Дуракъ, — сказалъ ему панъ — поди сюда, смотри въ окно: видишь этотъ большой домъ? (Пале-Рояль.) — Вижу. — Ну, тамъ живетъ первый здѣшній панъ, каждый тебѣ укажетъ. Пошелъ хлопецъ, искалъ — искалъ, не можетъ найти.

Дѣло было въ томъ, что дома отгораживали дворецъ и надобно было сдѣлать обходъ по St-Honoré.

— Фу, какая скука, — сказалъ панъ — велите моему повѣренному скупить дома между моимъ дворцемъ и Пале-Роялемъ, да и сдѣлайте улицу, чтобъ дуракъ этотъ не путалъ, когда я опять его пошлю къ Регенту.....

Какъ вообще дѣлались финансовыя операціи въ нашемъ мірѣ, я покажу еще на одномъ примѣрѣ.

Послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ въ 1852, говоря о

плохомъ состояніи итальянской кассы съ Маццинини, я сообщилъ ему, что въ Генуѣ я предлагалъ его друзьямъ завести свою *income tax*, и платить — безсемеиннымъ процентовъ десять, семейнымъ меньше.

— Примуть всё,—замѣтилъ Маццини—а заплатятъ весьма немногіе.

— Стыдно будетъ, заплатятъ. Я давно хотѣлъ внести свою лепту въ итальянское дѣло; мнѣ оно близко, какъ родное; я дамъ десять процентовъ съ дохода единовременно. Это составитъ около двухсотъ фунтовъ. Вотъ сто сорокъ фунтовъ, а шестьдесятъ останутся за мной.

... Въ 1853 году, Маццини исчезъ. Вскорѣ послѣ его отъѣзда явились ко мнѣ два породистыхъ рефюжье; одинъ въ шинели съ мѣховымъ воротникомъ, потому что онъ десять лѣтъ тому назадъ былъ въ Петербургѣ; другой безъ воротника, но съ сѣдыми усами и военной бородкой. Они пришли съ порученіемъ отъ Ледрю-Роллена: онъ хотѣлъ знать, не намѣренъ ли я прислать какую нибудь сумму денегъ въ Европейскій Комитетъ? Я признался, что *не намѣренъ*.

Нѣсколько дней спустя тотъ же вопросъ былъ мнѣ сдѣланъ Ворцелемъ.

— Съ чего это взялъ Ледрю-Ролленъ?

— Да вѣдь дали же вы Маццини.

— Это скорѣе резонъ не давать никому другому.

— Кажется за вами остались шестьдесятъ фунтовъ?

— Обѣщанные Маццини.

— Это все равно.

— Я не думаю.

..... Прошла недѣля; я получилъ письмо отъ Маццолетти, въ которомъ онъ увѣдомлялъ меня, что до его свѣденія дошло, что я *не знаю*, кому доставить шестьдесятъ фунтовъ, оставшіеся за мной; въ силу чего онъ

просить переслать ихъ ему, какъ представителю Маццини въ Лондонѣ.

Маццолетти этотъ дѣйствительно былъ секретаремъ Маццини. Чинovníкъ, бюрократъ по натурѣ, онъ насъ смѣшилъ своей министерской важностью и дипломатическими манерами.

Когда телеграмма о возстаніи въ Миланѣ 3 февраля 1853 была напечатана въ журналахъ, я поѣхалъ къ Маццолетти узнать, не имѣетъ ли онъ какихъ вѣстей. Маццолетти просилъ меня подождать; потомъ вышелъ озабоченный, доблестный, съ какими-то бумагами и съ Братіано, съ которымъ былъ въ важномъ разговорѣ.

— Я къ вамъ пріѣхалъ узнать, нѣтъ ли какихъ вѣстей.

— Нѣтъ, я самъ узналъ изъ Теймса; жду съ часу на часъ депешу.

Подшли еще человѣка два. Маццолетти былъ доволенъ и потому морщился и жаловался на недосугъ. Разговорившись, онъ началъ полусловами добавлять новости и пояснять.

— Откуда же вы знаете?—спросилъ я его.

— Это.....—это, разумѣется, мои соображенія, — замѣтилъ нѣсколько смѣшавшись Маццолетти.

— Завтра утромъ я къ вамъ пріѣду.....

— А если сегодня будетъ что нибудь, я извѣщу васъ.

— Вы меня одолжите, отъ 7 до 9 я буду у Верн.

Маццолетти не забылъ. Часу въ восьмомъ я обѣдалъ у Верн; вошелъ итальянецъ, котораго я раза два видалъ, онъ подошелъ ко мнѣ, осмотрѣлся, выждалъ, когда гарсонъ пошелъ за чѣмъ-то, и, сказавъ мнѣ, что Маццолетти поручилъ ему передать, что никакой телеграммы не было, ушелъ.

... Получивъ письмо отъ этого статсъ-секретаря по

революціи, я ему отвѣчалъ шутя, что онъ напрасно меня представляетъ въ какомъ-то безпомощномъ состояніи стоящаго середѣ Лондона, затрудняясь кому отдать шестьдесятъ ливровъ, что я безъ письма Маццини вовсе не намѣренъ ихъ кому бы то ни было отдавать.

Маццолетти написалъ мнѣ длинную и нѣсколько гнѣвную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшаго, быть колкой для получающаго, не выходя впрочемъ изъ предѣловъ парламентской вѣжливости.

Не прошло недѣли послѣ этихъ искушеній, какъ утромъ рано пріѣхала ко мнѣ Эмилиа Г., одна изъ преданнѣйшихъ женщинъ Маццини и близкій его другъ. Она мнѣ сообщила о томъ, что возстаніе въ Ломбардіи не удалось, и что еще Маццини скрывается тамъ и проситъ немедленно выслать денегъ; а денегъ нѣтъ.

— Вотъ вамъ, — сказалъ я ей — знаменитые шестьдесятъ фунтовъ; не забудьте только сказать тайному совѣтнику Маццолетти, да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не такъ дурно сдѣлалъ, не бросивъ въ омутъ Европейскаго Комитета эти полторы тысячи франковъ.

Предупреждая нашъ русскій національный выводъ изъ моего разсказа, я долженъ сказать, что деньгами такъ собираемыми никогда никто не пользовался (\*):

(\*) Итальянская эмиграція выше всякаго подозрѣнія. Во французской былъ одинъ забавный случай. — Б., о которомъ была рѣчь въ разсказѣ о дуэли Бартеми, собралъ по порученію Ледрю-Роллена какія-то деньги и прожилъ ихъ. Послѣ этого, желаніе возвратиться въ Лондонъ, сильно уменьшилось, и онъ сталъ просить разрѣшенія остаться въ Марсели. Билье отвѣчалъ, что Б., какъ политическій человѣкъ, такъ безопасенъ, что могъ бы остаться; но что безчестный поступокъ его со своей собственной партіей пока-

у насъ ихъ кто нибудь укралъ бы; здѣсь онѣ исчезали въ томъ родѣ, какъ если бы кто нибудь, не записывая нумеровъ, жегъ на свѣчѣ ассигнаціи.

Знаешь, что онъ ненадежный человѣкъ, въ силу чего онъ ему отказывается.

Своего рода пальма и тутъ принадлежитъ нѣмцамъ. Они сколотили сборами въ Америкѣ и Манчестерѣ, помнится, тысячъ двадцать франковъ. Деньги эти, назначенныя для агитаціи, пропаганды, поддержания процессовъ и пр., они положили въ одинъ изъ лондонскихъ банковъ и избрали распорядителями: Кинкеля, Руге и графа Оскара Рейхенбаха, трехъ непримиримыхъ враговъ. Тѣ тотчасъ догадались, какой богатый источникъ непріятностей другъ другу имъ данъ въ руки; а потому и поспѣшили написать въ условіяхъ взноса, чтобъ банкъ не выдавалъ никакой суммы безъ всѣхъ трехъ подписей. Стоило одному, или двумъ даже, подписаться—третій не соглашался. Что ни дѣлало нѣмецкое эмиграціонное общество,—одной подписи не доставало. Такъ и лежитъ сумма нетронутою и поднесъ въ банкъ: вѣроятно приданнымъ для будущей тевтонской республики.

---

## АПОТЕЙ И ПЕРИГЕЙ

(Продолженіе)

---

По воскресеньямъ вечеромъ собирались у насъ знакомые, и преимущественно русскіе. Въ 1862 число послѣднихъ очень увеличилось: на выставку пріѣзжали купцы и туристы, журналисты и чиновники всѣхъ вообще отдѣленій, и третьяго въ особенности. Дѣлать строгій выборъ было невозможно; короткихъ знакомыхъ мы предупреждали, чтобъ они приходили въ другой день. Благочестивая скука лондонскаго воскресенья побуждала осторожность. Отчасти эти воскресенья и привели къ бѣдѣ. Но прежде чѣмъ я ее передамъ, я долженъ познакомить съ двумя-тремя экземплярами родной фауны нашей, явившихся въ скромной залѣ Orsett House. Наша галлерей живыхъ рѣдкостей изъ Россіи была, безъ всякаго сомнѣнія, замѣчательнѣе и занимательнѣе русскаго отдѣла на Great Exhibition.

... Въ 1860 получаю я изъ одного отеля на Гай-Маркетъ русское письмо, въ которомъ какіе-то люди извѣщали меня, что они русскіе, находятся въ услуженіи князя Юрія Николаевича Голицына, тайно оставившаго Россію: „самъ князь поѣхалъ на Константинополь, а насъ отправилъ по другой дорогѣ. Князь велѣлъ



дождаться его и далъ намъ денегъ на нѣсколько дней. Прошло больше двухъ недѣль; о князѣ ни слуха; деньги вышли, хозяинъ гостиницы сердится. Мы не знаемъ, что дѣлать; по англійски никто не говоритъ". Находясь въ такомъ безпомощномъ состояніи, они просили, чтобъ я ихъ выручилъ. Я поѣхалъ къ нимъ и уладилъ дѣло. Хозяинъ отеля зналъ меня и согласился подождать еще недѣлю.

Дней черезъ пять послѣ моей поѣздки подѣхала къ крыльцу богатая коляска, запряженная парой сѣрыхъ лошадей въ яблокахъ. Сколько я ни объяснялъ моей прислугѣ, что, какъ бы человекъ ни пріѣзжалъ, хоть цугомъ, и какъ бы ни назывался, хоть дюкомъ, все же утромъ не принимать; но уваженія къ аристократическому экипажу и титулу я не могъ побѣдить.

На этотъ разъ встрѣтились оба искусительныя условія, и потому черезъ минуту огромный мужчина, толстый, съ красивымъ лицомъ аспрійскаго бога-вола, обнялъ меня, благодаря за мое посѣщеніе въ его людямъ.

Это былъ князь Юрій Николаевичъ Голицынъ. Такого крупнаго, характеристическаго обломка всей Россіи, такого цвѣтка съ нашей родины я давно не видалъ.

Онъ мнѣ съ разу рассказалъ какую-то неправдоподобную исторію, которая вся оказалась справедливой: какъ онъ давалъ кантонисту переписывать статью въ *Колоколъ*, и какъ онъ разошелся со своей женой; какъ кантонистъ донесъ на него, а жена не присылаетъ денегъ; какъ государь его усадъ на безвыѣздное житъе въ Козловъ, вслѣдствіе чего онъ рѣшился бѣжать за границу, и поэтому увезъ съ собой какую-то барышню, гувернантку, управляющаго, регента и горничную, черезъ молдавскую границу.

Въ Галацѣ онъ захватилъ еще какого-то лакея, говорившаго ломанымъ языкомъ на пяти языкахъ и показавшагося ему шпиономъ. Тутъ же объявилъ онъ мнѣ, что онъ страстный музыкантъ и будетъ давать концерты въ Лондонѣ; а потому хочетъ познакомиться съ Огаревымъ.

— Дорого у васъ здѣсь въ Англіи б—берутъ на таможенѣ,—сказалъ онъ, слегка занекаясь и окончивъ курсъ своей всеобщей исторіи.

— За товары можетъ,—замѣтилъ я—а въ путешественникамъ costume-house очень сносходителенъ.

— Не скажу; я заплатилъ шиллинговъ 15 за крокодила.

— Да это что такое?

— Какъ что?—да просто крокодилъ.

Я сдѣлалъ большіе глаза, и спросилъ его:

— Да вы, князь, что же это: возите съ собой крокодила вмѣсто паспорта, стращать жандармовъ на границахъ?

— Такой случай. Я въ Александріи гулялъ; а тутъ какой-то арабченокъ продаетъ крокодила. Понравился, я и купилъ.

— Ну, а арабченка купили?

— Ха, ха—нѣтъ.

Черезъ недѣлю князь былъ уже инсталлированъ въ Porchester terrace, т. е. въ очень дорогой части города, въ большомъ домѣ. Онъ началъ съ того, что велѣлъ на вѣки-вѣчные, вопреки англійскому обычаю, открыть настежъ ворота и поставилъ въ вѣчномъ ожиданіи у подъѣзда пару сѣрыхъ лошадей въ яблокахъ. Онъ зажилъ въ Лондонѣ, какъ въ Козловѣ, какъ въ Тамбовѣ.

Денегъ у него, разумѣется, не было, т. е. были нѣсколько тысячъ франковъ на *афишу и заглавный листъ*

лондонской жизни; ихъ тотчасъ истратилъ: но пыль въ глаза бросилъ и успѣлъ на нѣсколько мѣсяцевъ обезпечиться, благодаря англійской тупоумной довѣрчивости, отъ которой иностранцы всего континента не могутъ еще поднесъ отучить ихъ.

Но князь шелъ на всѣхъ парахъ. — Начались концерты. Лондонъ былъ удивленъ княжескимъ титуломъ на афишѣ, и во второй концертъ, зала была полна (S-James hall, Piccadilly). Концертъ былъ великолѣпный. Какъ Голицынъ успѣлъ такъ приготовить хоръ и оркестръ?—это его тайна; но концертъ былъ совершенно изъ раду вонъ. Русскія пѣсни и молитвы, комаринская и обѣдня, отрывки изъ оперы Глинки и изъ Евангелія (отче нашъ), — все шло прекрасно. Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красиваго ассирійскаго бога, величественно и граціозно поднимавшаго и опускавшаго свой скипетръ изъ слоновой кости; старушки вспоминали атлетическія формы императора Николая, побѣдившаго лондонскихъ дамъ всего больше своими обтянутыми лосинными, бѣлыми какъ русскій снѣгъ, кавалергардскими colant.

Голицынъ нашелъ средство и изъ этого успѣха сдѣлать себѣ убытокъ. Упоенный рукоплесканіями, онъ послалъ въ концѣ первой части концерта за корзиной букетовъ (не забывайте лондонскія цѣны) и, передъ началомъ второй части, явился на сцену; два ливрейныхъ лакея несли корзину, князь, благодаря пѣвицъ и хористокъ, каждой поднесъ по букету. Публика приняла и эту галантерейность аристократа-капельмейстера громомъ рукоплесканій. Выросъ, разцвѣлъ мой князь и, какъ только окончился концертъ, пригласилъ *всѣхъ* музыкантовъ на ужинъ.

Тутъ, сверхъ лондонскихъ цѣнъ, надобно знать и

лондонскіе обычаи: въ одиннадцать часовъ вечера, не предупредивши съ утра, нигдѣ нельзя найти ужинъ человѣкъ на пятьдесятъ.

Ассирійскій вождь храбро пошелъ пѣшкомъ по Regent street съ музыкальнымъ войскомъ своимъ, стучась въ двери разныхъ ресторановъ; и достучался наконецъ: смекнувшій дѣло хозяинъ выѣхалъ на холодныхъ мясахъ и на горячихъ винахъ.

За тѣмъ начались концерты его со всевозможными штуками; даже съ политическими тенденціями. Всякій разъ гремѣлъ Herzen's Walzer, гремѣлъ Ogareff's Quadrille и потомъ Emancipation Symphonie..... пьесы, которыми и теперь, можетъ, чаруетъ князь Москвичей, и которыя, вѣроятно, ничего не потеряли при переѣздѣ изъ Альбіона, кромѣ собственныхъ именъ; онѣ могли легко перемѣнить ихъ на Patapoff's Walzer, Mina Walzer и Komissaroff's Partitur.

При всемъ этомъ шумѣ денегъ не было; платить было нечѣмъ. Поставщики начали роптать, и даже началось исподволь спартаковское возстаніе рабовъ.....

Однимъ утромъ явился ко мнѣ *factotum* князя, его управляющій, переименовавшій себя въ секретаря, съ „регентомъ“, т. е. не съ отцомъ Филиппа Орлеанскаго, а съ бѣлокурымъ и кудрявымъ русскимъ малымъ лѣтъ двадцати двухъ, управлявшимъ пѣвцами.

— Мы, Александръ Ивановичъ, къ вамъ-съ.

— Что случилось?

— Да ужъ Юрій Николаевичъ очень обижаютъ, хотимъ ѣхать въ Россію и требуемъ расчета; не оставьте вышей милостью, вступитесь.

— Такъ меня и обдало отечественнымъ паромъ, — словно на каменку поддали.

— Почему же вы обращаетесь съ этой просьбой ко

мнѣ? Если вы имѣете серьезныя причины жаловаться на князя, на это есть здѣсь для всякаго судъ, и судъ, который не покривитъ ни въ пользу князя, ни въ пользу графа.

— Мы точно слышали объ этомъ, *да чтожъ ходить до суда*. Вы ужъ лучше разберите.

— Какая же польза будетъ вамъ отъ моего разбора? Князь скажетъ мнѣ, что я мѣшаюсь въ чужія дѣла; я и пойду съ носомъ. Не хотите въ судъ, пойдите къ послу; не мнѣ, а ему препоручены русскіе въ Лондонѣ.....

— Это ужъ гдѣ же-съ? колъ скоро русскіе господа сидятъ, какой же можетъ быть разборъ съ княземъ; а вы вѣдь за народъ: такъ мы такъ и пришли къ вамъ. Ужъ разберите дѣло, сдѣлайте милость.

— Экіе вѣдь какіе; — да князь не приметъ моего разбора; что же вы выиграете?

— Позвольте доложить, — съ живостью возразилъ секретарь — этого онъ не посмѣетъ-съ, такъ какъ они очень уважаютъ васъ, да и боятся сверхъ того: въ *Колокола* то попасть имъ не весело, — амбиція-съ.

— Ну, слушайте, чтобъ не терять намъ по пусту время, вотъ мое рѣшеніе: если князь согласенъ принять мое посредничество, я разберу ваше дѣло; если нѣтъ, — идите въ судъ; а такъ какъ вы не знаете ни языка, ни здѣшняго хожденія по дѣламъ, то я, если васъ въ самомъ дѣлѣ князь обижаетъ, дамъ человѣка, который знаетъ то и другое, и по русски говорить.

— Позвольте, — замѣтилъ секретарь.

— Нѣтъ не позволяю, любезнѣйшій. — Прощайте.

Скажу и объ нихъ слово.

Регентъ ничѣмъ не отличался, кромѣ музыкальныхъ способностей; это былъ откормленный, крупитчатый, туповато краспвый, румяный малый изъ дворовыхъ; его

манера говорить прикартавливая и нѣсколько заspanные глаза напоминали мнѣ цѣлый рядъ, — какъ въ зеркалѣ когда гадаешь, — Сашекъ, Сенекъ, Алешекъ, Мпрошекъ.

Секретарь былъ тоже чисто русскій продуктъ, но больше рѣзкій представитель своего типа : человекъ лѣтъ за сорокъ, съ небритымъ подбородкомъ, пспитымъ лицомъ, въ засаленномъ скюртукѣ, весь, снаружи и внутри, нечистый и замаранный, съ небольшими плутовскими глазами и съ тѣмъ особеннымъ запахомъ русскихъ пьяницъ, составленнымъ изъ вѣчно поддерживаемаго перегорѣлаго сивушнаго букета съ отѣнкомъ лука и, для прикрытія, гвоздики. Всѣ черты его лица ободряли, внушали довѣріе всякому скверному предложенію : въ его сердцѣ оно нашло бы навѣрное отголосокъ и оцѣнку, а если выгодно, то и помощь. Это былъ первообразъ русскаго чиновника, міроѣда, подъячаго. Когда я его спросилъ — доволенъ ли онъ готовившимся освобожденіемъ крестьянъ ? — Онъ отвѣчалъ мнѣ :

— Какъ-же-съ, — безъ сомнѣнія — и, вздохнувши, прибавилъ : „Господи, что тяжбъ-то будетъ-съ, разбирательствъ ! а князь завезъ меня сюда, какъ на смѣхъ, пменно въ такое время“.

До пріѣзда Голицына онъ мнѣ съ видомъ задумчивости говорилъ : „Вы не вѣрьте, что вамъ о князѣ будутъ говорить на счетъ притѣсненія крестьянъ, или какъ онъ хотѣлъ ихъ безъ земли на волю выпустить за большой выкупъ. Все это враги распускаютъ. Ну, правда, люте онъ и щеголь ; но за то сердце доброе, и для крестьянъ отецъ былъ“.

Какъ только онъ поссорился, онъ, жалуясь на него, проклиналъ свою судьбу, и жалѣлъ, что довѣрлся такому прощальгѣ : „вѣдь онъ всю жизнь безпутничалъ

и крестьянъ раззорилъ; вѣдь это онъ теперь прикидывается при васъ такимъ, а то вѣдь звѣрь, грабитель“.....

—Когда же вы говорили неправду: теперь или тогда, когда вы его хвалили?—спросилъ я его улыбаясь.

Секретарь сконфузился, я повернулся и ушелъ. Родись этотъ человѣкъ не въ людской князей Голицыныхъ, не сыномъ какого нибудь земскаго, давно былъ бы, при его способностяхъ, министромъ, Валуевымъ, не знаю чѣмъ.

Черезъ часъ явился регентъ и его менторъ, съ запиской Голицына; онъ, извиняясь, просилъ меня, если могу, пріѣхать къ нему, чтобъ покончить эти дразги. Князь впередъ обѣщалъ принять безъ спора мое рѣшеніе.

Дѣлать было нечего; я отправился.

Все въ домѣ показывало необыкновенное волненіе. Французъ слуга, Пьеро, поспѣшно отворилъ мнѣ дверь и съ той торжественной суетливостью, съ которой провожаютъ доктора на консультацію къ умирающему, провелъ въ залу. Тамъ была вторая жена Голицына, встревоженная и раздраженная; самъ Голицынъ ходилъ огромными шагами по комнатѣ, безъ галстука, богатирская грудь на голо. Онъ былъ взбѣшенъ и оттого вдвое занялся; на всемъ лицѣ его было видно страданіе отъ внутри взошедшихъ, т. е. невышедшихъ въ дѣйствительный міръ, зуботычинъ, пиньковъ, треуховъ, которыми бы онъ отвѣчалъ нисургентамъ въ Тамбовской губерніи.

—Вы б—б—бога ради простите меня, что я в—васъ безпокою изъ-за этихъ м—м—мошенниковъ.

—Въ чемъ дѣло?

—Вы ужъ, п—пожалуйста, сами спросите; я только буду слушать.

Онъ позвалъ регента, и у насъ пошелъ слѣдующій разговоръ:

—Вы недовольны чѣмъ-то?

— Оченно недоволенъ, и оттого именно безпремѣнно хочу ѣхать въ Россію.

Князь, у котораго голосъ Лаблашевской силы, испустиль львиный стонъ: еще пять зуботычинъ возвращались къ сердцу.

— Князь васъ удержать не можетъ, такъ вы скажите чѣмъ недовольны-то вы?

— Всѣмъ-съ, Александръ Ивановичъ.

— Да вы ужъ говорите потолковитѣе.

— Какъ же чѣмъ-съ? я съ тѣхъ поръ какъ изъ Россіи пріѣхалъ съ ногъ сбитъ работой, а жалованья получилъ только два фунта, да третій разъ вечеромъ князь далъ больше въ подарокъ.

— А вы сколько должны получать?

— Этого я не могу сказать-съ...

— Есть же у васъ опредѣленный окладъ.

— Никакъ нѣтъ-съ. Князь, когда *изволимъ* бѣжать за границу (это безъ злаго умысла), сказали мнѣ: вотъ хочешь ѣхать со мной, я, молъ, устрою твою судьбу и, если мнѣ повезетъ, дамъ большое жалованье; а если нѣтъ, то и малымъ довольствуйся; ну, я такъ и поѣхалъ.

Это онъ изъ Тамбова-то въ Лондонъ поѣхалъ на такомъ условіи..... О Русь!

— Ну, а какъ по вашему, везетъ князю, или нѣтъ?

— Какой везетъ-съ! оно конечно можно бы все.....

— Это другой вопросъ. Если ему не везетъ, стало вы должны довольствоваться малымъ жалованьемъ.

— Да князь самъ говорилъ, что по моей службѣ, т. е. и способности, по здѣшнимъ деньгамъ, меньше нельзя, какъ фунта четыре въ мѣсяцъ.

— Князь, вы желаете заплатить ему по 4 ф. въ мѣсяцъ?

— Съ о—о—хотой-съ.

— Дѣло идетъ прекрасно, что же дальше?



— Князь-съ общалъ, что, если я захочу возвратиться, то пожалуетъ мнѣ на обратный путь до Петербурга.

Князь кивнулъ головой и прибавилъ: да, но въ томъ случаѣ, если я имъ буду доволенъ!

Чѣмъ же вы недовольны имъ?

Теперь плотину прорвало: князь вскочилъ. Трагическимъ басомъ, которому еще больше придавало вѣса дребезжаніе нѣкоторыхъ буквъ и маленькія паузы между согласными, произнесъ онъ слѣдующую рѣчь: мнѣ имъ быть д—довольнымъ, этимъ м—м—молокососомъ, этимъ щ—щенкомъ? Меня бѣситъ гнусная неблагодарность этого разбойника. Я его взялъ къ себѣ во дворъ пзъ самобѣднѣйшаго семейства крестьянъ, вилами заѣденнаго, босаго; училъ негодяя. Я изъ него сдѣлалъ ч—человѣка, музыканта, регента; голосъ канальѣ выработалъ такой, что въ Россіи въ сезонъ рублей возьметъ сто въ мѣсяцъ жалованья.

— Все это такъ, Юрій Николаевичъ, но я не могу раздѣлить вашего взгляда. Ни онъ, ни его семья васъ не просили дѣлать изъ него Ронкони; стало и особой благодарности съ его стороны вы не можете требовать. Вы его обучили, какъ учать соловьевъ, и хорошо сдѣлали; но тѣмъ и конецъ. Къ тому же это и къ дѣлу не идетъ.

— Вы правы, но я хотѣлъ сказать: каково мнѣ выносить это? вѣдь я его к—каналью.....

— Такъ вы согласны ему дать на дорогу?

— Чортъ съ нимъ, для васъ, только для васъ даю.

— Ну вотъ дѣло и слажено; а вы знаете, сколько на дорогу надобно?

— Говорятъ фунтовъ двадцать.

— Нѣтъ, этого много. Отсюда до Петербурга ста цѣлковыхъ за глаза довольно. Вы даете?

— Даю.

Я расчелъ на бумажѣ и передалъ Голицыну ; тотъ взглянулъ на итогъ... выходило, помнится, съ чѣмъ-то 30 фунтовъ. Онъ тутъ же мнѣ ихъ и вручилъ.

— Вы, разумѣется, грамотѣ знаете, спросилъ я регента.

— Какъ же-съ.

— Я написалъ ему росписку въ такомъ родѣ : „Я получилъ съ кн. Ю. Н. Голицына должныя мнѣ за жалованье и на проѣздъ изъ Лондона въ Петербургъ тридцать съ чѣмъ-то фунтовъ (на русскіе деньги столько-то). Затѣмъ остаюсь доволенъ и никакихъ другихъ требованій на него не имѣю“.

— Прочтите сами и подпишитесь.

Регентъ прочелъ, но не дѣлалъ никакихъ приготовленій, чтобъ подписаться.

— Зачѣмъ дѣло ?

— Не могу-съ.

— Какъ не можете ?

— Я недоволенъ.

Львинный, сдержанный ревъ, да ужъ и я самъ готовъ былъ прикрикнуть : что за дьявольщина, вы сами сказали, въ чемъ ваше требованіе. Князь заплатилъ все до копѣйки ; чѣмъ же вы недовольны ?

— Помилуйте-съ ; а сколько нужды я натерѣлся съ тѣхъ поръ какъ здѣсь.

Ясно было, что легкость, съ которой онъ получилъ деньги, разлакомила его.

— Напримѣръ-съ, мнѣ слѣдуетъ еще за переписку ноть.

— Врешь ! закричалъ Голицынъ такъ, какъ и Лабашъ никогда не кричалъ ; робко отвѣтили ему своимъ эхо рояли ; блѣдная голова Пико показалась въ щель и исчезла съ быстротой испуганной ащерицы.....

— Развѣ переписываніе нотъ не входило въ прямую твою обязанность? да и что же бы ты дѣлалъ все время, когда концертовъ не было?

Князь былъ правъ, хотя и не нужно было пугать Пяко гласомъ контрбомбардоннымъ.

Регентъ, привыкнувшій ко всякимъ звукамъ, не сдался и, оставя въ сторонѣ переписываніе нотъ, обратился ко мнѣ съ слѣдующей нелѣпностью: Да вотъ еще и на счетъ одежды, я совсѣмъ обносился.

— Да неужели, давая вамъ въ годъ около 50 фунтовъ жалованья, Юрій Николаевичъ еще обязался одѣвать васъ.

— Нѣтъ-съ; но прежде князь все иногда давали, а теперь, стыдно сказать, до того дошелъ, что безъ носковъ хожу.

— Я самъ хожу безъ н—н—носковъ, прогремѣлъ князь и, сложа на груди руки, гордо и съ презрѣніемъ смотрѣлъ на регента. Этой выходки я никакъ не ожидалъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ ему въ глаза. Но, видя, что онъ собирается продолжать, я очень серьезно со-колу-пѣвцу сказалъ: — „Вы приходили ко мнѣ сегодня утромъ просить меня въ посредники: стало вы вѣрили мнѣ?“

— Мы васъ очень довольно знаемъ, въ васъ мы нисколько не сомнѣваемся, вы ужъ въ обиду не дадите.

— Прекрасно, ну такъ я вотъ какъ рѣшаю дѣло: подписывайте сейчасъ бумагу, или отдайте деньги; а ихъ передамъ князю и съ тѣмъ вмѣстѣ отказываюсь отъ всякаго вмѣшательства.

Регентъ не захотѣлъ вручить бумажникъ князю, подписалъ и поблагодарилъ меня.

Избавляю отъ разсказа, какъ онъ переводилъ счетъ на цѣлевые; я ему никакъ не могъ вдолбить, что по

курсу цѣлковый стоитъ теперь не то, что стоитъ тогда, когда онъ выѣзжалъ изъ Россіи.

— Если вы думаете, что я васъ хочу надуть фунта на полтора, такъ вы вотъ что сдѣлайте : сходите къ нашему попу, да и попросите вамъ сдѣлать расчетъ. Онъ согласился.

Казалось все кончено, и грудь Голицына не такъ грозно и бурно вздымалась ; но судьба хотѣла, чтобъ и финалъ такъ же бы напомнилъ родину, какъ начало.

Регентъ помаялся, помаялся, и вдругъ, какъ будто между ними ничего не было, обратился къ Голицыну со словами : — „ Ваше Сіятельство, такъ какъ пароходъ изъ Гуля-съ идетъ только черезъ пять дней, явите милость—позвольте остаться покамѣсть у васъ “. Задастъ ему, подумалъ я, мой Лаблашъ, самоотвержимо приготавлиаясь къ боли отъ шума.

— Разумѣется, оставайся. Куда ты къ чорту пойдешь.

Регентъ разблагодарилъ князя и ушелъ.

Голицынъ въ видѣ поясненія сказалъ мнѣ : „ Вѣдь онъ предобрый малый ; это его этотъ мошенникъ, этотъ в—воръ, этотъ поганый Юсь подбилъ “.

Поди тутъ Савиньи и Миттермейеръ, пусть схватятъ формулами и обобщать въ нормы юридическія понятія, развившіяся въ православномъ отечествѣ нашемъ между конюшней, въ которой драли дворовыхъ, и бариновымъ кабинетомъ, въ которомъ обирали мужиковъ.

Вторая *cause céleste*, именно съ Юсомъ, не удалась. Голицынъ вышелъ и вдругъ такъ закричалъ, и секретарь такъ закричалъ, что оставалось за тѣмъ катать другъ друга „подъ никитки“ ; причемъ князь, конечно, зашибъ бы гуняваго подъячаго. Но какъ все въ этомъ домѣ совершалось по законамъ особой логики, то подрался не князь съ секретаремъ, а секретарь съ дверью.

Набравшись злобы и освѣжившись еще швалякомъ джинну, онъ, выходя, треснулъ кулакомъ въ большое стекло, вставленное въ дверь, и *расшибъ* его.

Полицію! — кричалъ Голицынъ — разбой, полицію, и вошедши въ залу, бросился изнеможенный на диванъ. Когда онъ немного отошелъ, онъ пояснилъ мнѣ, между прочимъ, въ чемъ состоитъ *неблагодарность* секретаря. Человѣкъ тотъ былъ повѣреннымъ у его брата и, не помню, смошенничалъ что-то, и долженъ былъ непременно идти подъ судъ. Голицыну стало жаль его; онъ до того вошелъ въ его положеніе, что заложилъ послѣдніе часы, чтобъ выкупить его изъ бѣды. И потомъ, имѣя полныя доказательства, что онъ плутъ, взялъ его къ себѣ управляющимъ!

Что онъ на всякомъ шагу надувалъ Голицына, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Я уѣхалъ. Человѣкъ, который могъ кулакомъ пробить зеркальное стекло, можетъ самъ себѣ найти судъ и расправу. Къ тому же онъ мнѣ рассказывалъ потомъ, прося меня достать ему паспортъ, чтобъ ѣхать въ Россію, что онъ гордо предложилъ Голицыну пистолетъ и жребій — кому стрѣлять.

Если это было, то пистолетъ навѣрное не былъ заряженъ.

Послѣднія деньги князя пошли на усмиреніе Спартакоскаго возстанія, и онъ все таки наконецъ попалъ, какъ и слѣдовало ожидать, въ тюрьму за долги. Другаго посадили бы — и дѣло въ шляпѣ; съ Голицынымъ и это не могло сойти просто съ рукъ.

Полисменъ привозилъ его ежедневно въ Cremor Garden, часу въ восьмомъ; тамъ онъ дирижировалъ, для удовольствія лоретокъ всего Лондона, концертъ, и съ послѣднимъ взмахомъ скипетра изъ слоновой кости, не-

замѣтный полицейскій выростать изъ подъ земли и не покидалъ князя до кѣба, который везъ узника въ черномъ фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ въ тюрьму. Прощаясь со мной въ саду, у него были слезы на глазахъ. Бѣдный князь! другой смѣялся бы надъ этимъ, но онъ бралъ къ сердцу свое въ неволѣ заключеніе. Родные какъ-то выкупили его; потомъ правительство позволило ему возвратиться въ Россію и отправило его сначала на житье въ Ярославль, гдѣ онъ могъ дирижировать духовные концерты вмѣстѣ съ Фелинскимъ, варшавскимъ архіереемъ. Правительство добрѣе его отца: третій калачъ не меньше сына, онъ ему совѣтовалъ *идти въ монастырь*. Хорошо зналъ сына отецъ; а вѣдь самъ былъ до того музыкантъ, что Бетховенъ посвятилъ ему одну изъ симфоній.

За пышной фигурой ассирійскаго бога, тучнаго аполлона-вола, не должно забывать рядъ другихъ русскихъ странностей.

Я не говорю о мелькающихъ тѣняхъ, какъ „колонель Рюссъ“, но о тѣхъ, которые, причащенные судьбой и разными превратностями, приостанавливались на долго въ Лондонѣ, въ родѣ того чиновника военного комендантства, который, запутавшись въ дѣлахъ и долгахъ, бросился въ Неву, утонулъ..... и всплылъ въ Лондонѣ *изманникомъ*, въ шубѣ и мѣховомъ картузѣ, которыхъ не покидалъ, не смотря на сырую теплоту лондонской зимы.

Въ родѣ моего друга Ивана Ивановича С., который весь, цѣликомъ, съ своими антецедентами и будущностью, съ какой-то мездрой вмѣсто волосъ на головѣ, такъ и просится въ мою галерею рѣдкостей.

Лейбъ-гвардіи павловскаго полка офицеръ въ отставкѣ, онъ жилъ себѣ да жилъ въ странахъ заморскихъ и дожилъ до Февральской революціи; тутъ онъ

испугался и сталъ на себя смотрѣть, какъ на преступника ; не то чтобъ его мучила совѣсть, но мучила мысль о жандармахъ, которые его встрѣтятъ на границѣ, казематахъ, тройкѣ, сибѣ, и рѣшился отложить возвращеніе. Вдругъ вѣсть о томъ, что его брата взяли по дѣлу Шевченка. Ему стало въ самомъ дѣлѣ нѣсколько опасно, и онъ тотчасъ рѣшился ѣхать. Въ это время я съ нимъ познакомился въ Ниццѣ. Отправился С., купивши на дорогу крошечную стѣляночку яду, которую, переѣзжая границу, хотѣлъ какъ-то укрѣпить въ душлѣ пустаго зуба и раскусить въ случаѣ ареста.

По мѣрѣ приближенія къ родинѣ, страхъ все возрасталъ, и въ Берлинѣ дошелъ до удушающей боли, однако С. переломилъ себя и сѣлъ въ вагонъ. Станцій на пять его стало ; далѣе онъ не могъ. Машина брала воду, онъ подъ совершенно другимъ предлогомъ вышелъ изъ вагона. Машина свиснула, поѣздъ двинулся безъ С.; того-то ему и было надо. Оставивъ чемоданъ свой на произволъ судьбы, онъ съ первымъ обратнымъ поѣздомъ возвратился въ Берлинъ. Оттуда телеграфировалъ о чемоданѣ и пошелъ визировать свой пассъ въ Гамбургъ. „Вчера ѣхали въ Россію, сегодня въ Гамбургъ“, замѣтилъ полицейскій, вовсе не отказывая въ визѣ. Перепуганный С. сказалъ ему : „Письма я получилъ, письма“, и, вѣроятно, у него былъ такой видъ, что со стороны прусскаго чиновника просто упущеніе по службѣ, что онъ его не арестовалъ. За тѣмъ С., спасаясь никѣмъ не преслѣдуемый, какъ Людвигъ Филиппъ, пріѣхалъ въ Лондонъ. Въ Лондонѣ для него началась, какъ для тысячи и тысячи другихъ, тяжелая жизнь ; онъ годы честно и твердо боролся съ нуждой. Но и ему судьба опредѣлила комическій бортикъ ко всѣмъ трагическимъ событіямъ. Онъ рѣшился давать уроки

математики, черчения и даже французского языка (*для англичанъ*). Посовѣтовавшись съ тѣмъ и другимъ, онъ увидѣлъ, что безъ объявленія или карточекъ не обойдется. „Но вотъ бѣда: какъ взглянуть на это русское правительство. Думалъ я, думалъ, да и напечаталъ *анонимныя карточки*“.

Долго я не могъ нарадоваться на это великое изобрѣтеніе: мнѣ въ голову не приходила возможность визитной карточки безъ имени.

Со своими анонимными карточками, съ большой настойчивостью (онъ жила въ дни цѣлые картофелемъ и хлѣбомъ), онъ сдвинулъ таки свою барку съ мели, сталъ заниматься торговымъ комисіонерствомъ, и дѣла его пошли успѣшно.

И это именно въ то время, когда дѣла другаго лейбъ-гвардіи павловскаго офицера пошли отвратительно; разбитый, обокраденный, обманутый, одураченный шефъ павловскаго полка отошелъ въ вѣчность. Пошли льготы, амнистія; захотѣлось и С. воспользоваться царскими милостями, и вотъ онъ пишетъ въ Брунову письмо и спрашиваетъ, подходитъ ли онъ подъ амнистію? Черезъ мѣсяцъ времени приглашаютъ С. въ посольство. Дѣло-то, — думалъ онъ — не такъ просто, мѣсяцъ думали.

— Мы получили отвѣтъ, — говоритъ ему старшій секретарь — Вы нехотя поставили министерство въ затрудненіе; ничего объ васъ нѣтъ. Оно сносилось съ министромъ ввутреннихъ дѣлъ, и у него не могутъ найти никакого дѣла объ васъ. Скажите намъ просто, что съ вами было, не можетъ же быть ничего важнаго.

— Да въ 1849 г. мой братъ былъ арестованъ и потомъ сосланъ.

— Ну?

— Больше ничего.



Нѣтъ, — подумалъ Николай, шалить — и сказалъ С., что, если такъ, то министерство снова наведетъ справки. Прошло мѣсяца два. Я воображаю, что было въ эти два мѣсяца въ Петербургѣ : отношенія, сообщенія, конфиденціальные справки, секретные запросы изъ министерства въ III отдѣленіе, изъ III отдѣленія въ министерство, справки X... генераль-губернатора... выговоры, замѣченія,... а дѣла о С. найти не могли.

Такъ министерство и сообщило въ Лондонъ.

Посылаетъ за С. самъ Бруновъ. — Вотъ — говорить — смотрите отвѣтъ : нигдѣ, ничего объ васъ. Скажите, по какому вы дѣлу замѣшаны ?

— Мой братъ...

— Все это я слышалъ, да вы-то сами по какому дѣлу ?

— Больше ничего не было.

Бруновъ, отъ рожденія ничему не удивлявшійся, удивился.

— Такъ отчего же вы просите прощенія, когда вы ничего не сдѣлали ?

— Я думалъ, что все же лучше.

— Стало просто на просто, вамъ не амнистія нужна, а паспортъ.

И Бруновъ велѣлъ выдать пассъ.

На радостяхъ С. прискакалъ къ намъ.

Разсказавъ подробно всю исторію о томъ, какъ онъ добился амнистіи, онъ взялъ Огарева подъ руку и увелъ въ садъ. „Дайте мнѣ бога ради совѣтъ, — сказалъ онъ ему — Александръ Ивановичъ все смѣется надо мной, такой ужъ нравъ у него ; но у васъ сердце доброе. Скажите мнѣ откровенно : думаете вы, что я могу безопасно ѣхать Вѣной ? “

Огаревъ не поддержалъ добраго мнѣнія и расхохотался. Да что Огаревъ, я воображаю какъ Бруновъ и

Николай минуты на двѣ расправили морщины отъ тяжелыхъ государственныхъ заботъ и осклабились, когда амнистированный С. вышелъ изъ кабинета.

Но при всѣхъ своихъ оригинальностяхъ, С. былъ честный человекъ. Другіе русскіе, неизвѣстно откуда всплывавшіе, бродившіе мѣсяцъ, другой по Лондону, являвшіеся къ намъ съ собственными рекомендательными письмами и исчезавшіе неизвѣстно куда, были далеко не такъ безопасны.

Печальное дѣло, о которомъ я хочу рассказать, было лѣтомъ 1862. Реакція была тогда въ инкубаци и изъ внутренняго, скрытаго гніенія еще не выходила наружу. Никто не боялся къ намъ ѣздить; никто не боялся брать съ собой *Колоколъ* и другія наши изданія; многіе хвастались, какъ они мастерски провозятъ. Когда мы совѣтовали быть осторожными, надъ нами смѣялись. Писемъ мы почти никогда не писали въ Россію: старымъ знакомымъ намъ нечего было сказать, мы съ ними стояли все дальше и дальше, съ новыми незнакомцами мы переписывались черезъ *Колоколъ*.

Весной возвратился изъ Москвы и Петербурга Кельсиевъ. Его поѣздка, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ самымъ замѣчательнымъ эпизодамъ того времени. Человекъ, ходившій мимо носа полиціи, едва скрывавшійся, бывавшій на раскольничьихъ бесѣдахъ и товарищескихъ попойкахъ, съ глупѣйшимъ турецкимъ пассомъ въ карманѣ, и возвратившійся *saïn et sauf* въ Лондонъ, немного закусилъ удила. Онъ вздумалъ сдѣлать пирушку въ нашу честь въ день пятилѣтія *Колокола*, по подпискѣ, въ ресторанѣ Кюна. Я просилъ его отложить праздникъ до другаго, больше веселаго времени. Онъ не хотѣлъ. Праздникъ не удался, не было *entrain* и не могло быть. Въ числѣ участниковъ были люди слишкомъ посторонніе.

Говоря о томъ и семъ, между тостами и анекдотами, говорили, какъ о самопростѣйшей вещи, что пріятель Кельсіева, Вѣтошниковъ, ѣдетъ въ Петербургъ и готовъ съ собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многіе сказали, что будутъ въ воскресенье у насъ. Собралась дѣйствительно цѣлая толпа, въ числѣ которой были очень мало знакомые намъ люди и, по несчастію, самъ Вѣтошниковъ; онъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ, что завтра утромъ ѣдетъ, спрашивая меня — нѣтъ-ли писемъ, порученій. Бакунинъ ему уже далъ два-три письма. Огаревъ пошелъ къ себѣ внизъ и написалъ нѣсколько словъ дружескаго привѣта Николаю Серно-Соловьевичу; съ нимъ я приписалъ поклонъ и просилъ его обратить вниманіе Чернышевскаго (къ которому я никогда не писалъ) на наше предложеніе въ *Колоколъ* печатать на свой счетъ *Современникъ* въ Лондонѣ. Гости стали расходиться часовъ около 12; двое-трое оставались. Вѣтошниковъ вошелъ въ мой кабинетъ и взялъ письмо. Очень можетъ быть, что и это осталось бы незамѣченнымъ. Но вотъ что случилось. Чтобъ отблагодарить участниковъ обѣда, я просилъ ихъ принять на память отъ меня по выбору что нибудь изъ нашихъ изданій, или большую фотографію мою. Левъ Вѣтошниковъ взялъ фотографію; я ему совѣтовалъ обрѣзать края и свернуть въ трубочку; онъ не хотѣлъ и говорилъ, что положить ее на дно чемодана, а потому завернулъ ее въ листъ „Теймса“ и такъ отправился. Этого нельзя было не замѣтить. Прощаясь съ нимъ съ послѣднимъ, я спокойно отправился спать, — такъ иногда сильно бываетъ ослѣпление — и, ужъ конечно, не думалъ, какъ дорого обойдется эта минута и сколько ночей безъ сна она принесетъ мнѣ. Все вмѣстѣ было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени. Можно было остановить

Вѣтошникова до вторника, отправить въ субботу ; зачѣмъ онъ не приходилъ утромъ?... да и вообще зачѣмъ онъ приходилъ самъ?... да и зачѣмъ мы писали?.....

Говорятъ, что одинъ изъ гостей телеграфировалъ тотчасъ въ Петербургъ.

Вѣтошникова схватили на пароходѣ ; остальное извѣстно.

Въ заключеніе этого печальнаго сказанья, скажу о человѣкѣ, вскользь упомянутомъ мною, и котораго пройти мимо не слѣдуетъ. Я говорю о Кельсievѣ.




## ЗА КУЛИСАМИ

(1863—1864)

Мы остались одни, безъ вѣры, прислушиваясь къ дальнимъ раскатамъ выстрѣловъ, къ дальнему стону раненныхъ. Въ первыхъ числахъ Апрѣля пришла вѣсть о томъ, что **Потебня** убитъ въ сраженіи у Песковой скалы. Въ маѣ былъ разстрѣлянъ **Падлевскій** въ Плоцкѣ. А тамъ и пошло, и пошло.

Трудное, невыносимо трудное время! И ко всему печальному, быть невольнымъ зрителемъ людской тупости, безтолковости, проклятаго очертя голову, губящихъ всѣ силы около себя.



## В. И. КЕЛЬСІЕВЪ

---

Имя В. Кельсіева приобрѣло въ послѣднее время печальную извѣстность: быстрота внутренней и скорость внѣшней перемѣны, удачность раскаянія, неотлагаемая потребность всенародной исповѣди и ея странная усѣченность, безтактность разсказа, неумѣстная смѣшливость рядомъ съ неприличной въ кающемся и прощенномъ развязностью; все это, при непривычѣ нашего общества къ крутымъ и гласнымъ превращеніямъ, вооружило противъ него лучшую часть нашей журналистики. Кельсіеву хотѣлось во что бы то ни стало—занимать собою публику; онъ и накопился на видное мѣсто мишенью, въ которую каждый бросаетъ камень не жалѣя. Я далекъ отъ того, чтобъ порицать нетерпимость, которую показала въ этомъ случаѣ наша дремлющая литература. Негодованіе это свидѣтельствуетъ о томъ, что много свѣтлыхъ, неспорченныхъ силъ уцѣлѣли у насъ, не смотря на черную полосу нравственной неурядицы и безнравственного слова. Негодованіе, опрокинувшееся на Кельсіева, то самое, которое нѣкогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворенія и отвернулось отъ Гоголя за его „переписку съ друзьями“.

Бросать въ Кельсіева камень лишнее, въ него и такъ брошена цѣлая мостовая. Я хочу передать другимъ и напомнить ему, какимъ онъ явился къ намъ въ Лондонъ и какимъ уѣхалъ во второй разъ въ Турцію.

Пусть онъ сравнитъ самыя тяжелыя минуты тогдашней жизни съ лучшими своей теперешней карьеры.

Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемпсихозы и метаморфозы. Я въ нихъ ничего не измѣнилъ и добавилъ только отрывки изъ писемъ. Въ моемъ бѣгломъ очеркѣ Кельсіевъ представленъ такъ, какъ онъ остался въ памяти до его появленія на лодкѣ въ скулянскую таможену, въ качествѣ запрещеннаго товара, просящаго конфискаціи и поступленія съ нимъ по законамъ.

Въ 1859 году получилъ я первое письмо отъ него.

Письмо отъ Кельсіева было изъ Плимута. Онъ туда приплылъ на пароходѣ Сѣверо-Американской компаніи и отправлялся куда-то въ Ситху или Уполамай на службу. Погостивши въ Плимутѣ, ему расхотѣлось ѣхать на Алеутскіе острова и онъ писалъ ко мнѣ, спрашивая можно ли ему найти пропитаніе въ Лондонѣ. Онъ успѣлъ уже въ Плимутѣ познакомиться съ какими-то теологами и сообщалъ мнѣ, что они обратили его вниманіе на замѣчательныя истолкованія пророчествъ. Я предостерегъ его отъ клерджименовъ и звалъ въ Лондонъ, „если онъ дѣйствительно хочетъ работать“. Недѣли черезъ двѣ онъ явился. Молодой, довольно высокій, худой, болѣзненный, съ четверугольнымъ черепомъ, съ шапкой волосъ на головѣ, онъ мнѣ напоминалъ, — не волосами — (тотъ былъ плѣшивъ), а всѣмъ существомъ своимъ Энгельсона, и дѣйствительно, онъ очень многимъ былъ похожъ на него. Съ перваго взгляда можно было замѣтить много неустроеннаго и неустоявшагося, — но ничего

пошлаго. Видно было, что онъ вышелъ на волю изъ всѣхъ опеки и крѣпостей, но еще не приписался ни къ какому дѣлу и обществу: цѣли не имѣлъ. Онъ былъ гораздо моложе Энгельсона, не все же принадлежалъ къ позднѣйшей шеренгѣ Петрашевцевъ и имѣлъ часть ихъ достоинствъ и всѣ недостатки, учился всему на свѣтѣ и ничему не научился до тла, читалъ всякую всячину и надо всѣмъ ломалъ довольно бесплодно голову. Отъ постоянной критики всего общепринятаго Кельсievъ раскачалъ въ себѣ всѣ нравственные понятія и не приобрѣлъ никакой нити поведенія.

Особенно оригинально было то, что въ скептическомъ оцѣнѣ Кельсiева сохранилась какая-то примѣсь мистическихъ фантазій: онъ былъ нигилистъ съ религиозными приемами, нигилистъ въ дьяконовскомъ стихарѣ. Церковный отпѣнокъ, нарѣчіе и образность остались у него въ формѣ, въ языкѣ, въ слогѣ (\*), и придавали всей его жизни особый характеръ и особое единство, основанное на спайкѣ противоположныхъ металловъ.

У Кельсiева шелъ тотъ знакомый намъ переборъ, который дѣлаетъ почти всегда въ самомъ дѣлѣ проснувшійся русскій внутри себя и о которомъ вовсе не думаетъ за недосугомъ и заботами западный человѣкъ, втянутый своими спеціальностями въ другія дѣла; старшіе братья наши не провѣряютъ задовъ, и отъ того у нихъ смѣняются поколѣнія, строя и разрушая, награждая и наказуя, надѣвая вѣнки и кандалы, твердо увѣренны, что такъ и надобно, что они дѣлаютъ дѣло. Кельсievъ, напротивъ, сомнѣвался во всемъ и не при-

(\*) Петрашевцами заключаются у насъ сильно занимавшіеся юноши; ихъ можно назвать послѣднимъ классомъ нашего учебнаго историческаго развитія.



нималъ на слово ни добро—добра, ни зло—зла. Кобенящійся духъ этотъ, отрѣшающійся отъ впередъ идущей нравственности и готовыхъ истинъ, накупѣлъ всего больше въ мі-сѣтѣ нашего николаевского поста и рѣзко сталъ высказываться, когда гиря, давившая наши мозги, приподнялась на одну линію. На этотъ полный жизни и отваги анализъ и накинута богъ вѣсть что хранящая консервативная литература, а за ней и правительство.

Во время нашего пробужденія, подъ звуки сева-польскихъ пушекъ, съ чужихъ словъ, многіе изъ нашихъ умниковъ пошли повторять, что западный консерватизмъ у насъ фактъ правильный, что насъ на скоро подогнали къ европейскому образованію не для того, чтобъ дѣлиться съ нимъ наслѣдственными болѣзнями и застарѣлыми предрасудками, а для „сравненія съ старшими“, для того, чтобъ была возможность съ ними идти равнымъ шагомъ впередъ. Но какъ только мы видимъ на самомъ дѣлѣ, что у проснувшейся мысли, что у возмужалаго слова нѣтъ ничего твердаго, „ничего святаго“, а есть вопросы и задачи, что мысль ищетъ, что слово отрицаетъ, что дурное раскачивается вмѣстѣ съ „завѣдомо“ хорошимъ и что духъ пытання и сомнѣнія влечетъ все, — все безъ разбора — въ пропасть лишенную перилъ, тогда крикъ ужаса и изступленія вырывается изъ груди, и пассажиры первыхъ классовъ закрываютъ глаза, чтобъ не видать какъ вагоны сорвутся съ рельсовъ, а кондукторы тормозятъ и останавливаютъ всякое движеніе.

Разумѣется, бояться причины нѣтъ: возникающая сила слишкомъ слаба, чтобъ матеріально сдвинуть шестидесяти милліонный поѣздъ съ рельсовъ. Но въ ней была программа, можетъ быть пророчество.

Кельсіевъ развился подъ первымъ вліяніемъ времени,

о которомъ мы говорили. Онъ далеко не ослѣлся, не дошелъ ни до какого центра тяжести, но онъ былъ въ полной ликвидаціи всего нравственнаго имущества. Отъ стараго онъ отрѣшился, твердое распустилъ, берегъ оттолкнулъ, и, очертя голову, пустился въ широкое море. Равно подозрительно и съ недовѣріемъ относился онъ къ вѣрѣ и къ невѣрію, къ русскимъ порядкамъ и къ порядкамъ западнымъ.

Одно, что пустило корни въ его груди, было сознаніе страстное и глубокое экономической неправды современнаго государственнаго строя, и въ силу этого, ненависть къ нему и темное стремленіе къ социальнымъ теоріямъ, въ которыхъ онъ видѣлъ выходъ.

На это сознаніе неправды и на эту ненависть, сверхъ пониманья, онъ имѣлъ неотъемлемое право.

Въ Лондонѣ онъ поселился въ одной изъ отдаленнѣйшихъ частей города, въ глухомъ переулкѣ Фулама, населенномъ матовыми, подернутыми чѣмъ-то пепельнымъ, ирландцами и всякими исхудалыми работниками. Въ этихъ сырыхъ каменныхъ коридорахъ безъ крыши страшно тихо, звуковъ почти нѣтъ никакихъ, ни свѣта, ни цвѣта: люди, плошки, дома, все полиняло и осунулось; дымъ и сажа обвели всѣ линіи траурнымъ ободкомъ. По нимъ не трещать телѣжки лавочниковъ, развозящихъ съѣстные припасы, не ѣздить извозицы кареты, не кричатъ разношники, не лаютъ собаки, (последнимъ рѣшительно нечѣмъ питаться); изрѣдка только выходитъ какаянибудь худая взъерошенная и покрытая углемъ кошка, проберется по крышѣ и подойдетъ къ трубѣ погрѣться, выгибая спину и обличая видомъ, что внутри дома она передрогла.

Когда я въ первый разъ посѣтилъ Кельсіева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина,

худая, лимфатическая, съ заплаканными глазами, сидѣла у тюфяка, посланнаго на полу, на которомъ весь въ лихорадкѣ и жарѣ метался, страдалъ, умиралъ ребенокъ, года или полутора.

Я посмотрѣлъ на его лицо и вспомнилъ предсмертныя черты другаго ребенка, это было *тоже* выраженіе. Черезъ нѣсколько дней онъ умеръ, другой родился.

Бѣдность была всесовершеннѣйшая. Молодая, тщедушная женщина, или лучше, замужня дѣвочка, выносила ее геройски и съ необычайной простотой.

Думать нельзя было, глядя на ея болѣзненную, золотушную, слабую наружность, что за мощь, что за сила преданности обитала въ этомъ хиломъ тѣлѣ. Она могла служить горькимъ урокомъ нашимъ записнымъ романистамъ. Она была, хотѣла быть тѣмъ, что впоследствии называли *нигилисткой*, странно чесала волосы, небрежно одѣвалась, много курила, не боялась ни смѣлыхъ мыслей, ни смѣлыхъ словъ; она не умилялась передъ семейными добродѣтелями, не говорила о священномъ долгѣ, о сладости жертвы, которую совершаетъ ежедневно, и о легкости креста, давившаго ея молодые плечи. Она не кокетничала своей борьбой съ нуждой и дѣлала все: шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердымъ товарищемъ была она мужу и великой страдальцей сложила голову свою на дальнемъ востокѣ, слѣдуя за блуждающимъ, безпоясаннымъ бѣгомъ своего мужа и потерявъ рядомъ двухъ послѣднихъ малютокъ.

Поборолся я сначала съ Кельсіевымъ, старался его убѣдить, чтобъ онъ не отрѣзывалъ себѣ съ самаго начала, не извѣдавши жизни изгнанника, пути еѣ возвращенію.

Я ему говорилъ, что надобно прежде узнать нужду

на чужбинѣ, нужду въ Англіи, особенно въ Лондонѣ; я ему говорилъ, что въ Россіи теперь дорога всякая сила.

— Что вы будете здѣсь дѣлать? спрашивалъ я его. Кельсіевъ собирался всему учиться и обо всемъ писать; нуще всего хотѣлъ онъ писать о женскомъ вопросѣ, о семейномъ устройствѣ.

— Пишите прежде—говорилъ я ему—объ освобожденіи крестьянъ съ земель. Это первый вопросъ, стоящій на дорогѣ. Но симпатіи Кельсіева были не туда обращены. Онъ дѣйствительно принесъ мнѣ статью о женскомъ вопросѣ. Она была безмѣрно плоха. Кельсіевъ посердился, что я ее не напечаталъ, и самъ благодарилъ меня за это, года два спустя.

Возвращаться онъ не хотѣлъ. Во чтобъ ни стало надобно было найти ему работу. За это мы и принялись. Теологическія эксцентричности его намъ помогли. Мы доставили ему корректуру Св. Писанія, издаваемого по русски лондонскимъ библейскимъ обществомъ, затѣмъ передали ему кипу бумагъ, полученныхъ нами въ разное время, по части старообрядцевъ. За изданіе ихъ и приведеніе въ порядокъ Кельсіевъ принялся со страстью. То, о чемъ онъ догадывался и мечталъ, то раскрывалось передъ нимъ фактически: грубо наивный социализмъ въ евангельской ризѣ сквозилъ ему въ расколѣ. Это было лучшее время въ жизни Кельсіева, онъ съ увлеченіемъ работалъ и прибѣгалъ иногда вечеромъ ко мнѣ указать какую нибудь социальную мысль духоборцевъ, молоканъ, какое нибудь коммунистическое ученіе едосѣвцевъ; онъ былъ въ восторгѣ отъ ихъ скитанія по лѣсамъ, ставилъ идеаломъ своей жизни скитаться между ними и сдѣлаться учителемъ социально-христианскаго раскола въ Бѣлорусіи или Россіи.

И дѣйствительно, Кельсіевъ былъ въ душѣ „бѣгуномъ“, бѣгуномъ нравственнымъ и практическимъ: его мучили неустоявшіяся мысли, тоска. На одномъ мѣстѣ онъ оставаться не могъ. Онъ нашель работу, занятіе, безбѣдное пропитаніе, но не нашель дѣла, которое бы поглотило совсѣмъ его безпокойный темпераментъ; онъ былъ готовъ искать его, готовъ былъ не только итти всюду, но поступить въ монахи, принявъ священство безъ вѣры.

Настоящій русскій человѣкъ, Кельсіевъ всякій мѣсяцъ дѣлалъ новую программу занятій, придумывалъ проэекты и брался за новую работу, не кончивъ старой. Работалъ онъ запоемъ и запоемъ ничего не дѣлалъ. Онъ схватывалъ вещи легко, но тотчасъ удовлетворялся до пресыщенія, изъ всего тянулъ онъ съ разу жилы до послѣдняго вывода, а иногда и подальше.

Сборникъ о раскольникахъ шель успѣшно; онъ издалъ *шесть* частей, быстро расхвалившихся. Правительство, видя это, позволило обнародованіе свѣденій о старообрядцахъ. Тоже случилось съ переводомъ библіи. Переводъ съ Еврейскаго не удался. Кельсіевъ попробовалъ сдѣлать *un tour de force* и перевести „слово въ слово“, не смотря на то, что грамматическія формы семитическихъ языковъ вовсе не совпадаютъ съ славянскими. Тѣмъ не меньше, выпущенные ливрезоны разошлись мгновенно, и святѣйшій синодъ, испугавшись заграничнаго изданія, *благословилъ* печатаніе стараго завѣта на рускомъ языкѣ. Эти обратныя побѣды никогда никѣмъ не были поставлены въ *crédit* нашего станка.

Въ концѣ 1862 Кельсіевъ отправился въ Москву съ цѣлью завести прочныя связи съ раскольниками. Поездку эту онъ когда нибудь долженъ самъ разсказать.

Она невѣроятна, невозможна, а на дѣлѣ дѣйствительно была. Въ этой поѣздѣ отвага граничитъ съ безуміемъ; въ ней опрометчивость почти преступная, но уже конечно не я буду его винить въ ней. Неосторожная болтовня за границей могла сдѣлать много бѣдъ. Но къ дѣлу и оцѣнкѣ самой поѣздки это не идетъ.

Возвратясь въ Лондонъ, онъ принялся по требованію Трюбнера за составленіе русской грамматики для англичанъ и за переводъ какой-то финансовой книги. Ни того, ни другаго онъ не кончилъ: путешествіе стугило его Sitzfleisch. Онъ тяготился работой, впадалъ въ ипохондрію, унывалъ; а работа была нужна, денегъ опять не было ни гроша. Къ тому же и новый червь начиналъ точить его. Успѣхъ поѣздки, безспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, побѣда надъ опасностями, все это раздуло въ его груди и безъ того сильную струю самолюбія; обратно Цезарю, Донъ-Карлосу и Вадиму Пассекъ, Кельсіевъ, запуская руки въ свои густые волосы, говорилъ, покачивая грустно головой: „Еще нѣтъ тридцати лѣтъ, и уже такая отвѣтственность взята мною на плечи“. Изъ всего этого легко можно было понять, что грамматики онъ не кончитъ, а уйдетъ. Онъ и ушелъ. Ушелъ онъ въ Турцію, съ твердымъ намѣреніемъ еще больше сблизиться съ раскольниками, составить новыя связи и, если возможно, остаться тамъ и начать проповѣдь вольной церкви и общиннаго житія. Я писалъ ему длинное письмо, убѣждая его не ѣздить, а продолжать работу. Но страсть къ скитанію, желаніе подвига и великой судьбы, мерещившейся ему, были сильнѣе, и онъ уѣхалъ. Онъ и Мартыановъ исчезаютъ почти въ одно время. Одинъ, чтобъ, послѣ ряда несчастій и испытаній, хоронить своихъ и потеряться между Яссами и Галацомъ; другой, чтобъ скоронить себя на

каторжной работѣ, куда его сослала неслыханная тупость царя и неслыханная злоба мстящихъ помѣщиковъ-сенаторовъ.

Послѣ нихъ являются на сцену люди другого чезана. Наша общественная метаморфоза, не имѣя большой глубины и захватывая очень тонкій слой, быстро изнашивается и измѣняетъ формы и цвѣта.

Между Энгельсономъ и Кельсіевымъ уже цѣлая формация, какъ между нами и Энгельсономъ. Энгельсонъ былъ человѣкъ сломленный, оскорбленный; зло, сдѣланное ему всей средой, мiasмы, которыми онъ дышалъ съ дѣтства, изуродовали его. Лучъ свѣта скользнулъ по немъ и отогрѣлъ его года за три до его смерти, тогда уже неостанавливаемый недугъ грызъ его грудь. Кельсіевъ, тоже помятый и попорченный средой, явился однако безъ отчаянія и усталы; оставаясь за границей, онъ не просто шелъ на покой, не просто бѣжалъ безъ оглядки отъ тяжести: онъ шелъ *куда-то*. Куда?—этого онъ не *зналъ* (и тутъ всего ярче выразился видовой оттѣнокъ его пласта), опредѣленной цѣли онъ не имѣлъ; онъ ее искалъ и покажѣсть осматривался и приводилъ въ порядокъ, а пожалуй и въ безпорядокъ, всю массу идей, захваченныхъ въ школѣ, книгахъ и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существеннымъ вопросомъ, которымъ онъ жилъ, выжидая или такого дѣла, которое поглотило бы его, или такую мысль, которой бы онъ отдался.

Потаскавшись въ Турціи, Кельсіевъ рѣшился поселиться въ Тульчѣ; тамъ онъ хотѣлъ учредить средоточіе своей пропаганды между раскольниками, школу для казацкихъ дѣтей и сдѣлать опытъ Общинной жизни, въ которой прибыль и убыль должна была падать на всѣхъ, чистая и нечистая, легкая и трудная работа —

обдѣлываться всѣми. Дешевизна помѣщенія и сѣстныхъ припасовъ дѣлали опытъ возможнымъ. Онъ сблизился съ старымъ атаманомъ Некрасовцевъ, Гончаромъ, и въ началѣ превозносилъ его до небесъ.

Лѣтомъ въ 1863 подѣхалъ къ нему его меньшей братъ Иванъ, прекрасный, даровитый юноша. Онъ былъ по студенческому дѣлу высланъ изъ Москвы въ Пермь; тамъ попался къ негодяю губернатору, который его тѣснилъ. Потомъ его опять вызвали въ Москву для какихъ-то показаній; ему грозила ссылка далѣе Перми. Онъ бѣжалъ изъ частнаго дома и пробрался черезъ Константинополь въ Тульчу. Старшій братъ былъ чрезвычайно радъ ему; онъ искалъ товарищей и наконецъ звалъ жену, которая рвалась къ нему, и жила на нашемъ попеченіи въ Тедингтонѣ. Пока мы ее снаряжали, явился въ Лондонъ и самъ Гончаръ.

Хитрый старикъ, почувавшій смуты и войны, вышелъ изъ своей берлоги понюхать воздухъ и посмотреть, чего откуда можно ждать, т. е. съ кѣмъ итти и противъ кого. Не зная ни одного слова кромѣ по русски и по турецки, онъ отправился въ Марсель и оттуда въ Парижъ. Въ Парижѣ онъ видѣлся съ Чарторижскимъ и Замойскимъ; говорятъ даже, что его возили къ Наполеону; отъ него я этого не слыхалъ. Переговоры ни къ чему ни привели, и сѣдой казакъ, качая головой и щуря лукавыми глазами, написалъ каракульками семнадцатаго столѣтія ко мнѣ письмо, въ которомъ, называя меня „графомъ“, спрашивалъ: можетъ ли пріѣхать къ намъ и какъ насъ найти. Мы жили тогда въ Тедингтонѣ; безъ языка не легко было добраться до насъ, и я поѣхалъ въ Лондонъ на желѣзную дорогу встрѣтить его. Выходить изъ вагона старый русскій мужикъ, изъ зажиточныхъ, въ сѣромъ кафтанѣ, съ русской бородой,



скорѣе худощавый, но крѣпкій, мускулистый, довольно высокій и загорѣлый, несетъ узелокъ въ цвѣтномъ платкѣ.

— Вы *Осипъ Семеновичъ*? спрашиваю я.

— Я, батюшка, я. — Онъ подалъ мнѣ руку. Кафтаны распахнулся, и я увидѣлъ на поддевкѣ большую звѣзду, разумѣется турецкую: *русскихъ* звѣздъ мужикамъ не даютъ. Поддевка была синяя и оторочена широкой пестрой тесьмой, этого я въ Россіи не видалъ.

— Я такой-то, пріѣхалъ васъ встрѣтить, да проводить къ намъ.

— Что же ты это, ваше сіятельство, самъ беспокоился... того... ты бы того, кого нибудь...

— Это ужъ оттого видно, что я не сіятельство. Съ чего же Осипъ Семеновичъ, вы выдумали меня называть графомъ?

— А Христосъ тебя знаетъ, какъ величать; ты не бось въ своемъ дѣлѣ во главѣ стоишь. Ну, а я—того, человекъ темный, ну и говорю: графъ, т. е. сіятельный, т. е. голова.

Не только оборотъ рѣчи, но и произношеніе у Гончара было великорусское, крестьянское. Какъ у нихъ въ захолустѣ, окруженномъ иноплемennыми, такъ славно сохранился языкъ?—трудно было бы понять безъ старообрядческаго мерщенья. Расколъ ихъ выдѣлилъ такъ строго, что никакое чужое вліяніе не переходило за ихъ частоколь.

Гончаръ прожилъ у насъ три дня. Первые дни онъ ничего не ѣлъ, кромѣ сухаго хлѣба, который привезъ съ собой, и пилъ одну воду. На третій день было воскресенье; онъ разрѣшилъ себѣ ставанъ молока, рыбу, вареную въ водѣ и, если не ошибаюсь, рюмку хереса.

Русское себѣ на умѣ, восточная хитрость, осмотри-

тельность охотника, сдержанность человѣка, привыкшаго съ дѣтскихъ лѣтъ къ полному безправію и къ сосѣдству сильныхъ враговъ, долгая жизнь, проведенная въ борьбѣ, въ настойчивомъ трудѣ, въ опасностяхъ, все это такъ и сквозило изъ за мнимо простыхъ чертъ и простыхъ словъ сѣдаго казака. Онъ постоянно оговаривался, употреблялъ уклончивыя фразы, тексты изъ Священнаго Писанія, дѣлалъ скромный видъ, очень сознательно рассказывая о своихъ успѣхахъ и, если иногда увлекался въ рассказахъ о прошломъ и говорилъ много, то навѣрное никогда не проговорился о томъ, о чемъ хотѣлъ молчать.

Этотъ заваля людей на Западѣ почти не существуетъ. Онъ не нуженъ такъ, какъ не нужна дамаская сталь для лезвія перочиннаго ножа.

Въ Европѣ все дѣлается гуртомъ, массой; человѣку одиночно не нужно столько силы и осторожности.

Въ успѣхъ польскаго дѣла онъ уже не вѣрилъ и говорилъ о своихъ парижскихъ переговорахъ, покачивая головой.—„Намъ конечно гдѣ же сообразить: мы люди маленькіе, темные, а они вонъ поди какъ, ну вельможи, какъ слѣдуетъ; только эдакъ нравъ-то легкій. Ты, молъ, Гончаръ не сумлевайся: вотъ какъ справимся, мы то и то сдѣлаемъ для тебя напимѣръ. Понимаешь?... все будетъ въ удовольствіе. Оно точно, люди они добрые, да поди вотъ, *когда справятся*... съ такой политикой“. Ему хотѣлось разузнать какія у насъ связи съ раскольниками и какія опоры въ краѣ; ему хотѣлось осязать, можетъ ли быть практическая польза въ связи старообрядцевъ съ нами. Въ сущности для него было все равно, онъ пошелъ бы равно съ Польшей и Австріей, съ нами и съ Греками, съ Россіей и съ Турціей, лишь бы это было выгодно для его Некрасовцевъ. Онъ и отъ

насъ уѣхаль, качая головой. Написаль потомъ два-три письма, въ которыхъ, между прочимъ, жаловался на Кельсіева и подалъ, вопреки нашего мнѣнія, адресъ государю.

Въ началѣ 1864 поѣхали въ Тульчу два русскихъ офицера, оба эмигранты, Краснопѣвцевъ и В. Маленькая колонія сначала дружно принялась за работу. Они учили дѣтей и солили огурцы, чинили свои платья и копались въ огородѣ. Жена Кельсіева варила обѣды и обшивала ихъ. Кельсіевъ былъ доволенъ началомъ, доволенъ казаками и раскольниками, товарищами и турками (\*).

Кельсіевъ писалъ еще намъ свои юмористическіе рассказы о ихъ водвореніи, а уже черная рука судьбы была занесена надъ маленькой кучкой Тульчинскихъ общинниковъ. Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1864, ровно черезъ годъ послѣ своего приѣзда, умеръ двадцати трехъ лѣтъ отъ роду, на рукахъ своего брата, въ злѣйшемъ тифѣ, Иванъ Кельсіевъ. Смерть его была для брата страшнымъ ударомъ; онъ самъ занемогъ, но какъ-то отходился. Письма его того времени ужасны. Духъ, поддерживавшій отшельниковъ, упалъ, угрюмая скука овладѣвала ими; начались преступленія и ссоры. Гончаръ писалъ, что Кельсіевъ сильно пьетъ. Краснопѣвцевъ застрѣлился, В. ушелъ. Дальше не могъ вытерпѣть и Кельсіевъ; онъ взялъ свою жену и своихъ дѣтей (у него еще родился ребенокъ) и, безъ средствъ, безъ

(\*) И вотъ эта ужасная Тульчинская агенція, имѣвшая сношенія со всемірною революціей, поджигавшая русскія деревни на деньги изъ Мадчиніевскихъ кассъ, грозно дѣйствовавшая года черезъ два послѣ того, какъ перестала существовать, и теперь еще поминаемая въ литературѣ сыщиковъ и въ Полицейскихъ Вѣдомостяхъ Каткова!

цѣли, отправился сначала въ Константинополь, потомъ въ Дунайскія княжества. Совершенно отрѣзанный отъ всѣхъ, отрѣзанный на время даже отъ насъ, онъ въ это время разошелся съ Польской эмиграціей въ Турціи. Напрасно пскалъ онъ заработать кусокъ хлѣба, съ отчаяніемъ смотрѣлъ онъ на изнуреніе бѣдной женщины и дѣтей. Деньги, которыя мы посылали иногда, не могли быть достаточны. „Случалось, что у насъ вовсе не было хлѣба“, — писала не за долго до своей смерти его жена. Наконецъ послѣ долгихъ усилій Кельсіевъ нашелъ въ Галацѣ мѣсто „надзирателя за шоссейными работами“. Скука томила, грызла его. Онъ не могъ не винить себя въ положеніи семьи. Невѣжество дико-восточнаго міра оскорбляло его; онъ въ немъ чахнулъ и рвался вонъ. Вѣру въ раскольниковъ онъ утратилъ; вѣру въ Польшу утратилъ; вѣра въ людей, въ науку, въ революцію, колебались сильнѣй и сильнѣй, и можно было легко предсказать, когда и она рухнется. Онъ только и мечталъ, чтобъ во что бы то ни стало вырваться опять на свѣтъ, пріѣхать къ намъ, и съ ужасомъ видѣлъ, что ему покинуть семью нельзя. „Еслибъ я былъ одинъ, — писалъ онъ нѣсколько разъ, я съ дагеротипомъ или органомъ ушелъ бы куда глаза глядятъ и, потаскавшись по міру, пѣшкомъ явился бы въ Женеvu“.

Помощь была близка.

„Малуша“ (такъ звали старшую дочь) легла здоровая спать, проснулась ночью больная; къ утру умерла холерой. Черезъ нѣсколько дней умеръ меньшей; мать свезли въ больницу. У ней открылась острая чахотка.

„Помнишь ли, ты когда-то мнѣ обѣщалъ сказать когда я буду умирать, что это смерть. Смерть ли это?“

„Смерть, другъ мой, смерть“.

И она еще разъ улыбулась, впала въ забытье и умерла.

*Отрывокъ изъ письма:*

..... Намъ пишутъ изъ Петербурга, что на дняхъ начальникъ Скулянской таможни получилъ за подписью „В. Кельсіевъ“ письмо, предворявшее его, что пассажиръ, имѣющій прибыть на эту таможню съ правильнымъ турецкимъ паспортомъ на имя Ивана Желудкова, есть никто иной какъ онъ, г. Кельсіевъ, и что онъ, желая предать себя въ руки русскаго правительства, просить арестовать себя и препроводить въ Петербургъ.



## ОВЩІЙ ФОНДЪ

---

Едва Кельсіевъ ушелъ за порогъ, новые люди, вытѣсненные суровымъ холодомъ 1863, стучались у нашихъ дверей. Они шли не изъ готвальни наступающаго переворота, а съ обрушившейся сцены, на которой уже выступали актерами. Они укрывались отъ внѣшней бури и ничего не искали внутри, имъ нуженъ былъ временный пріютъ, пока погода уляжется, пока снова представится возможность идти въ бой. Люди эти очень молодые покончили съ идеями, съ образованіемъ; теоретическіе вопросы ихъ не занимали отчасти отъ того, что они у нихъ еще не возникали, отчасти отъ того, что у нихъ дѣло шло о приложеніи. Они были побиты матеріально, но дали доказательства своей отваги. Свернувши знамя, имъ приходилось хранить его честь. Отсюда сухой тонъ, cassant, raide, рѣзкій и нѣсколько поднятый. Отсюда военное, нетерпѣливое отвращеніе отъ долгаго обсуживанія, критики, нѣсколько изысканное пренебреженіе ко всѣмъ умственнымъ роскошамъ, въ числѣ которыхъ ставилось на первомъ планѣ искусство. Какая тутъ музыка, какая поэзія! „Отечество въ опасности, aux armes, citoyens!“ Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они были отвлеченно

правы, но сложнаго и запутаннаго процесса уравниванія идеала съ существующимъ они не брали въ расчетъ и, само собою разумѣется, свои мнѣнія и воззрѣнія принимали за воззрѣнія и мнѣнія цѣлой Россіи. Винить за это нашихъ молодыхъ штурмановъ будущей бури было бы несправедливо. Это общенюношеская черта; годъ тому назадъ одинъ французъ, поклонникъ Конта, увѣрялъ меня, что католицизмъ во Франціи *не существуетъ* и *complètement perdu le terrain*, между прочимъ, ссылаясь на медицинскій факультетъ, на профессоровъ, и студентовъ, которые не только не католики, но и не деисты. „Ну, а та часть Франціи, — замѣтилъ я — которая не читаетъ и не слушаетъ медицинскихъ лекцій? — Она, конечно, держится за религію и обряды, но больше по привычѣ и по невѣжеству“. — Очень вѣрно, но что же вы сдѣлаете съ нею? — А что сдѣлали въ 1792 году? — Немного: революція сначала заперла церкви, а потомъ открыла. Вы помните отвѣтъ Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордаты: Нравится ли тебѣ церемонія? спросилъ консулъ, выходя изъ Нотр-Дамъ. Якобинецъ-генераль отвѣчалъ: „Очень, жаль только, что не достаетъ тѣхъ двухъ сотъ тысячъ человѣкъ, которые легли костью, чтобъ уничтожить подобныя церемоніи“.

— А bah! мы стали умнѣе и не откроемъ церковныхъ дверей, или лучше, не запремъ ихъ вовсе и отдадимъ капища суевѣрія подъ школы.

— L'infâme sera écartée, докончилъ я смѣясь.

— Да, безъ сомнѣнія; это вѣрно!

— Но мы-то съ вами не увидимъ этого; это еще вѣрнѣе.

Въ этомъ взглядѣ на окружающій міръ сквозитъ подкрашенную личнымъ сочувствіемъ призму лежитъ половина

всѣхъ революціонныхъ неуспѣховъ. Жизнь молодыхъ людей, вообще, идущая въ своего рода шумномъ и замѣняемомъ затворничествѣ, вдали отъ будничной и валовой борьбы изъ-за личныхъ интересовъ, рѣзко схватывая общія истины, почти всегда срѣзывается на ложномъ пониманіи ихъ приложенія къ нуждамъ дня.

... Сначала новые гости оживили насъ разсказами о петербургскомъ движеніи, о дикихъ выходкахъ оперившейся реакціи, о процессахъ и преслѣдованіяхъ, объ университетскихъ и литературныхъ партіяхъ; потомъ, когда все это было передано съ той скоростью, съ которой въ этихъ случаяхъ торопятся все сообщить, наступили паузы, гіатусы; бесѣды наши сдѣлались скучны, однообразны...

— Неужели, думалъ я, это въ самомъ дѣлѣ старость, разводящая два поколѣнія? Холодъ, вносимый лѣтами, усталю, испытаньями?

Какъ бы то ни было, я чувствовалъ, что, съ появленіемъ новыхъ людей, горизонтъ нашъ не расширился... а сѣзился; діаметръ разговоровъ сталъ короче; намъ иной разъ нечего было другъ другу сказать. Ихъ занимали подробности ихъ круговъ, за границей которыхъ ихъ ничто не занимало. Однажды передавши все интересное объ нихъ, приходилось повторять и они повторяли. Наукой или дѣлами они занимались мало; даже мало читали и не слѣдили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаніями и ожиданіями, они не любили выходить въ другія области; а намъ не доставало воздуха въ этой спертой атмосферѣ. Мы, избаловавшись другими размѣрами, задыхались!

Къ тому же, если они и знали извѣстный слой Петербурга, то Россіи вовсе не знали и, искренно желая



сблизиться съ народомъ, сближались съ нимъ книжно и теоретически.

Общее между нами было слишкомъ *обще*. Въмѣстѣ птти, *служить* по французскому выраженію, вмѣстѣ что нибудь дѣлать — мы могли; но вмѣстѣ стоять и жить сложа руки было трудно. О серьезномъ вліяніи и думать было нечего. Болѣзненное и очень безцеремонное самолюбіе давно закусило удила (\*). Иногда, правда, они требовали программы, руководства, но при всей искренности, это было не въ самомъ дѣлѣ. Они ждали, чтобы мы формулировали ихъ собственное мнѣніе и только въ томъ случаѣ соглашались, когда высказанное нами нисколько не противорѣчило ему. На насъ они смотрѣли какъ на почтенныхъ инвалидовъ, какъ на прошедшее, и наивно дивились, что мы еще не очень отстали отъ нихъ.

Я всегда и во всемъ боялся „пуще всѣхъ печалей“ *мегалъянсовъ*, всегда ихъ допускалъ долею по гуманности, долею по небрежности, и всегда страдалъ отъ нихъ.

Предвидѣть было не мудрено, что новыя связи долго не продержатся, что рано или поздно онѣ разорвутся и что этотъ разрывъ, взявъ въ расчетъ шереховатый характеръ новыхъ пріятелей, не обойдется безъ дурныхъ послѣдствій.

Вопросъ, на которомъ покачнулись шаткія отношенія, былъ именно тотъ старый вопросъ, на которомъ обыкновенно разрываются знакомства, спитыя гнилыми нит-

(\*) Самолюбіе ихъ не было такъ велико, какъ задорно и раздражительно, а главное невовдерженно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильнаго требованія — чинопочитанія по рангу, ими присвоенному. При этомъ сами они смотрѣли на все свысока, и постоянно трунили другъ надъ другомъ, отчего ихъ дружба никогда не продолжалась дольше мѣсяца.

ками. Я говорю о деньгахъ. Не зная вовсе ни моихъ средствъ, ни моихъ жертвъ, они предъявляли на меня требованія, которыя удовлетворять я не считалъ справедливымъ. Если я могъ черезъ всѣ невзгоды, безъ малѣйшей поддержки, провести лѣтъ пятнадцать русскую пропаганду, то я могъ это сдѣлать, налагая мѣру и границу на другія траты. Новые знакомые находили, что все, дѣлаемое мною, мало, и съ негодованіемъ смотрѣли на человѣка, прикидывающагося социалистомъ и не раздающаго своего достоянія на дуванъ людямъ не работающимъ, но желающимъ денегъ. Очевидно, они стояли еще на непрактической точкѣ зрѣнія христіанской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практическій социализмъ.

Опыты собранія „Общаго фонда“ не дали важныхъ результатовъ. Русскіе не любятъ давать денегъ на общее дѣло, если при немъ нѣтъ сооруженія церкви, обѣда, попойки и высшаго одобряющаго начальства.

Въ самый разгаръ эмигрантскаго безденежья, разнесся слухъ, что у меня есть какая-то сумма денегъ, врученная мнѣ для пропаганды.

Молодымъ людямъ казалось справедливымъ ее у меня отобрать.

Для того, чтобы понять это, слѣдуетъ рассказать объ одномъ странномъ случаѣ, бывшемъ въ 1858 г. Однимъ утромъ я получилъ записку, очень короткую, отъ какого-то незнакомаго русскаго; онъ писалъ мнѣ, что имѣетъ „необходимость меня видѣть“ и просилъ назначить время.

Я въ это время шелъ въ Лондонъ, а потому, вмѣсто всякаго отвѣта, зашелъ самъ въ Саблоньеръ-отель и спросилъ его. Онъ былъ дома. Молодой человѣкъ съ видомъ кадета, застѣнчивый, очень невеселый и съ особой наружностью, довольно топорно отдѣланной, седьмыхъ-

восьмьхъ сыновей степныхъ помѣщиковъ. Очень неразговорчивый, онъ почти все молчалъ; видно было, что у него что-то на душѣ, но онъ не дошелъ до возможности высказать что.

Я ушелъ, пригласивши его дня черезъ два-три обѣдать. Прежде этого я его встрѣтилъ на улицѣ.

— Можно съ вами идти? спросилъ онъ.

— Конечно, не мнѣ съ вами опасно, а вамъ со мной. Но Лондонъ великъ.

— Я не боюсь, и тутъ вдругъ, закусивши удила, онъ быстро проговорилъ: я никогда не возвращусь въ Россію, нѣтъ, нѣтъ, я рѣшительно не возвращусь въ Россію...

— Помилуйте, вы такъ молоды?

— Я Россію люблю, очень люблю; но тамъ люди..... тамъ мнѣ не житье. Я хочу завести колонію на совершенно соціальныхъ основаніяхъ; это все я обдумалъ и теперь ѣду прямо туда.

— То есть куда?

— На Маркизскіе острова.

Я смотрѣлъ на него съ нѣмымъ удивленіемъ.

— Да, да; это дѣло рѣшеное. Я плыву съ первымъ пароходомъ и потому очень радъ, что васъ встрѣтилъ сегодня, — могу я вамъ сдѣлать нескромный вопросъ?

— Сколько хотите.

— Имѣете вы выгоду отъ вашихъ публикацій?

— Какая же выгода; хорошо, что теперь печать окупается.

— Ну, а если не будетъ окупаться?

— Буду приплачивать.

— Стало въ вашу пропаганду не входятъ никакія торговныя цѣли?

Я расхохотался.

— Ну, да какъ же вы будете одни приплачивать? А

пропаганда ваша необходима. Вы меня простите, я не изъ любопытства спрашиваю: у меня была мысль, оставляя Россію на всегда, сдѣлать что нибудь полезное для нея, я и рѣшился оставить у васъ немного денегъ. На случай, если вашей типографіи нужно, или для русской пропаганды вообще, такъ вы бы и распорядились.

Мнѣ опять пришлось посмотреть на него съ удивленіемъ.

— Ни типографія, ни пропаганда, ни я, въ деньгахъ мы не нуждаемся; напротивъ, дѣло идетъ въ гору; зачѣмъ же я возьму ваши деньги? — но отказывался отъ нихъ, позвольте мнѣ отъ души поблагодарить за доброе намѣреніе.

— Нѣтъ-съ, это дѣло рѣшеное. У меня пятьдесятъ тысячъ франковъ, тридцать я беру съ собою на острова, двадцать отдаю вамъ на пропаганду.

— Куда же я ихъ дѣну?

— Ну, не будетъ нужно, вы отдадите мнѣ, если я возвращусь; а не возвращусь лѣтъ черезъ десять, или умру, употребите ихъ на усиленіе вашей пропаганды. Только, — добавилъ онъ, подумавши, — дѣлайте что хотите, но..... но не отдавайте ничего моимъ наслѣдникамъ. Вы завтра утромъ свободны?

— Пожалуй.

— Сводите меня, сдѣлайте одолженіе, въ банкъ и къ Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умѣю по англійски, и по французски очень плохо. Я хочу скорѣе отдѣлаться отъ двадцати тысячъ и ѣхать.

— Извольте, я деньги принимаю, но вотъ на какихъ основаніяхъ: я вамъ дамъ росписку.

— Никакой росписки мнѣ не нужно.

— Да, но мнѣ нужно дать, я безъ этого вашихъ денегъ не возьму. Слушайте же. Во-первыхъ, въ роспискѣ

будетъ сказано, что деньги ваши ввѣряются не мнѣ одному, а мнѣ и Огареву. Во-вторыхъ, такъ какъ вы можете соскучитесь на Маркизскихъ островахъ и у васъ явится тоска по родинѣ (онъ покачалъ головой)... почему знаешь чего не знаешь... то писать о цѣли, съ которой вы даете капиталъ, не слѣдуетъ, а мы скажемъ, что деньги эти отдаются въ полное распоряженіе мое и Огарева; буде же мы инаго распоряженія не сдѣлаемъ, мы купимъ для васъ на всю сумму какихъ нибудь бумагъ, гарантированныхъ англійскимъ правительствомъ, въ 5 0/0 или около. Затѣмъ, даю вамъ слово, что безъ явной крайности для пропаганды, мы денегъ вашихъ не тронемъ; вы на нихъ можете считать во всѣхъ случаяхъ, кромѣ банкротства въ Англии.

— Коли хотите непременно дѣлать столько затрудненій, дѣлайте ихъ. А завтра ѣдемъ за деньгами!

Слѣдующій день былъ необыкновенно смѣшенъ и суетливъ. Началось съ банка и Ротшильда. Деньги выдали ассигнаціями. Б. возымѣлъ сначала благое намѣреніе размѣнять ихъ на *испанское* золото или серебро. Конторщики Ротшильда смотрѣли на него съ изумленіемъ, но когда вдругъ, какъ съ просонья, онъ сказалъ совершенно ломанымъ франко-русскимъ языкомъ: „ну, такъ лентрѣ креди или Маркизъ“, тогда Кеснеръ, директоръ бюро, обернулъ на меня испуганный и тоскливый взглядъ, который лучше словъ говорилъ: „Онъ не опасенъ ли?“ Еще никогда въ домѣ у Ротшильда никто не требовалъ кредитива на Маркизскіе острова.

Рѣшились тридцать тысячъ взять золотомъ и ѣхать домой; на дорогѣ заѣхали въ кафе, я написалъ росписку; Б. съ своей стороны написалъ мнѣ, что отдаетъ въ полное распоряженіе мое и Огарева восемьсотъ фунтовъ; потомъ онъ ушелъ за чѣмъ-то домой, а я отправился

его ждать въ книжную лавку ; черезъ четверть часа онъ пришелъ блѣдный какъ полотно и объявилъ, что у него изъ 30,000 недостаетъ 250 франковъ, т. е. 10 фунтовъ.

Онъ былъ совершенно сконфуженъ. Какъ потеря 250 франковъ могла такъ перевернуть человѣка, отдавашаго безъ всякой прочной гарантіи 20,000, опять психологическая загадка натуры человѣческой. — Нѣтъ ли лишней бумажки у васъ? Со мной денегъ нѣтъ, я отдалъ Ротшильду и вотъ росписка : ровно 800 фунтовъ получено. Б., размѣнявшій безъ всякой нужды на фунты свои ассигнаціи, разсыпалъ на конторѣ Тхоржевскаго 30,000; считалъ, пересчитывалъ, нѣтъ 10 фунтовъ да и только. Видя его отчаяніе, я сказалъ Тхоржевскому : я какъ нибуду на себя возьму эти проклятые 10 фунтовъ, а то онъ же сдѣлалъ доброе дѣло, да онъ же и наказанъ.

— Горевать и толковать тутъ не поможетъ, прибавилъ я ему : я предлагаю ѣхать сейчасъ къ Ротшильду.

Мы поѣхали. Было уже позже четырехъ и касса заперта. Я взмохъ съ сконфуженнымъ Б. Кеснеръ посмотрѣлъ на него, и улыбаясь, взялъ со стола 10 фунтовую ассигнацію и подалъ ее мнѣ. — Это какимъ образомъ? — Вашъ другъ, мѣняя деньги, далъ вмѣсто двухъ 5 фунт. — двѣ 10 фунт. ассигнаціи, а я сначала не замѣтилъ. Б. смотрѣлъ, смотрѣлъ и прибавилъ : „Какъ глупо, одного цвѣта и 10 фунтовъ и 5 фунтовъ ; кто же догадается, — видите какъ хорошо, что я размѣнялъ деньги на золото“.

Успокоившись, онъ поѣхалъ ко мнѣ обѣдать, а на другой день я общался прійти къ нему проститься. Онъ былъ совсѣмъ готовъ. Маленькій кадетскій или студентскій, вытертый, растертый чемоданчикъ, шинель перевязанная ремнемъ и... и... тридцать тысячъ фран-

ковъ *золотомъ*, завязанные въ толстомъ фулярѣ такъ, какъ завязываютъ фунтъ крыжовнику или орѣховъ.

Такъ ѣхалъ этотъ человѣкъ на Маркпзскіе острова.  
— Помилуйте, — говорилъ я ему, — да васъ убьютъ и ограбятъ прежде, чѣмъ вы отчалите отъ берега. Положите лучше въ чемоданчикъ деньги.

— Онъ полонъ.

— Я вамъ сакъ достану.

— Ни подъ какимъ видомъ. — Такъ и уѣхалъ. Я первые дни думалъ, чего добраго его уколошатъ, а на меня падеть подозрѣніе, что я подослалъ его убить.

Съ тѣхъ поръ объ немъ не было слуху, ни духу..... Деньги его я положилъ въ фонды, съ твердымъ намѣреніемъ не касаться до нихъ безъ крайней нужды типографіи или пропаганды.

Въ Россіи долгое время никто не зналъ объ этомъ; потому ходили смутные слухи — чему мы обязаны двумъ-тремъ пріятелямъ нашимъ, давшимъ слово не говорить объ этомъ. Наконецъ узнали, что деньги дѣйствительно есть и хранятся у меня.

Вѣсть эта пала какимъ-то яблокомъ искушенья, какимъ-то хроническимъ возбужденіемъ и ферментомъ. Оказалось, что эти деньги нужны всѣмъ, а я ихъ не давалъ. Мнѣ не могли простить, что я не потерялъ всего своего состоянія, а тутъ у меня депо, данное для пропаганды; а кто же пропаганда, какъ не они? Сумма вскорѣ выросла изъ скромныхъ франковъ въ *рубли серебромъ*, и дразнила еще больше желавшимъ сгубить ее *частно* на общее дѣло. Негодовали на Б., что онъ мнѣ деньги ввѣрилъ, а не кому нибудь другому; самые смѣлые утверждали, что это съ его стороны ошибка, что онъ дѣйствительно хотѣлъ отдать ихъ не мнѣ, а одному петербургскому кругу и что, не зная какъ это сдѣлать,

отдать въ Лондонѣ мнѣ. Отважность въ этихъ сужденіяхъ была тѣмъ замѣчательнѣе, что о фамиліи Б. такъ же никто не зналъ, какъ и о его существованіи, и что онъ о своемъ предположеніи ни съ кѣмъ не говорилъ до своего отъѣзда, а послѣ его отъѣзда съ нимъ никто не говорилъ.

Однимъ деньги эти нужны были для посланки эмиссаровъ; другимъ для образованія центровъ на Волгѣ; третьимъ для изданія журнала. *Колоколомъ* они были недовольны и на наше приглашеніе работать въ немъ, что-то подавались туго.

Я рѣшительно денегъ не давалъ и пусть требовавшіе ихъ сами скажутъ, гдѣ онѣ были бы, еслибъ я далъ ихъ.

— Б. — говорилъ я — можетъ воротиться безъ гроша; трудно сдѣлать аферу, заводя социалистическую колонію на Маркизскихъ островахъ.

— Онъ навѣрное умеръ.

— А какъ на зло вамъ живъ?

— Да вѣдь онъ деньги далъ на пропаганду.

— Пока мнѣ на нее не нужно.

— Да намъ нужно.

— На что именно?

— Надобно послать кого нибудь на Волгу, кого нибудь въ Одессу...

— Не думаю, чтобъ очень нужно было.

— Такъ вы не вѣрите въ необходимость послать?

— Не вѣрю.

— Старѣетъ и становится скупъ, — говорили обо мнѣ на разные тоны самые рѣшительные и свирѣпые. — Да что на него смотрѣть; взять у него эти деньги, да и баста, — прибавляли еще больше рѣшительные и свирѣпые. — А будетъ упираться, мы его такъ процерпемъ



въ журналахъ, что будетъ помнить какъ задерживать чужія деньги.

Денегъ я не далъ.

Въ журналахъ они не продергивали. Ругательства въ печати являются гораздо позже, но то же изъ-за денегъ.

... Эти *болѣе свирѣлые*, о которыхъ я сказалъ, были тѣ ультра, тѣ угловатые и шершавые представители „новаго поколѣнья“, которыхъ можно назвать *Собакевичами* и *Ноздревыми* — нигилизма.

Какъ ни излишне дѣлать оговорку, но я ее сдѣлаю, зная логику и манеру нашихъ противниковъ. Въ моихъ словахъ нѣтъ ни малѣйшаго желанія бросить камень ни въ молодое поколѣнiе, ни въ нигилизмъ. О послѣднемъ я писалъ много разъ. Наши собакевичи нигилизма не составляютъ сплѣнѣйшаго выраженія ихъ, а представляютъ ихъ чрезвычайную крайность (\*).

Кто же станетъ христіанство судить по Аршеневымъ хлыстамъ и революцію по сентябрьскимъ мясникамъ и робеспьеровскимъ чулочницамъ ?

Заносчивые юноши, о которыхъ идетъ рѣчь, заслуживаютъ изученія, потому что они выражаютъ временный *типъ*, очень опредѣленно вышедшій, очень часто повторявшійся, переходную форму болѣзни нашего развитія изъ прежняго застоя.

Большую частью они не имѣли той выправки, которую даетъ воспитаніе и той выдержки, которая пріобрѣтается научными занятіями. Они торопились въ первомъ задорѣ

(\*) Въ то самое время въ Петербургѣ и Москвѣ, даже въ Казани и Харьковѣ, образовывались между университетской молодежью круги, серьезно посвящавшіе себя изученію науки, особенно между медиками. Честно и добросовѣстно трудились они, но устранные отъ бойкаго участія въ вопросахъ дня, они не были вынуждены поглядѣть Россіи и мы ихъ почти вовсе не знали.

освобожденія сбросить съ себя всѣ условныя формы и оттолкнуть всѣ каучуковыя подушки, мѣшающія жесткимъ столеновеніямъ. Это затруднило всѣ простѣйшія отношенія съ ними.

Снимая все до послѣдняго клочка, наши *enfants terribles* гордо являлись какъ *мать родила*, а родила-то она ихъ плохо, вовсе не простыми дебѣлыми парнями, а наслѣдниками дурной и нездоровой жизни нисшихъ петербургскихъ слоевъ. Въмѣсто атлетическихъ мышцъ и юной наготы, обнаружилились печальные слѣды наслѣдственного худосочія, слѣды застарѣлыхъ язвъ и разнаго рода колодокъ и ошейниковъ. Изъ народа было мало выходцевъ между ними. Передняя, казарма, семинарія, мелкопомѣстная господская усадьба, перегнувшись въ противоположное, сохранились въ крови и мозгу, не теряя отличительныхъ чертъ своихъ. На это, сколько мнѣ извѣстно, не обращали должнаго вниманія.

Съ одной стороны реакція противъ стараго, узкаго, давившаго міра должна была бросить молодое поколѣніе въ антагонизмъ и всяческое отрицаніе враждебной среды: тутъ нечего искать, ни мѣры, ни справедливости. Напротивъ, тутъ дѣлается на зло, тутъ дѣлается въ отместку. Вы лицемѣры, мы будемъ циниками; вы были нравственны на словахъ, мы будемъ на словахъ злодѣями; вы были учтивы съ высшими и грубы съ нисшими, мы будемъ грубы со всѣми; вы кланяетесь не уважая, мы будемъ толкаться не извиняясь; у васъ чувство достоинства было въ одномъ приличіи и внѣшней чести, мы за честь себѣ поставимъ поправленіе всѣхъ приличій и презрѣніе всѣхъ *points d'honneur* овъ.

Но съ другой стороны эта отрѣшенная отъ обыкновенныхъ формъ общепитательства личность была полна своихъ наслѣдственныхъ недуговъ и уродствъ. Сбрасы-

вая съ себя, какъ мы сказали, всѣ покровы, самые отчаянные стали щеголять въ костюмѣ Гоголевскаго „Пѣтуха“, и при томъ не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла кто они. Она раскрыла, что ихъ систематическая неотесанность, ихъ грубая и дерзкая рѣчь, не имѣетъ ничего общаго съ неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина, и очень много съ приемами подъяческаго круга, торговаго прилавка и лакейской помѣщичьяго дома. Народъ ихъ такъ же мало считъ за своихъ, какъ славянофиловъ въ мурмолахъ. Для него они остались чужимъ, низшимъ слоемъ враждебнаго стана, исхудалыми баричами, строкулистами безъ мѣста, нѣмцами изъ русскихъ.

Для полной свободы надобно забыть свое освобожденіе и то, изъ чего освободились, бросить привычки среды, изъ которой выросли. Пока этого не сдѣлано, мы невольно узнаемъ переднюю, казарму, канцелярію и семинарію по каждому ихъ движенію и по каждому слову.

Бить въ рожу по первому возраженію, если не кулакомъ, то ругательнымъ словомъ, называть С. - Миля *ракашей*, забывая всю службу его, — развѣ это не барская замашка, которая „старога Гаврилу, за измятое жабо хлещетъ въ усь да въ рыло“. Развѣ въ этой и подобныхъ выходахъ вы не узнаете квартальнаго, исправника, становаго, таскающаго за сѣдую бороду бурмистра? Развѣ въ нахальной дерзости манеръ и отвѣтовъ вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины и въ людяхъ, говорящихъ съ высока и съ пренебреженіемъ о Шекспирѣ и Пушкинѣ, внучать Скалозуба, получившихъ воспитаніе въ домѣ дѣдушки, хотѣвшаго „дать фельдфебеля въ Вольтеры?“

Самая проказа взятокъ уцѣлѣла въ домогательствѣ денегъ нахрапомъ, съ пристрастіемъ и угрозами, подъ предлогомъ общихъ дѣлъ, въ поползновеніи кормиться на счетъ службы и мстить кляузами и клеветами за отказъ.

Все это перерабатывается и перемелется; но нельзя не сознаться—странную почву приготовили царская опека и императорская цивилизація въ нашемъ „темномъ царствѣ“. Почву, на которой многообѣщающіе всходы проросли съ одной стороны поклонниками Муравьевыхъ и Катковыхъ, съ другой *дантистами* нигилизма и базаровской безпардонной вольницы.

Много дренажа требуютъ наши черноземы !



# М. В. И ПОЛЬСКОЕ ДѢЛО

(Продолженіе Главы „Перигей“)

Въ концѣ ноября мы получили отъ Б. слѣдующее письмо :

15 октября 1861, С.-Франциско. „Друзья, мнѣ удалось бѣжать изъ Сибири и, послѣ долгаго странствованія по Амуру, по берегамъ татарскаго пролива и черезъ Японію, сегодня прибылъ я въ Сан-Франциско.

„Друзья, всѣмъ существомъ стремлюсь я къ вамъ и, лишь только пріѣду, пріймусь за дѣло, буду у васъ служить по Польско-Славянскому вопросу, который былъ моею идеей еще съ 1846 и моею *практической спеціальностью* въ 48 и 49 годахъ.

„Разрушеніе, полное разрушеніе Австрійской имперіи, будетъ моимъ послѣднимъ словомъ; не говорю дѣломъ, это было бы слишкомъ честолюбиво; для служенія ему я готовъ идти въ барабанщики, или даже въ прохвосты, и, если мнѣ удастся хоть на волосъ подвинуть его впередъ, я буду доволенъ. А за нимъ является *славная, вольная славянская федерація*, единственный исходъ для Россіи, Украины, Польши и вообще для славянскихъ народовъ“.

О его намѣреніи уѣхать изъ Сибири, мы знали нѣсколько мѣсяцевъ прежде. Къ новому году явилась и собственная пышная фигура Б. въ нашихъ объятіяхъ.

Въ нашу работу, въ нашъ заменутый двойной союзъ, взошелъ новый элементъ, или пожалуй элементъ старый, воскресшая тѣнь сороковыхъ годовъ и всего больше 1848 года. Б. былъ тотъ же, онъ состарѣлся только тѣломъ, духъ его былъ молодъ и восторженъ, какъ въ Москвѣ во время всенощныхъ споровъ съ Хомяковымъ; онъ былъ также преданъ одной идеѣ, также способенъ увлекаться, видѣть во всемъ исполненіе своихъ желаній и идеаловъ, и еще больше готовъ на всякій опытъ, на всякую жертву, чувствуя, что жизни впередъ остается не такъ много и что слѣдственно надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Онъ тяготился долгимъ изученіемъ, взвѣшиваніемъ pro и contra и рвался, довѣрчивый и отвлеченный какъ прежде, къ дѣлу, лишь бы оно было среди бурь революціи, среди разгрома и грозной обстановки. Онъ и теперь, какъ въ статьяхъ Жюль Елизара, повторялъ: «Die Lust der Zerstörung ist eine Schaffende Lust». Фантазии и идеалы, съ которыми его заперли въ Кенигштейнѣ въ 1849, онъ берегъ и привезъ ихъ черезъ Японію и Калифорнію въ 1861 году, во всей цѣлости. Даже языкъ его напоминалъ лучшія статьи „Реформы“ и *Vraie République*, рѣзкія рѣчи de la Constituante и клуба Бланки. Тогдашній духъ партій, ихъ исключительность, ихъ симпатіи и антипатіи къ лицамъ, пуще всего ихъ вѣра въ близость втораго пришествія революціи, все было на лицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняютъ сильныхъ людей, если не тотчасъ ихъ губятъ; они выходятъ изъ нея, какъ изъ обморока, продолжая то, на чемъ лишились сознанія. Декабристы возвратились изъ подъ сибирскаго снѣга моложе потоптанной на корню молодежи, которая ихъ встрѣтила. Въ то время, какъ

два поколѣнія французовъ нѣсколько разъ мѣнялись, краснѣли и блѣднѣли, поднимавшие приливомъ и уносимые назадъ отливомъ, Барбесъ и Бланки остались безсмѣнными маяками, напоминавшими изъ-за тюремныхъ рѣшетокъ, изъ-за чужой дали, прежніе идеалы во всей чистотѣ.

„Польско-Славянскій вопросъ..... разрушеніе Австрійской имперіи..... вольная славянская и *славная* федерация“..... И все это сейчасъ, какъ только онъ пріѣдетъ въ Лондонъ, и пишетъ изъ С.-Франциско, одна нога на кораблѣ!

Европейская реакція не существовала для Б., не существовали и тяжелые годы отъ 1848 до 1858; онъ ему были извѣстны вкратцѣ, издалека, слегка. Онъ ихъ прочелъ въ Сибирѣ, такъ какъ читалъ въ Кайдановѣ о Пуническихъ войнахъ и о паденіи Римской имперіи. Какъ человѣкъ возвратившійся послѣ мора, онъ слышалъ о тѣхъ, которые умерли, и вздохнулъ объ нихъ обо всѣхъ; но онъ не сидѣлъ у изголовья умирающихъ, не надѣялся на ихъ спасеніе, не шелъ за нихъ гробомъ. Совсѣмъ напротивъ, событія 1848 были возлѣ, близки къ сердцу, подробные и живые разговоры съ Косидьеромъ, рѣчи Славянъ на Пражскомъ съѣздѣ, споры съ Араго или Руге: все это было для Б. вчера, звенѣло въ ушахъ, мелькало передъ глазами.

Впрочемъ, оно и сверхъ тюрьмы не мудрено.

Первые дни послѣ Февральской революціи были лучшими днями жизни Б. Возвратившись изъ Бельгіи, куда его вытурилъ Гизо за его рѣчь на Польской годовщинѣ 29 ноября 1847, онъ съ головой нырнулъ во всѣ тяжкія революціоннаго моря. Онъ не выходилъ изъ казармъ Монтаньяровъ, ночевалъ у нихъ, ѣлъ съ ними и проповѣдывалъ, все проповѣдывалъ, коммунизмъ et l'égalité

du salaire, нпвеллированіе во имя равенства, освобожденіе всѣхъ славянъ, уничтоженіе всѣхъ Австрій, революцію en regmanence, войну до избіенія послѣдняго врага. Префектъ съ баррикадъ, дѣлавшій „порядокъ изъ беспорядка“, Косидьеръ, не зналъ какъ выжить дорогаго проповѣдника и придумалъ съ Флокономъ отправить его въ самомъ дѣлѣ къ Славянамъ съ братской акколадой и увѣренностью, что онъ тамъ себѣ сломить шею и мѣшать не будетъ. Quel homme! Quel homme! говорилъ Косидьеръ о Б.: „въ первый день революціи, это просто кладъ; а на другой день его надобно разстрѣлять“ (\*).

Когда я пріѣхалъ въ Парижъ изъ Рима въ началѣ мая 1848, Б. уже витійствовалъ въ Богеміи, окруженный старовѣрческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витійствовалъ до тѣхъ поръ, пока князь Виндишгретцъ не положилъ пушками предѣлъ краснорѣчю (и не воспользовался хорошимъ случаемъ, чтобы при сей вѣрной оказіи не подстрѣлить невзначай своей жены). Исчезнувъ изъ Праги, Б. является военнымъ начальникомъ Дрездена; бывшій артиллерійскій офицеръ учить военному дѣлу поднявшихъ оружіе профессоровъ, музыкантовъ и фармацевтовъ, совѣтуетъ имъ Мадонну Рафаэля и картины Мурильо поставить на городскія стѣны и ими защищаться отъ пруссаковъ, которые zu klassisch gebildet, чтобъ осмѣлились стрѣлять по Рафаэлю.

(\*) Скажите Косидьеру, говорилъ я шутя его пріятелямъ: что тѣмъ-то Б. и отличается отъ него, что и Косидьеръ славный человѣкъ, но что его лучше бы разстрѣлять *на канунѣ* революціи. Въ послѣдствіи въ Лондонѣ въ 1854 году, я ему помянулъ объ этомъ. Префектъ въ изгнаніи только ударилъ огромнымъ кулакомъ своимъ въ молодецкую грудь съ той силой, съ которой вбиваютъ сваи въ землю, и говорилъ: „Здѣсь ношу Б..... здѣсь“.



Артиллерія ему вообще помѣшала. По дорогѣ изъ Парижа въ Прагу, онъ наткнулся гдѣ-то въ Германіи на возмущеніе крестьянъ; они шумѣли и кричали передъ залпомъ, не умѣя ничего сдѣлать. Б. вышелъ изъ повозки и, не имѣя времени узнать въ чемъ дѣло, построилъ крестьянъ и такъ ловко научилъ ихъ, что, когда пошелъ садиться въ повозку, чтобъ продолжать путь, замокъ пылалъ съ четырехъ сторонъ.

Б. когда нибудь переломить свою лѣнь и сдержать обѣщаніе; онъ когда нибудь расскажетъ длинный мартирологъ, начавшійся для него послѣ взятія Дрездена. Напомню здѣсь главные черты. Б. былъ приговоренъ къ эшафоту. Король Саксонскій замѣнилъ топоръ вѣчной тюрьмой, потомъ, безъ всякаго основанія, передалъ его въ Австрію. Австрійская полиція думала отъ него узнать что нибудь о славянскихъ замыслахъ. Б. посадили въ Грачинъ и, ничего не добившись, отослали его въ Ольмюцъ. Б. скованнаго везли подъ сильнымъ конвоемъ драгунъ; офицеръ, который сѣлъ съ нимъ въ повозку, зарядилъ при немъ пистолетъ. „Это для чего же? — спросилъ Б. — неужели вы думаете, что я могу бѣжать при этихъ условіяхъ?“

— Нѣтъ, но васъ могутъ отбить ваши друзья; правительство имѣло на счетъ этого слухи, и въ такомъ случаѣ...

— Что же?

— Мнѣ приказано посадить вамъ пулю въ лобъ. — И товарищи поскакали.

Въ Ольмюцѣ Б. *приковали къ стѣнѣ*, и въ этомъ положеніи онъ пробылъ *помою*. Австріи наконецъ накупило даромъ кормить чужаго преступника; она предложила Россіи его выдать: Николаю вовсе не нужно было Б., но отказаться онъ не имѣлъ силъ.

На русской границѣ съ Б. сняли цѣпи. Объ этомъ актѣ милосердія я слышалъ много разъ; дѣйствительно, цѣпи съ него сняли, но рассказчикъ забылъ прибавить, что за то надѣли другія, гораздо тяжеле. Офицеръ австрійскій, сдавши арестанта, потребовалъ цѣпи, какъ казенную К. К. собственность.

Николай похвалилъ храброе поведеніе Б. въ Дрезденѣ и посадилъ его въ Алексѣевскій рavelинъ. Туда онъ прислалъ къ нему Орлова и велѣлъ ему сказать, что онъ желаетъ отъ него записку о нѣмецкомъ и славянскомъ движеніи (монархъ не зналъ, что всѣ его подробности были напечатаны въ газетахъ). Записку эту онъ требовалъ не какъ царь, а какъ духовникъ. Б. спросилъ Орлова, какъ понимаетъ государь слово „духовникъ“: въ томъ ли смыслѣ, что все сказанное на духу, должно быть святой тайной? Орловъ не зналъ что сказать: эти люди вообще больше привыкли спрашивать, чѣмъ отвѣчать. Б. написалъ журнальный *leading article*. Николай и этимъ былъ доволенъ. „Онъ умный и хорошій малый, но опасный человѣкъ, его надобно держать на заперти“, и *три цѣлыхъ года* послѣ этого высочайшаго одобренія Б. былъ схороненъ въ Алексѣевскомъ рavelинѣ. Содержаніе должно было хорошо, когда и этотъ гигантъ изнемогалъ до того, что хотѣлъ лишиться себя жизни. Въ 1854 Б. перевели въ Шлюссельбургъ. Николай боялся, что Чарльсъ Неппръ его освободить; но Чарльсъ Неппръ and comr. освободили не Б. отъ рavelина, а Россію отъ Николая. Александръ II, не смотря на припадокъ милостей и великодушія, оставилъ Б. въ крѣпости до 1857, потомъ послалъ его на житье въ восточную Сибирь. Въ Иркутскѣ онъ очутился на волѣ послѣ девятилѣтняго заключенія. Начальникомъ края былъ тамъ на его счастье

оригинальный человекъ, демократъ и татаринъ, либераль и деспотъ, родственникъ Михайлы Б..... и Михайлы Муравьева, и самъ Муравьевъ, тогда еще не Амурскій. Онъ далъ Б. вздохнуть, возможность человѣчески жить, читать журналы и газеты, и самъ мечталъ съ нимъ о будущихъ переворотахъ и войнахъ. Въ благодарность Муравьеву Б. въ головѣ назначалъ его главнокомандующимъ будущей земской арміей, назначаемой имъ въ свою очередь на уничтоженіе Австріи и учрежденіе славянскаго союзничества.

Въ 1860 году мать Б. просила государя о возвращеніи сына въ Россію; государь сказалъ, что „при жизни его, Б. изъ Сибири не переведутъ; но, чтобъ и она не осталась безъ утѣшенія и царской милости, онъ разрѣшилъ ему *вступить въ службу писцомъ*.

Тогда Б., взявъ въ расчетъ красныя щеки и сорокалѣтній возрастъ императора, рѣшился бѣжать; а его въ этомъ совершенно оправдываю. Послѣдніе годы лучше всего доказываютъ, что ему нечего въ Сибири было ждать. Девяти лѣтъ каземата и нѣсколько лѣтъ ссылки было за глаза довольно. Не отъ его побѣга, какъ говорили, стало хуже политическимъ сосланнымъ, а отъ того, что времена стали хуже, люди стали хуже. Какое вліяніе имѣлъ побѣгъ Б. на гнусное преслѣдованіе, добиваніе Михайлова? А что какой нибудь Корсаковъ получилъ выговоръ, объ этомъ не стоитъ и говорить. Жаль, что не два.

Бѣгство Б. замѣчательно пространствомъ; это самое длинное бѣгство въ географическомъ смыслѣ. Пробравшись на Амуръ подъ предлогомъ торговыхъ дѣлъ, онъ уговорилъ какого-то американскаго шкипера взять его съ собой къ Японскому берегу.—Въ Гоко-Дади другой американскій капитанъ взялся его довести до С.-Фран-

циско. Б. отправился къ нему на корабль и засталъ моряка, сильно хлопотавшаго объ обѣдѣ; онъ ждалъ какого-то почетнаго гостя и пригласилъ Б.—Б. принялъ приглашеніе и, только когда гость пріѣхалъ, узналъ, что это генеральный русскій консулъ.

Скрываться было поздно, смѣшно: онъ прямо вступилъ съ нимъ въ разговоръ, сказалъ, что выпросился сдѣлать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится адмирала Попова, стояла въ морѣ и собиралась плыть къ Николаеву: „Вы не съ нашими ли возвращаетесь?“ спросилъ консулъ. „Я только что пріѣхалъ,—отвѣчалъ Б.,—и хочу еще посмотрѣть край“. Выѣстъ покушавши, они разошлись *en bons amis*. Черезъ день онъ проплылъ на американскомъ пароходѣ мимо русской эскадры: кромѣ океана, опасности больше не было.

Какъ только Б. оглядѣлся и учредился въ Лондонѣ, т. е. перезнакомился со всѣми поляками и русскими, которые были на лицо, онъ принялся за дѣло. Къ страсти проповѣдыванія, агитаціи, пожалуй демагогіи, къ непрерывнымъ усиліямъ учреждать, устраивать комитеты, переговоры, заводить сношенія и придавать имъ огромное значеніе, у Б. прибавляется готовность первому идти на исполненіе, готовность погибнуть, отвага принять всѣ послѣдствія. Это натура героическая, оставленная исторіей не у дѣлъ. Онъ тратилъ свои силы иногда на вздоръ такъ, какъ левъ тратилъ шаги въ клѣткѣ, все думая, что выйдетъ изъ нея. Но онъ не риторъ, боящійся исполненія своихъ словъ или уклоняющійся отъ осуществленія своихъ общихъ теорій.....

Б. имѣлъ много недостатковъ. Но недостатки его были мелки, а сильныя качества крупны. Развѣ это одно не великое дѣло, что, брошенный судьбою куда бы то ни было, и схвативъ двѣ-три черты окружающей среды,

онъ отдѣлялъ революціонную струю и тотчасъ принимался вести ее далѣе, раздувать, дѣлать изъ нея страстный вопросъ жизни.

Говорятъ, будто И. Тургеневъ хотѣлъ нарисовать портретъ Б. въ Рудинѣ; но Рудинъ едва напоминаетъ нѣкоторыя черты Б. Тургенева, увлекаясь библейской привычкой бога, создалъ Рудина по своему образу и подобию. Рудинъ Тургенева, наслушавшійся философскаго жаргона, молодой Б.

Въ Лондонѣ онъ во первыхъ сталъ *революционировать Колоколъ* и говорилъ въ 1862 противъ насъ почти то, что говорилъ въ 1847 противъ Бѣлинскаго. Мало было пропаганды; надобно было неминуемо приложеніе, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близкихъ и дальнихъ людей, надобны были „посвященные и полупосвященные братья“, организація въ краѣ, — славянская организація, польская организація. Б. находилъ насъ умѣренными, неумѣющими пользоваться тогдашнимъ положеніемъ, недостаточно любящими рѣшительныя средства. Онъ впрочемъ не унывалъ и вѣрилъ, что въ скоромъ времени поставитъ насъ на путь истинный. Въ ожиданіи нашего обращенія, Б. сгруппировалъ около себя цѣлый кругъ славянъ. Тутъ были чехи, отъ литератора Фрича до музыканта, называвшагося Наперсткомъ; сербы, которые просто величались по батюшѣ Іоановичъ, Даниловичъ, Петровичъ; были валахи, состоявшіе въ должности славянъ, съ своимъ вѣчнымъ *еско на концѣ*; наконецъ былъ Болгаръ, лекаръ въ Турецкой арміи, и поляки всѣхъ епархій: Бонапартовской, Мирославской, Чарторижской; демократы безъ социальныхъ идей, но съ офицерскимъ оттѣнкомъ; социалисты, католики, анархисты, аристократы и просто солдаты, хотѣвшіе гдѣ нибудь подраться, въ сѣверной

или въ южной Америкѣ, и преимущественно въ Польшѣ.

Отдохнуль съ ними Б. за девятилѣтнее молчаніе и одиночество. Онъ спорилъ, проповѣдывалъ, распоряжался, кричалъ, рѣшалъ, направлялъ, организовалъ и ободрялъ цѣлый день, цѣлую ночь, цѣлыя сутки. Въ короткія минуты, оставшіяся у него свободными, онъ бросался за свой письменный столъ, разчищалъ небольшое мѣсто отъ золы и принимался писать пять, десять, пятнадцать писемъ въ Семиналатинскъ и Арадъ, въ Бѣлградъ и Царьградъ, въ Бессарабію, Молдавію и Бѣлокриницу. Середь письма онъ бросалъ перо и приводилъ въ порядокъ какого нибудь отсталого Далмата и, не кончивши своей рѣчи, схватывалъ перо и продолжалъ писать; это впрочемъ для него было облегчено тѣмъ, что онъ писалъ и говорилъ объ одномъ и томъ же. Дѣятельность его, праздность, аппетитъ и все остальное, какъ гигантскій ростъ и вѣчный потъ, все было не по человѣческимъ размѣрамъ, какъ онъ самъ; а самъ онъ исполинъ съ львиной головой, съ всклокоченной гривой.

Въ пятьдесятъ лѣтъ онъ былъ рѣшительно тотъ же кочующій студентъ съ Маросейки, тотъ же бездомный Bohémien съ rue de Bourgogne, безъ заботы о завтрашнемъ днѣ, пренебрегая деньгами, бросая ихъ, когда есть, занимая ихъ безъ разбора на право и на лѣво, когда ихъ нѣтъ, съ той простотой, съ которой дѣти берутъ у родителей, безъ заботы объ уплатѣ, съ той простотой, съ которой онъ самъ отдаетъ всякому послѣднія деньги, отдѣливъ отъ нихъ что слѣдуетъ на сигареты и чай. Его этотъ образъ жизни не тѣснилъ; онъ родился быть великимъ бродягой, великимъ бездомникомъ. Еслибъ его кто нибудь спросилъ окончательно, что онъ думаетъ о правѣ собственности, онъ

могъ бы сказать то, что отвѣчалъ Лаландъ Наполеону о Богѣ: «Sire, въ моихъ занятіяхъ я не встрѣчалъ никакой необходимости въ этомъ правѣ!» Въ немъ было что-то дѣтское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло къ нему слабыхъ и сильныхъ, отталкивая однихъ чопорныхъ мѣщанъ. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появленіе, вездѣ, въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его рѣчи въ Прагѣ, его начальство въ Дрезденѣ, процессъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіи,—гдѣ онъ исчезъ за страшными стѣнами Алексѣевского рavelина,—дѣлаютъ изъ него одну изъ тѣхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человѣкѣ лежалъ зародышъ колоссальной дѣятельности, на которую не было запроса. Б. носилъ въ себѣ возможность сдѣлаться агитаторомъ, трибуномъ, проповѣдникомъ, главой партіи, секты, іересіархомъ, бойцомъ. Поставьте его куда хотите, только въ *крайній край*, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарсиса Клотца, другомъ Гракха Бабефа, и онъ увлекалъ бы массы и потрясалъ бы судьбами народовъ:—

Но здѣсь, подъ гнетомъ власти царской,

Колумбъ безъ Америки и корабля, онъ, послуживъ противъ воли года два въ артиллеріи, да года два въ московскомъ гегелизмѣ, торопился оставить край, въ которомъ мысль преслѣдовалась, какъ дурное намѣреніе и независимое слово, какъ оскорбленіе общественной нравственности.

Вырвавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвращался до тѣхъ поръ, пока пикетъ австрійскихъ драгунъ не сдалъ его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники цѣлесообразности, милые фаталисты рационализма, все еще дивятся премудрому à propos, съ которымъ являются таланты и дѣятели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая сколько зародышей мретъ, гложнеть, не выдавши свѣта, сколько способностей, готовностей вянутъ, потому что ихъ не нужно.

Когда въ спорѣ, Б., увлекаясь, съ громомъ и трескомъ обрушивалъ на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Б. прощали, и я первый. Мартыновъ бывало говаривалъ: „это, Александръ Ивановичъ, большая Лпза, какъ же на нее сердиться: дптѣ!“

Какъ онъ дошелъ до женитьбы, я могу только объяснить Сибирской скукой. Онъ свято сохранилъ всѣ привычки и обычаи *родины*, т. е. студентской жизни въ Москвѣ; груды табаку лежали на столѣ въ родѣ приготовленнаго фуража, зола сигаръ надъ бумагами съ недопитыми стаканами чая; съ утра дымъ столбомъ ходилъ по комнатѣ отъ цѣлаго хора курильщиковъ, курившихъ точно въ запуски, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словомъ такъ, какъ курятъ одни русскіе и славяне. Много разъ наслаждался я удивленіемъ, сопровождавшимся нѣкоторымъ ужасомъ, и замѣшательствомъ хозяйской горничной Грассъ, когда она глубокой ночью приносила горячую воду и пятую сахарницу сахара въ эту готовальню Славянскаго освобожденія.

Долго послѣ отъѣзда Б. изъ Лондона, въ N. 10 Paddington Green рассказывали объ его житѣй-бытѣй, ниспровергнувшемъ всѣ упроченныя англійскими мѣща-



намъ понятія и религіозно принятыя ими размѣры и формы. Замѣьте при этомъ, что горничная и хозяйка безъ ума любили его.

— Вчера—говорить Б. одинъ изъ его друзей—пріѣхалъ такой-то изъ Россіи; прекраснѣйшій человѣкъ, бывшій офицеръ.

— Я слыхалъ объ немъ, его очень хвалили.

— Можно его привести?

— Непремѣнно, да что привести, гдѣ онъ? Сейчасъ.

— Онъ, кажется, нѣсколько конституціоналистъ.

— Можетъ быть, но.....

— Но я знаю, рыцарски отважный и благородный человѣкъ.

— И вѣрный?

— Его очень уважаютъ въ Orsett house.

— Идемъ.

— Куда же? вѣдь онъ хотѣлъ къ вамъ прийти, мы такъ сговорились, я его приведу.

Б. бросается писать; пишетъ, перемариваетъ кой-что, переписываетъ и печатаетъ пакетъ, адресуемый въ Яссы; въ безпокойствѣ ожиданія начинаетъ ходить по комнатѣ ступней, отъ которой и весь домъ N. 10 Paddington Green ходитъ ходенемъ съ нимъ вмѣстѣ.

Является офицеръ скромно и тихо. Б. le met à l'aise, говоритъ какъ товарищъ, какъ молодой человѣкъ, увлекается, журитъ за конституціонализмъ, и вдругъ спрашиваетъ:

— Вы навѣрно не откажетесь сдѣлать что нибудь для общаго дѣла?

— Безъ сомнѣнія.

— Васъ здѣсь ничего не удерживаетъ?

— Ничего; я только что пріѣхалъ, я.....

— Можете вы ѣхать завтра, послѣ завтра, съ этимъ письмомъ въ Яссы ?

Этого не случалось съ офицеромъ ни въ дѣйствующей арміи во время войны, ни въ генеральномъ штабѣ; однако, привынувшій къ военному послушанію, онъ, помолчавши, говоритъ не совсѣмъ своимъ голосомъ: О да !

— Я такъ и зналъ. Вотъ письмо совсѣмъ готовое.

— Да я хоть сейчасъ, только ..... (офицеръ конфузится) я никакъ не рассчитывалъ на эту побѣду.

— Что ? денегъ нѣтъ ? Ну такъ и говорите. Это ничего не значить. Я возьму для васъ у Герцена ; вы ему потомъ отдадите. Что тутъ, всего — всего какіе нибудь 20 фунтовъ. Я сейчасъ напишу ему. Въ Яссахъ вы деньги найдете. Оттуда проберетесь на Кавказъ. Тамъ намъ особенно нуженъ вѣрный человѣкъ.

Пораженный, удивленный офицеръ, какъ равно и его спутникъ, уходятъ. Маленькая дѣвочка, бывшая у Б. на большихъ дипломатическихъ посылкахъ, летитъ ко мнѣ по дождю и слякоти съ запиской. Я для нея нарочно завелъ шоколадъ en losenges, чтобъ чѣмъ нибудь утѣшить ее въ климатѣ и отечествѣ, а потому даю ей большую горсть и прибавляю : „скажите высокому gentleman'у, что я лично съ нимъ переговорю“. Дѣйствительно, переписка оказывается излишней. Къ обѣду, т. е. черезъ часъ, является Б.

— Зачѣмъ 20 фунтовъ для \*\* ?

— Не для него, для *дѣла*; а что братъ, \*\* прекрасный человѣкъ ?

— Я его знаю нѣсколько лѣтъ. Онъ бывалъ прежде въ Лондонѣ.

— Это такой случай, пропустить его грѣшно ; я его посылаю въ Яссы. Да потомъ онъ осмотритъ Кавказъ.

— Въ Яссы ? И оттуда на Кавказъ ?

— Ты пойдешь сейчасъ острить. Каламбурамъ ничего не докажешь.

— Да вѣдь тебѣ ничего не нужно въ Яссахъ?

— Ты почему знаешь?

— Знаю потому во первыхъ, что никому ничего не нужно въ Яссахъ; а во вторыхъ, еслибъ нужно было, ты недѣлю бы постоянно мнѣ говорилъ объ этомъ. Тебѣ просто попался человѣкъ молодой, застѣнчивый, хотящій доказать свою преданность: ты и придумалъ послать его въ Яссы. Онъ хочетъ видѣть выставку, а ты ему покажешь Молдовалахию. Ну скажи-ка зачѣмъ?

— Какой любопытный. Ты въ эти дѣла со мной не входишь, какое же ты имѣешь право спрашивать?

— Это правда, я даже думаю, что этотъ секретъ ты скроешь ото всѣхъ; ну а только денегъ давать на гонцовъ въ Яссы и Бухарестъ я нисколько не намѣренъ.

— Вѣдь онъ отдастъ, у него деньги будутъ.

— Такъ пусть умиѣ употребить ихъ; полно, полно; письмо пошлешь съ какимъ нибудь Петреско-Манон-Леско, а теперь пойдемъ ѣсть.

И Б., самъ смѣясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за трудъ обѣда, поблѣ котораго всякій разъ говорилъ: „Теперь настала счастливая минута“, и закуривалъ папирску. Онъ принималъ всѣхъ, всегда, во всякое время. Часто онъ еще, какъ Онѣгинъ, спалъ или ворочался на постели, которая хрустѣла; а ужъ два-три славянина въ его комнатѣ съ отчаянной торопливостью курили; онъ тяжело вставалъ, обливался водой и въ ту же минуту принимался ихъ поучать; никогда не скучалъ онъ, не тяготился ими; онъ могъ не уставая говорить со свѣжей головой съ самымъ умнымъ и самымъ глупымъ человѣкомъ.

Отъ этой неразборчивости выходила иногда пресмѣшныя вещи.

Б. вставалъ поздно; нельзя было иначе и сдѣлать, употребляя ночь на бесѣду и чай.

Разъ, часу въ одиннадцатомъ, слышитъ онъ, кто-то копошится въ его комнатѣ. Постель его стояла въ большемъ альковѣ, задернутомъ занавѣсью.

— Кто тамъ? кричитъ Б., просыпаясь.

— Русскій.

— Ваша фамплія.

— Такой-то.

— Очень радъ.

— Что вы это такъ поздно встаете, а еще демократъ.

... Молчаніе: слышенъ плескъ воды, каскады.

— Михаилъ Александровичъ!

— Что?

— Я васъ хотѣлъ спросить, вы вѣнчались въ церкви?

— Да.

— Не хорошо сдѣлали. Что за образецъ непоследовательности; вотъ и Т..... свою дочь прочитъ за мужъ. Вы старики должны насъ учить примѣромъ.

— Что вы за вздоръ несете.

— Да вы скажите, по любви женились?

— Вамъ что за дѣло?

— У насъ былъ слухъ, что вы женились отъ того, что невѣста ваша богата (\*).

— Что вы это допрашивать меня пришли? ступайте къ черту.

— Ну вотъ вы и разсердились, а я право отъ чистой души. Прощайте. А я все такъ зайду.

— Хорошо, хорошо: только будьте умнѣе.

(\*) Б. ничего не взялъ за невѣстой.

Между тѣмъ польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на нѣсколько дней въ Лондонъ Потебня. Грустный, чистый, беззавѣтно отдавшійся урагану, онъ пріѣзжалъ поговорить съ нами отъ себя и отъ товарищей, и все таки итти своей дорогой. Чаше и чаще являлись поляки изъ края; ихъ языкъ былъ опредѣленнѣе и рѣзче, они шли къ взрыву прямо и сознательно. Мнѣ съ ужасомъ мерещилось, что они идутъ на неминуемую гибель.

— Смертельно жаль Потебню и его товарищей, говорилъ я Б., и тѣмъ больше, что врядъ ли имъ по дорогѣ съ поляками.

— По дорогѣ, по дорогѣ, возражалъ Б. Не сидѣтъ же намъ вѣчно сложа руки и рефлектируя. Исторію надобно принимать какъ представляется; не то всякій разъ будешь за урядъ то позади, то впереди.

Б. помолодѣлъ, онъ былъ въ своемъ элементѣ. Онъ любилъ не только ревъ возстанія и шумъ клуба, площади и барикады, онъ любилъ также и приготовительную агитацію. Эту возбужденную и вмѣстѣ съ тѣмъ задержанную жизнь конспирацій, консультацій, 'неспан-ныхъ' ночей, переговоровъ, договоровъ, ректификацій, химическихъ чернилъ и условныхъ знаковъ. Кто изъ участниковъ не знаетъ, что репетиціи къ домашнему спектаклю и приготовленіе елки составляетъ одну изъ лучшихъ, изящныхъ частей. Но какъ онъ ни увлекался приготовленіями елки, у меня на сердцѣ скребли кошки; я постоянно спорилъ съ нимъ и, нѣхотя дѣлалъ не то, что хотѣлъ.

Здѣсь я останавливаюсь на грустномъ вопросѣ. Какимъ образомъ, откуда взялась во мнѣ эта уступчивость съ ропотомъ, эта слабость съ мятежемъ и протестомъ? Съ одной стороны достовѣрность, что поступать надо

такъ; съ другой — готовность поступать совсѣмъ иначе. Эта шаткость, эта неспѣтность, dieses Zögernde, надѣлали въ моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабой утѣхи въ сознаніи ошибки, невольной, несознанной; я дѣлалъ промахи à contre sens; вся отрицательная сторона была у меня передъ глазами. Я рассказывалъ въ одной изъ предыдущихъ частей мое участіе въ 13 Іюня 1849. Это типъ того, о чемъ я говорю. Ни на одну минуту я не вѣрнулъ въ успѣхъ 13 Іюня; я видѣлъ нецѣлостность движенія и его безсиліе; народное равнодушіе, осмирѣлость реакціи и мелкій уровень революціонеровъ. (Я писалъ объ этомъ и все же пошелъ на площадь, смѣясь надъ людьми, которые шли.)

Сколькими несчастіями было бы меньше въ моей жизни, сколькими ударами, еслибъ я имѣлъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ силу слушаться самого себя. Меня упрекали въ увлекающемся характерѣ; увлекался и я, но это не составляетъ главнаго. Отдаваясь по удобовпечатливости, я тотчасъ останавливался; мысль, рефлексія и наблюдательность всегда почти брали верхъ въ теоріи, но не въ практикѣ. Тутъ и лежитъ вся трудность задачи, почему я давалъ себя вести *volens volens*.....

Причиною быстрой сговорчивости былъ ложный стыдъ, а иногда и лучшія побужденія любви, дружбы, снисхожденія; но почему же все это побуждало логичу?

Послѣ похоронъ Ворцеля, 5 февраля 1857, когда всѣ провожавшіе разбрелись по домамъ, и я, воротившись въ свою комнату, сѣлъ грустно за свой письменный столъ, мнѣ пришелъ въ голову печальный вопросъ: не опустили ли мы въ землю вмѣстѣ съ этимъ праведникомъ и не схоронили ли съ нимъ всѣ наши отношенія съ польскою эмиграціей?

Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющимъ началомъ при непрерывно возникавшихъ недоразумѣнiяхъ, исчезла, а недоразумѣнiя остались. Частно, лично, мы могли любить того-другаго изъ поляковъ, быть съ ними близкими; но вообще одинаковаго пониманья между нами было мало, и оттого отношенiя наши были натянутыми, добросовѣстно неоткровенными; мы дѣлали другъ другу уступки, т. е. ослабляли сами себя, уменьшали другъ въ другъ чуть ли не лучшия силы. Договориться до одинаковаго пониманiя было невозможно. Мы шли съ разныхъ точекъ и пути наши только пересѣкались въ общей ненависти къ петербургскому самовластию. Идеаль поляковъ былъ *за нами*, они шли къ своему прошедшему, насильственно срѣзанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У нихъ была бездна мощей, а у насъ пустыя колыбели. Во всѣхъ ихъ дѣйствiяхъ и во всей поэзiи столько же отчаянiя, сколько яркой вѣры.

Они шпугутъ воскресенья мертвыхъ, мы хотимъ поскорѣе схоронить своихъ. Формы нашего мышленiя, упованiя—не тѣ; весь генiй нашъ, весь складъ не имѣетъ ничего сходнаго. Наше соединенiе съ ними казалось намъ то *mésalliance* омъ, то разсудочнымъ бракомъ. Съ нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины: мы признавали свою косвенную вину, мы любили ихъ отвагу и уважали ихъ несокрушимый протестъ. Что они могли въ насъ любить? что уважать? Они переламинали себя, сближаясь съ нами; они дѣлали для нѣсколькихъ русскихъ почетное исключенiе.

Въ острожной темнотѣ Николаевскаго царствованiя, сидя на заперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали другъ другу, чѣмъ знали. Но когда окно немного приотворилось, мы догадались, что насъ привели

по разнымъ дорогамъ и что мы разойдемся по разнымъ. Послѣ Крымской кампаніи мы радостно вздохнули, а ихъ наша радость оскорбила: новый воздухъ въ Россіи имъ напомнилъ ихъ утраты, а не надежды. У насъ новое время началось съ заносчивыхъ требованій, мы рвались впередъ, готовые все ломать, у нихъ—съ панихидъ и упокойныхъ молитвъ. Но правительство второй разъ насъ спаяло съ ними. Передъ выстрѣлами по попамъ и дѣтямъ, по распятіямъ и дамамъ, передъ выстрѣлами по гимназъ и молитвамъ замолкли всѣ вопросы, стерлись всѣ различія. Со слезами и плачемъ написали и тогда рядъ статей, глубоко тронувшихъ поляковъ.

Старикъ Адамъ Чарторижскій съ смертнаго одра прислалъ мнѣ съ сыномъ теплое слово; въ Парпжѣ депутація поляковъ поднесла мнѣ адресъ, подписанный четырьмястами изгнанниковъ, къ которому присылались подписи отовсюду, — даже отъ польскихъ выходцевъ, жившихъ въ Алжирѣ и въ Америкѣ. Казалось, во многомъ мы были близки: но шагъ глубже и рознь, рѣзкая рознь, бросалась въ глаза.

..... Разъ у меня сидѣли Ксаверій Браницкій, Хоецкий и еще кто-то изъ поляковъ; всѣ они были проѣздомъ въ Лондонѣ и заѣхали позать мнѣ руку за статьи. Зашла рѣчь о выстрѣлѣ въ Константина. Выстрѣлъ этотъ, сказалъ я, страшно повредить вамъ. Можетъ правительство и уступило бы кое-что; теперь оно ничего не уступитъ и сдѣлается вдвое свирѣпѣе.

— Да мы только этого и хотимъ! замѣтилъ съ жаромъ Ш. Е. — для насъ нѣтъ хуже несчастья, какъ уступки; мы хотимъ разрыва, открытой борьбы!

— Желаю отъ души, чтобъ вы не раскаялись.



Ш. Е. иронически улыбнулся, и никто не прибавил ни слова. Это было лѣтомъ 1861 года. А черезъ полтора года говорилъ тоже Падлевскій, отправляясь *черезъ Петербургъ въ Польшу*.

Кости были брошены!.....

Б. вѣрилъ въ возможность военно-крестьянскаго возстанія въ Россіи, вѣрили отчасти и мы; да *отрихло и само правительство*, какъ оказалось вполсѣдствіи рядомъ мѣръ, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряженіе умовъ, броженіе умовъ было неоспоримо, и никто не предвидѣлъ тогда, что его свернуть на свирѣпый патріотизмъ.

Б., не слишкомъ останавливаясь на взвѣшиваніи всѣхъ обстоятельствъ, смотрѣлъ на одну дальнюю цѣль и принялъ второй мѣсяцъ беременности за девятый. Онъ увлекалъ не доводами, а желаніемъ. Онъ *хотѣлъ* вѣрить и вѣрилъ, что Жмудь и Волга, Донъ и Украина возстанутъ какъ одинъ человѣкъ, услышавъ о Варшавѣ; онъ вѣрилъ, что старовѣръ воспользуется католическимъ движеніемъ, чтобъ узаконить расколъ.

Въ томъ, что между офицерами войскъ, расположенныхъ въ Польшѣ и Литвѣ, общество, къ которому принадлежалъ Потебня, росло и крѣпло—сомнѣнія не могло быть; но оно далеко не имѣло той силы, которую ему преднамѣренно придавали поляки и наивно Б.

Какъ-то, въ концѣ сентября, пришелъ ко мнѣ Б. особенно озабоченный и нѣсколько торжественный. „Варшавскій Центральный Комитетъ, — сказалъ онъ, — прислалъ двухъ членовъ, чтобъ переговорить съ нами. Одного изъ нихъ ты знаешь: это Падлевскій; другой Г., закаленный боецъ; онъ изъ Польши прогулялся въ кандалахъ до рудниковъ и, только-что возвратился, снова принялся за дѣло. Сегодня вечеромъ я ихъ при-

веду къ вамъ, а завтра соберемся у меня: надобно *окончательно опредѣлить наши отношенія*“.

Тогда набирался мой отвѣтъ офицерамъ (\*).

— Моя программа готова; я имъ прочту мое письмо.

— Я согласенъ съ твоимъ письмомъ, ты это знаешь; но не знаю, все ли понравится имъ; во всякомъ случаѣ, я думаю, что этого имъ будетъ мало.

Вечеромъ Б. пришелъ съ тремя гостями вмѣсто двухъ. Я прочелъ мое письмо. Во время разговора и чтенія Б. сидѣлъ встревоженный, какъ бываетъ съ родственниками на экзаменѣ, или съ адвокатами, трепещущими, чтобъ ихъ кліентъ не проврался и не испортилъ всей *игры защиты*, хорошо наложенной, если не по всей правдѣ, то въ успѣшному концу.

Я видѣлъ по лицамъ, что Б. угадалъ и что чтеніе не то чтобъ особенно понравилось. Прежде всего, замѣтилъ Г., мы прочтемъ письмо къ вамъ отъ Центральнаго Комитета. Читалъ М.; документъ этотъ, извѣстный читателямъ *Колокола*, былъ написанъ по русски, не совсемъ правильнымъ языкомъ, но ясно. Говорили, что я его перевелъ съ французскаго и переименовалъ: это *не правда*. Всѣ трое говорили хорошо по русски.

Смыслъ акта состоялъ въ томъ, чтобъ черезъ насъ сказать русскимъ, что слагающееся польское правительство согласно съ нами и кладетъ въ основаніе своихъ дѣйствій *„Признаніе права крестьянъ на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякаго народа располагать своей судьбой“*. Это заявленіе, говорилъ М., обязывало меня смягчить вопросительную и сомнѣвающуюся форму моего письма. Я согласился на нѣкоторыя перемѣны и предложилъ имъ съ своей стороны

(\*) *Колоколъ* 1862 года.

посильнѣе оттъпнуть и яснѣе высказать мысль о само-законности провинцій; они согласились. Этотъ споръ изъ-за словъ показывалъ, что сочувствіе наше къ однимъ и тѣмъ же вопросамъ не было *одинаково*.

На другой день утромъ Б. уже сидѣлъ у меня. Онъ былъ недоволенъ мной, находилъ, что я слишкомъ холоденъ, какъ будто не довѣряю.

— Чего же ты больше хочешь? Поляки никогда не дѣлали такихъ уступокъ. Они выражаются другими словами, принятыми у нихъ какъ катехизисъ; нельзя же имъ, поднимая національное знамя, на первомъ шагѣ оскорбить раздражительное народное чувство.

— Мнѣ все кажется, что имъ до крестьянской земли въ сущности мало дѣла, а до провинцій слишкомъ много.

— Любезный другъ, у тебя въ рукахъ будетъ документъ, направленный тобой, подписанный при всѣхъ насъ, чего же тебѣ еще?

— Есть такъ кое-что.

— Какъ для тебя труденъ каждый шагъ! ты вовсе не практическій человѣкъ.

— Это уже прежде тебя говорилъ Сазоновъ.

Б. махнулъ рукой и пошелъ въ комнату къ Огареву. Я печально смотрѣлъ ему вслѣдъ; я видѣлъ, что онъ запилъ свой революціонный запой и что съ нимъ не столкнешь теперь. Онъ шагаль семи-мильными сапогами черезъ горы и моря, черезъ годы и поколѣнія. За возстаніемъ въ Варшавѣ, онъ уже видѣлъ свою „славную и славянскую“ федерацію, о которой поляки говорили не то съ ужасомъ, не то съ отвращеніемъ; онъ уже видѣлъ красное знамя „Земля и Воля“, развѣвающимся на Уралѣ и Волгѣ, на Украинѣ и Кавказѣ, пожалуй на Зимнемъ Дворцѣ и Петропавловской крѣпости, и торопился сгладить *какъ нибудь* затрудненія, затушевать

противорѣчія, не выполнить овраги, а бросить черезъ нихъ чертовъ мостъ.

„Нѣтъ освобожденія безъ земли.“

— Ты точно дипломатъ на Вѣнскомъ конгрессѣ, повторялъ мнѣ съ досадою Б., когда мы потомъ толковали у него съ представителями жонда: придираешься къ словамъ и выраженіямъ. Это не журнальная статья, не литература.

— Съ моей стороны, замѣтилъ Г., я изъ-за словъ спорить не стану; мѣняйте какъ хотите, лишь бы главный смыслъ остался тотъ же.

— Браво Г., радостно воскликнулъ Б.

*Ну этотъ,—подумалъ я,—пріѣхалъ подкованный и по тѣниному и на шипы; онъ ничего не уступитъ на дѣлѣ и оттого такъ легко уступаетъ все на словахъ.*

Актъ поправили, члены жонда подписались; я его послалъ въ типографію.

Г. и его товарищи были убѣждены, что мы представляли заграничное средоточіе цѣлой организаціи, зависящей отъ насъ и которая по нашему приказу примкнетъ къ нимъ или нѣтъ. Для нихъ, дѣйствительно, дѣло было *не въ словахъ* и не въ теоретическомъ согласіи; свое *profession de foi* они всегда могли отгнать толкованіями такъ, что его яркіе цвѣта пропали бы, полиняли и пзмѣнились.

Что въ Россіи влялись первыя ячейки *организаціи*, въ этомъ не было сомнѣнія: первыя волокна, нити, были замѣтны простому глазу; изъ этихъ нитей, узловъ, могла образоваться при тишинѣ и времени обширная ткань. Все это такъ; *но ея не было* и каждый сильный ударъ грозилъ сгубить работу на цѣлое поколѣніе и разорвать начальныя кружева паутины.

Вотъ это-то я и сказалъ, отправивъ печатать письмо Комитета, Г. и его товарищамъ, говоря имъ о несвоевременности ихъ возстанія. Падлевскій слишкомъ хорошо зналъ Петербургъ, чтобъ удивиться моимъ словамъ; хотя и *утвердилъ меня*, что сила и развѣтвленіе общества „Земли и Воли“ идутъ гораздо дальше, чѣмъ мы думаемъ, но Г. призадумался. „Вы думали,—сказалъ я ему улыбаясь,— что мы сильнѣе? Да, Г., вы не ошиблись, сила у насъ есть большая и дѣятельная, но сила эта вся утверждается на общественномъ мнѣніи, т. е. она можетъ сейчасъ улетучиться; мы сильны *сочувствіемъ* къ намъ, унисономъ съ своими. Организацин, которой бы мы сказали: иди на право или на лѣво, *нѣтъ*.“

— Да, любезный другъ, однако же, началъ Б., ходившій въ волненіи по комнатѣ...

— Что же, развѣ *есть*? спросилъ я его и остановился.

— Ну, это какъ ты хочешь назвать; конечно, если взять внѣшнюю форму, это совсѣмъ не въ русскомъ характерѣ. Да видишь.....

— Позволь же мнѣ кончить; я хочу пояснить Г., почему я такъ настаивалъ на словахъ. Если въ Россіи на нашемъ знамени не увидятъ *надѣлъ земли и волю провинціямъ*, то наше сочувствіе вамъ *не принесетъ никакой пользы, а насъ погубитъ*; потому что вся наша сила въ одинаковомъ біеніи сердца; у насъ оно можетъ бѣгаться посильнѣе и потому ушло секундой впередъ, чѣмъ у друзей нашихъ; но они связаны съ нами сочувствіемъ, а не службой!

— Вы будете нами довольны, говорили Г. и Падлевскій.

Черезъ день двое изъ нихъ отправились въ Варшаву; третій уѣхалъ въ Парижъ.

Наступило затишье передъ грозой. Время темное,

тяжелое, въ которое все казалось, что туча пройдетъ, а она все приближалась; тутъ явился указъ о „подтасованномъ“ наборѣ: это была послѣдняя капля; люди, еще останавливавшіеся передъ рѣшительнымъ и невозвратнымъ шагомъ, рвались на бой. Теперь и *бѣлые* стали переходить на сторону движенія.

Пріѣхалъ опять Падлевскій, наборъ не отмѣнялся. Падлевскій уѣхалъ въ Польшу.

Б. собирался въ Стокгольмъ совершенно независимо отъ экспедиціи Лапинскаго, о которой тогда никто не думалъ. Мелькомъ явился Потебня и исчезъ вслѣдъ за Б. Въ тоже время какъ Потебня, пріѣхалъ черезъ Варшаву изъ Петербурга, уполномоченный отъ „Земли и Воли“. Онъ съ негодованіемъ рассказывалъ, какъ поляки, пригласившіе его въ Варшаву, ничего не сдѣлали. Онъ былъ первый русскій, видѣвшій начало возстанія. Онъ рассказалъ объ убійствѣ солдатъ, о раненомъ офицерѣ, который былъ членомъ общества. Солдаты думали, что это предательство, и начали съ ожесточеніемъ бить поляковъ. Падлевскій, главный начальникъ въ Ковно, рвалъ волосы, но боялся ясно выступить противъ своихъ.

Уполномоченный былъ полонъ важности своей миссіи и пригласилъ насъ сдѣлаться *агентами* Общества „Земли и Воли“. Я отклонилъ это къ крайнему удивленію не только Б., но и Огарева. Я сказалъ, что мнѣ не нравится это битое, французское названіе. Уполномоченный трактовалъ насъ такъ, какъ Комиссары Конвента 1793 г. трактовали генераловъ въ дальнихъ арміяхъ. Мнѣ и это не понравилось.

— А много васъ? — спросилъ я.

— Это трудно сказать: нѣсколько сотъ человѣкъ въ Петербургѣ и *тысячи три* въ провинціяхъ.

— Ты вѣришь? спросилъ я потомъ Огарева. Онъ промолчалъ.— Ты вѣришь? спросилъ я Б.

— Конечно онъ прибавилъ: ну, *нынѣ теперь столько, такъ будутъ потомъ!* и онъ расхохотался.

— Это другое дѣло.

— Въ томъ-то все и состоитъ, чтобъ поддержать слабыя начинанія; еслибъ они были крѣпки, они и не нуждались бы въ насъ,—замѣтилъ Огаревъ, въ этихъ случаяхъ всегда недовольный своимъ скептицизмомъ.

— Они такъ и должны бы были явиться передъ нами, откровенно слабыми, желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агенство.

— Это молодость, прибавилъ Б. и уѣхалъ въ Швецію. А вслѣдъ за нимъ уѣхалъ и Потебня. Удручительно горестно я простился съ нимъ; я ни одной секунды не сомнѣвался, что онъ прямо идетъ на гибель.

..... За нѣсколько дней до отъѣзда Б. пришелъ Мартыановъ блѣднѣе обыкновеннаго, печальнѣе обыкновеннаго; онъ сѣлъ въ углу и молчалъ. Онъ страдалъ по Россіи и носился съ мыслью о возвращеніи домой. Шелъ споръ о возстаніи. Мартыановъ слушалъ молча, потомъ всталъ, собрался идти и вдругъ, остановившись передо мной, мрачно сказалъ мнѣ: Вы не сердитесь на меня, Александръ Ивановичъ, такъ ли, иначе ли, а *Колоколь*-то вы порѣшили. Что вамъ за дѣло мѣшаться въ польскія дѣла? Поляки можетъ и правы, но ихъ дѣло шляхетное—не ваше. Не пожалѣли вы насъ, богъ съ вами, Александръ Ивановичъ. Попомните, что я говорилъ. Я-то самъ не увижу, я ворочусь домой. Здѣсь мнѣ нечего дѣлать.

— Ни вы не поѣдете въ Россію, ни *Колоколь* не погибъ, отвѣтилъ я ему.

Онъ молча ушелъ, оставляя меня подъ тяжелымъ гнетомъ втораго пророчества и какого-то темнаго сознанія, что что-то ошибочное сдѣлано.

Мартыяновъ какъ сказалъ, такъ и сдѣлалъ; онъ воротился весной 1863 и пошелъ умирать на каторгу, сосланный своимъ „земскимъ царемъ“ за любовь къ Россіи, за вѣру въ него.

Къ концу 1863 года расходъ *Колокоми* съ 2500—2000 сошелъ на 500 и ни разу не подымался далѣе 1000 экземпляровъ.

Шарлота Кордэ изъ Орлова и Даніилъ изъ крестьянъ были *правы*!

Писано въ Montreux и Lausanne, въ концѣ 1865 года.

Друзья,

Съ глубокой любовью и глубокой печалью провожаемъ мы къ вамъ вашего товарища; только тайная надежда, что *это* возстаніе будетъ отложено, сколько нибудь успокоиваетъ и за вашу участь и за судьбу *всего дѣла*. Мы понимаемъ, что вамъ нельзя не примкнуть къ польскому возстанію, какое бы оно ни было; вы искупите собой грѣхъ русскаго императорства; да сверхъ того, оставите Польшу на побіеніе, безъ всякаго протеста со стороны русскаго войска, также имѣло бы свою вредную сторону безмолвно покорнаго, безнравственнаго участія Руси въ Петербургскомъ палачествѣ.

Тѣмъ не менѣе, ваше положеніе трагично и безвыходно. Шанса на успѣхъ мы никакого не видимъ. Даже еслибъ Варшава на одинъ мѣсяцъ была свободна, то оказалось бы только, что вы заплатили долгъ своимъ участіемъ въ движеніи *національной независимости*, но что воздвигнуть русскаго соціальнаго знамени *Земли и Воли* — Польшѣ не дано; а вы слишкомъ малочисленны.

При теперешнемъ преждевременномъ возстаніи, Польша, очевидно, погибнетъ, а русское дѣло на долго потонетъ въ чувствѣ народной ненависти, идущей въ связи съ преданностью царю и воскреснетъ только послѣ, долго послѣ, когда вашъ подвигъ перейдетъ въ такое же преданье, какъ 14 Декабря, и взволнуетъ умы поколѣнія, теперь еще не зачатого.



Выводъ отсюда ясенъ : отклоните возстаніе до лучшаго времени *соединенія силъ*, отклоните его вашимъ вліяніемъ на Польскій Комитетъ и вліяніемъ на само правительство, которое со страха еще можетъ отложить несчастный наборъ, отклоните его всѣми средствами, отъ васъ зависящими.

Если ваши усилія останутся безплодными, тутъ больше дѣлать нечего, какъ покориться судьбѣ и принять неизбежное мученичество, хотя бы его послѣдствіемъ былъ застой Россіи на десятки лѣтъ. По крайней мѣрѣ, сберегите по возможности людей и силы, чтобъ изъ несчастнаго, проиграннаго боя оставались элементы для будущей отдаленной побѣды. Если же вы успѣете и возстаніе будетъ отложено, тогда вы должны начертить себѣ твердую линію поведения и не уклоняться отъ нея.

Тогда вамъ надо имѣть одно въ виду : дѣлать общее русское дѣло, а не исключительно польское ; составить цѣлую неразрывную цѣпь тайнаго союза во всѣхъ войскахъ, во имя *Земли и Воли* и Земскаго Собора, какъ сказано въ вашемъ письмѣ къ Русскимъ Офицерамъ. Для этого надо, чтобъ Русскій Офицерскій Комитетъ сталъ самобытно ; поэтому центръ его долженъ быть внѣ Польши. Вы должны внѣ себя организовать центръ, которому сами подчинитесь ; тогда вы будете командовать положеніемъ и поведете стройно организацію, которая придетъ къ возстанію не во имя исключительно польской національности, а во имя *Земли и Воли*, и которая придетъ къ возстанію не вслѣдствіе минутныхъ потребностей, а тогда, когда всѣ силы разсчитаны и успѣхъ несомнителенъ.

Для насъ этотъ планъ такъ ясенъ, что и вы не можете не сознавать того, что надо дѣлать.

Добейтесь его какихъ бы трудовъ ни стоило.

Н. Огаревъ.

Друзья и братья,

Строки, писанныя другомъ нашимъ, Николаемъ Платоновичемъ Огаревымъ, проникнуты искреннею и безконечною преданностію къ великому дѣлу нашего народнаго да и общеславянскаго освобожденія. Нельзя не согласиться съ нимъ, что общему, мѣрному ходу славянскаго и въ особенности русскаго поступательнаго движенія, преждевременное и частное возстаніе Польши грозитъ перерывомъ. Признаться надо, что, при настоящемъ настроеніи Россіи и цѣлой Европы, надежда на успѣхъ такого возстанія слишкомъ мала, и что пораженіе партіи движенія въ Польшѣ будетъ имѣть непремѣннымъ

послѣдствіемъ временное торжество царскаго деспотизма въ Россіи. Но съ другой стороны, положеніе поляковъ до того невыносимо, что врядъ ли у нихъ станеть на долго терпѣнія.

Само правительство гнусными мѣрами систематическаго и жестокаго притѣсненія вызываетъ ихъ, кажется, на возстаніе, отложить которое было бы по этому самому столько же нужно для Польши, какъ и необходимо для Россіи. Отложеніе его до болѣе дальняго срока было бы безъ всякаго сомнѣнія и для нихъ и для насъ спасительно. Къ этому вы должны устремить всѣ усилія свои, не оскорбляя однако ни ихъ священнаго права, ни ихъ національнаго достоинства. Угоаривайте ихъ сколько можете и доколѣ обстоятельства позволяютъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ не теряйте времени, пропагандируйте и организуйтесь, дабы быть готовыми къ рѣшительной минутѣ, и, когда, выведенные изъ послѣдней мѣры возможнаго терпѣнія, наши несчастные польскіе братья встанутъ, встаньте и вы, не противъ нихъ, а за нихъ, — встаньте во имя русской чести, во имя славянскаго долга, во имя русскаго народнаго дѣла съ кликомъ: *Земля и Воля*. И, если вамъ суждено погибнуть, сама погибель ваша послужитъ общему дѣлу... А богъ знаетъ! можетъ быть геройскій подвигъ вашъ, въ противность всѣмъ расчетамъ холоднаго разсудка, неожиданно увѣнчается и успѣхомъ.....

Что же до меня касается, чтобъ васъ ни ожидало, успѣхъ или гибель, я надѣюсь, что мнѣ будетъ дано раздѣлить вашу участь.

Прощайте—и, можетъ быть, до скорого свиданія.

М. Б.



# ПАРОХОДЪ WARD JACKSON

R. WETERLI & C<sup>o</sup>

## I

Вотъ что случилось мѣсяца за два до польскаго возстанія: одинъ полякъ, прїѣзжавшій не на долго изъ Парижа въ Лондонъ, Іосифъ Цверчакевичъ, по прїѣздѣ въ Парижъ, былъ схваченъ и арестованъ вмѣстѣ съ Х. и М., о которомъ я упомянулъ при свиданьи съ членами жонда.

Во всей арестациі было много страннаго. Х. прїѣхалъ въ десятомъ часу вечера; онъ никого не зналъ въ Парижѣ и прямо отправился на квартиру М. Около одиннадцати явилась полиція. — Вашъ пассъ, спросилъ комиссаръ Х.

— Вотъ онъ, и Х. подалъ исправно визированный пассъ на другое имя. — Такъ, такъ, сказалъ комиссаръ: я зналъ, что вы подъ этимъ именемъ. Теперь вашъ портфель, спросилъ онъ Цверчакевича; онъ лежалъ на столѣ. Полицейскій вынулъ бумаги, посмотрѣлъ ихъ и, передавая своему товарищу небольшое письмо съ надписью Е. А., прибавилъ: Вотъ оно.

Всѣхъ трехъ арестовали, забрали у нихъ бумаги, потомъ выпустили. Дольше другихъ задержали Х. Для полицейскаго изыщества, пмѣ хотѣлось, чтобъ онъ наз-

вался своимъ племенемъ. Онъ имъ не сдѣлалъ этого удовольствія. Выпустили и его черезъ недѣлю.

Когда, годъ или больше спустя, прусское правительство дѣлало нелѣпѣйшій познанскій процессъ, прокуроръ въ числѣ обвинительныхъ документовъ представилъ бумаги, присланныя изъ русской полиціи и принадлежавшія Цверчаѣвичу. На возникнувшій вопросъ, какимъ образомъ бумаги эти очутились въ Россіи? прокуроръ спокойно объяснилъ, что, когда Цверчаѣвичъ былъ подъ арестомъ, нѣкоторые изъ его бумагъ были сообщены французской полиціей русскому посольству.

Выпущеннымъ полякамъ вѣрно было оставить Францію; они поѣхали въ Лондонъ. Въ Лондонѣ они сами рассказывали мнѣ подробности ареста и по справедливости всего больше дивились тому, что комиссаръ зналъ, что у нихъ есть письмо съ надписью Е. А. Письмо это изъ рукъ въ руки Цверчаѣвичу далъ Мадцини и просилъ его вручить Этъену Араго.

— Говорили ли вы кому нибудь о письмѣ? спросилъ я.

— Никому, рѣшительно никому, отвѣчалъ Цверчаѣвичъ.

— Это какое-то колдовство; не можетъ же пасть подозрѣніе ни на васъ, ни на Мадцини. Подумайте-ка хорошенько.

Цверчаѣвичъ подумалъ. „Одно знаю я, замѣтилъ онъ, что я выходилъ на короткое время со двора и, помнится, портфель оставилъ въ незапертомъ ящикѣ.

— Cloud! Cloud! теперь позвольте, гдѣ вы жили?

— Тамъ-то, въ furnished appartements.

— Хозяинъ англичанинъ?

— Нѣтъ, полякъ.

— Еще лучше. А имя его?

— Туръ, онъ занимается агрономіей.

— И многимъ другимъ, колп отдастъ меблированные квартиры. Тура этого я немножко знаю. Слыхалъ ли вы когда нибудь исторію о нѣкоемъ Михаловскомъ?

— Такъ мелькомъ.

— Ну, я вамъ расскажу ее. Осенью 1857 года, я получилъ черезъ Брюссель письмо изъ Петербурга. Незнакомая особа извѣщала меня со всѣми подробностями о томъ, что одинъ изъ сидѣльцевъ у Трюбнера, Михаловскій, предложилъ свои услуги III отдѣленію, шпионничать за нами, требуя за трудъ 200 фунтовъ, что въ доказательство того, что онъ достоинъ и способенъ, онъ представлялъ списокъ лицъ, бывшихъ у насъ въ послѣднее время и общалъ доставить образчики рукописей изъ типографіи. Прежде чѣмъ я хорошенько обдумалъ что дѣлать, я получилъ *второе письмо* того же содержания черезъ домъ Ротшильда.

Въ истинѣ свѣденія я не имѣлъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Михаловскій, полякъ изъ Галиціи, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и говорящій на четырехъ языкахъ, имѣлъ всѣ права на званіе шпиона и ждалъ только случая pour se faire valoir.

Я рѣшился ѣхать съ Огаревымъ къ Трюбнеру и уличить Михаловскаго, сбить на словахъ и, во всякомъ случаѣ, прогнать отъ Трюбнера. Для большей торжественности я пригласилъ съ собой Піанчани и двухъ поляковъ. Михаловскій былъ наглъ, гадокъ, запырался; говорилъ, что шпионъ Наполеонъ Шестаковскій, *который жилъ съ нимъ* на одной квартирѣ. Въ половину и готовъ былъ ему вѣрить, т. е. что и пріятель его тоже шпионъ. Трюбнеру я сказалъ, что требую немедленной высылки его изъ книжной лавки. Негодяй путался и не умѣлъ ничего серьезнаго привести въ свое оправданіе. — Это все зависть, говорилъ онъ, у кого изъ нашихъ

заведется хорошее пальто, сейчасъ другіе кричатъ шпионъ! — Отчего же, спросилъ его Зено Свентославскій, у тебя никогда не было хорошаго пальто, а тебя всегда считали шпиономъ? Всѣ захохотали. — Да обидьтесь же наконецъ, сказалъ Чернецкій. — Не первый разъ, отвѣтилъ философъ, я имѣю дѣло съ такими безумными. — Привыкли, замѣтилъ Чернецкій.

Мошенникъ вышелъ вонъ.

Всѣ порядочные поляки оставили его, за исключеніемъ совсѣмъ спившихся игроковъ и совсѣмъ проигравшихся пьяницъ. Съ этимъ Михаловскимъ въ дружескихъ отношеніяхъ остался одинъ порядочный человѣкъ, и этотъ человѣкъ вашъ хозяинъ, Туръ.

— Да, это подозрительно. Я сейчасъ...

— Что сейчасъ? Дѣла теперъ не поправите, а имѣйте этого человѣка въ виду. Какія у васъ доказательства?

Вскорѣ послѣ этого Цверчаковичъ былъ назначенъ жондомъ въ свои дипломатическіе агенты въ Лондонъ. Пріѣздъ въ Парижъ ему былъ позволенъ; въ это время Наполеонъ чувствовалъ то пламенное участіе къ судьбамъ Польши, которое ей стоило цѣлаго поколѣнія и можетъ стоять всего будущаго.

Б. былъ уже въ Швеціи, знакомясь со всѣми, открывая пути въ Землю и Волю черезъ Финляндію, слаживая посылку *Колокола* и книгъ и выдаясь съ представителями всѣхъ польскихъ партій. Принятый министрами и братомъ короля, онъ всѣхъ увѣрилъ въ неминуемомъ возстаніи крестьянъ и въ сильномъ волненіи умовъ въ Россіи. Увѣрилъ тѣмъ больше, что самъ *искренно вѣрилъ*, если не въ такихъ размѣрахъ, то вѣрилъ въ растущую силу. Объ экспедиціи Лапинскаго тогда никто не думалъ. Цѣль Б. состояла въ томъ, чтобъ, устроивши все въ Швеціи, пробраться въ Польшу и Литву.

Цверчакѣвичъ возвратился изъ Парижа съ Демонтовичемъ. Въ Парижѣ они и ихъ друзья придумали снарядить экспедицію на балтійскіе берега. Они искали парохода, искали дѣльнаго начальника и за тѣмъ пріѣхали въ Лондонъ. Вотъ какъ шла тайная негоціація.

Какъ-то получаю я записочку отъ Цверчакѣвича: онъ просилъ меня зайти къ нему на минуту, говорилъ, что очень нужно и что самъ онъ распростудился и лежитъ въ злой мигрени. Я пошелъ. Дѣйствительно засталъ его больнымъ и въ постели. Въ другой комнатѣ сидѣлъ С. Тхоржевскій. Зная, что Цверчакѣвичъ писалъ ко мнѣ и что у него есть дѣло, Тхоржевскій хотѣлъ выйти, но Цверчакѣвичъ остановилъ его, и я очень радъ, что есть живой свидѣтель нашего разговора.

Цверчакѣвичъ просилъ меня, оставивъ всѣ личные отношенія и консидераціи, сказать ему по чистой совѣсти и, само собой разумѣется, въ глубочайшей тайнѣ, объ одномъ польскомъ эмигрантѣ, рекомендованномъ ему Маццини и Б., но къ которому онъ полной вѣры не имѣетъ. — Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дѣло идетъ первой важности, жду отъ васъ истины, всей истины.

— Вы говорите о Л.-Б.? спросилъ я.

— Да.

Я призадумался. Я чувствовалъ, что могу повредить человѣку, о которомъ все таки не знаю ничего особенно дурнаго; и съ другой стороны, понимая какой вредъ принесу общему дѣлу, сноря противъ совершенно вѣрной антипатіи Цверчакѣвича. — Извольте, я вамъ скажу откровенно и все. Что касается до рекомендаціи Маццини и Б., я ее совершенно отвожу. Вы знаете, какъ я люблю Маццини; но онъ такъ привыкъ изъ всякаго дерева рубить и изъ всякой глины лѣпить агентовъ и

такъ умѣть ихъ въ итальянскомъ дѣлѣ ловко держать въ рукахъ, что на его мнѣніе трудно положиться. Къ тому же, употребляя все, что попало, Мацини знаетъ до *какой степени*, кому и что поручить. Рекомендація Б. еще хуже: это большой ребенокъ, „большая Лиза“, какъ его называлъ Мартыановъ; ему всѣ нравятся. „Ловецъ человѣковъ“, онъ такъ радуется, когда ему попадется „красный“, да притомъ Славянинъ, что онъ далѣе не идетъ. Вы помянули о моихъ личныхъ отношеніяхъ къ Л.-Б., слѣдуетъ же сказать и объ этомъ. З и Л.-Б. хотѣли меня эксплуатировать; инициатива дѣла принадлежала не ему, а З. Имъ это не удалось, они разсердились, и я это давно бы забылъ: но они стали между Ворцелемъ и мной, и этого я имъ не прощаль. Ворцеля я очень любилъ, но, слабый здоровьемъ, онъ подтакнулъ имъ, и только спохватился (или признался, что спохватился) за день до кончины. Умирающей рукой сжимая мою руку, онъ шепталъ мнѣ на ухо: Да, вы были правы; (но свидѣтелей не было, а на мертвыхъ ссылаться легко). Затѣмъ, вотъ вамъ мое мнѣніе: перебирая все, я не нахожу *ни одного поступка, ни одного слуха даже*, который бы заставлялъ подозрѣвать политическую честность Л.-Б.; но я бы не замѣшалъ его ни въ какую серьезную тайну. Въ моихъ глазахъ онъ избалованный фразеръ, наполненный французскими фразами и безмѣрно высокомерный, желающій во что бы то ни было играть роль, онъ все сдѣлаетъ, чтобъ испортить пьесу, если она ему не выпадетъ.

Цверчаковичъ привсталъ. Онъ былъ блѣденъ и озабоченъ.

— Да, вы у меня сняли камень съ груди; *если не поздно* теперь, я все сдѣлаю. Взволнованный Цверчаковичъ сталъ ходить по комнатѣ. Я ушелъ вскорѣ съ Тхоржевскимъ.



— Слышали вы весь разговор? спросилъ я у него идучи.

— Слышалъ.

— Я очень радъ; не забывайте его: можетъ придеть время, когда я сошлюсь на васъ... А знаете что? мнѣ кажется, онъ ему *все сказалъ*, да потомъ и догадался повѣрить свою антипатію.

— Безъ всякаго сомнѣнія. И мы чуть не расхохотались, не смотря на то, что на душѣ было вовсе не смѣшно.

### 1. ПРАВОУЧЕНІЕ

..... Недѣли черезъ двѣ Цверчакѣвичъ вступилъ въ переговоры съ Blackwood'a компаніей пароходства о наймѣ парохода для экспедиціи на Балтикъ.

— Зачѣмъ же, спрашивали мы, вы адресовались именно къ той компаніи, которая десятки лѣтъ исполняетъ всѣ комиссіи по части судоходства для петербургскаго адмиралтейства?

— Это мнѣ самому не такъ нравится, но компанія такъ хорошо знаетъ Балтійское море. Къ тому же она слишкомъ заинтересована, чтобъ выдать насъ; да и это не въ англійскихъ нравахъ.

— Все такъ, да какъ вамъ въ голову пришло обратиться именно къ ней?

— Это сдѣлалъ нашъ комиссіонеръ.

— То есть?

— Туръ.

— Какъ? тотъ Туръ!

— О, на счетъ его можно быть покойнымъ. Его самымъ лучшимъ образомъ намъ рекомендовалъ Л.-Б.

Мнѣ на минуту, вся кровь бросилась въ голову. Я смѣшался отъ чувства негодованія, бѣшенства, оскор-

бленія; да, да, личнаго оскорбленія. А делегатъ Рѣчи-Посполттой, ничего не замѣчавшій, продолжалъ: онъ превосходно знаетъ по англійски.

— И языкъ и законодательство.

— Въ этомъ я не сомнѣваюсь.

— Туръ какъ-то сидѣлъ въ тюрьмѣ въ Лондонѣ, за какія-то не совсѣмъ ясныя дѣла, и употреблялся при-сяжнымъ переводчикомъ въ судѣ.

— Какъ такъ?

— Вы спросите у Л.-Б., или у Михаловскаго; вы не знакомы съ нимъ?

— Нѣтъ.

— Каковъ Туръ! занимался земледѣліемъ, а теперь занимается вододѣліемъ; но общее вниманіе обратилъ на себя взошедшій начальникъ экспедиціи, полковникъ Лапинскій.

## II

### LAPINSKI-COLONEL. — POLLES-AIDE DE CAMP

Въ началѣ 1863 года я получилъ письмо, написанное мелко, необыкновенно каллиграфически и начинавшееся текстомъ *Licite venire parvulus*. Въ самыхъ изысканно льстивыхъ, стелящихся выраженіяхъ, просилъ у меня *parvulus*, называвшійся Polles, позволенія пріѣхать ко мнѣ. Письмо мнѣ очень не понравилось. Онъ самъ — еще больше. Низкопоклонный, тихій, вкрадчивый, бритый, напомаженный, онъ мнѣ рассказалъ, что былъ въ Петербургѣ въ театральной школѣ и получилъ какой-то пансіонъ, прикидывался сильно полякомъ и, просидѣвши четверть часа, сообщилъ мнѣ, что онъ изъ Фран-

ция, что въ Парижѣ тоска и что тамъ узелъ узловъ — Наполеонъ.

— Знаете ли, что мнѣ приходило часто въ голову, и я больше и больше убѣждаюсь въ вѣрности этой мысли: надобно рѣшиться убить Наполеона.

— За чѣмъ же дѣло стало?

— Да вы какъ объ этомъ думаете? спросилъ Pargvulus, нѣсколько смутившись.

— Я никакъ. Вѣдь это вы думаете. И тотчасъ я разсказалъ ему исторію, которую я всегда употреблялъ въ случаяхъ кровавыхъ бредней и совѣщаній о нихъ.

— Вы вѣрно знаете, что Карла V водилъ въ Римъ по пантеону пажъ. Пришедши домой, онъ сказалъ отцу, что ему приходила въ голову мысль столкнуть императора съ верхней галереи внизъ. Отецъ взбѣсился: вотъ (тутъ я варьирую крѣпкое слово, соображаясь съ характеромъ цареубійцы *in spe*) (\*) *негодяй, мошенникъ, дуракъ*, такой разсыкой. Какъ могутъ такіа преступныя мысли приходить въ голову, а если могутъ, то ихъ иногда исполняютъ, но никогда объ этомъ *не говорятъ*.

Когда Поллесь ушелъ, я рѣшился его не пускать больше. Черезъ недѣлю онъ встрѣтился со мной близъ моего дома; говорилъ, что два раза былъ и не засталъ, натолковалъ какого-то вздора и прибавилъ: я, между прочимъ, заходилъ къ вамъ, чтобъ сообщить какое я сдѣлалъ изобрѣтеніе, чтобъ по почтѣ сообщить что нибудь тайное, напр. въ Россію. Вамъ вѣрно случается часто необходимость что нибудь сообщать.

(\*) — Я къ вамъ пришелъ спросить совѣта, сказалъ мнѣ одинъ юный грузинъ, похожій на молодого тигра по внѣшности, а хочу поколотить Скарятину. — Вы вѣрно знаете, что Карла V и проч. — Знаю, знаю, бога ради не рассказывайте.

И тигръ съ млекою въ жилахъ ушелъ.

— Совѣмъ напротивъ, никогда. Я вообще ни къ кому тайно не пишу. Будьте здоровы.

— Прощайте. Вспомните, когда вамъ или Огареву захочется послушать кой-какой музыки, я и мой виолончель къ вашимъ услугамъ.

— Очень благодаренъ. И я потерялъ его изъ виду съ полной увѣренностью, что это шпионъ; русскій ли, французскій ли, я не зналъ; можетъ интернаціональный, какъ Nord журналъ международный.

— Въ польскомъ обществѣ онъ никогда не являлся, его тамъ никто не зналъ.

Послѣ долгихъ исканій, Демонтовичъ и парижскіе друзья его остановились на полковникѣ Лапинскомъ, какъ на способнѣйшемъ военномъ начальникѣ экспедиціи. Онъ былъ долго на Кавказѣ со стороны черкесовъ, и такъ хорошо зналъ войну въ горахъ, что о морѣ и говорить было нечего. Дурнымъ выбора назвать нельзя.

Лапинскій былъ въ полномъ словѣ кондотьерь. Твердыхъ политическихъ убѣжденій у него не было никакихъ. Онъ могъ идти съ бѣлыми и красными, съ чистыми и грязными; принадлежа по рожденію къ галиційской шляхтѣ, а по воспитанію къ австрійской арміи, онъ сильно тянулъ къ Вѣнѣ. Россію и все русское онъ ненавидѣлъ — дико, безумно, неисправимо. Ремесло свое, вѣроятно, онъ зналъ, велъ долго войну и написалъ замѣчательную книгу о Кавказѣ.

— Какой случай разъ былъ со мной на Кавказѣ, рассказывалъ Лапинскій; русскій майоръ, поселившійся съ цѣлою усадьбой своей недалеко отъ насъ, не знаю какъ и за что, захватилъ нашихъ людей. Узнаю я объ этомъ и говорю своимъ: что же это, стыдъ и срамъ; васъ какъ бабъ крадутъ? Ступайте въ усадьбу, берите что попало и тащите сюда. Горцы, знаете, имъ не нужно

много толковать. На другой или третій день привели ко мнѣ всю семью и слугъ, и жену, и дѣтей, только самого маіора дома не застали. Я послалъ повѣстить, что, если нашихъ людей отпустить, да дадутъ такой-то выкупъ, то мы сейчасъ доставимъ обратно плѣнныхъ. Разумѣется, нашихъ прислали, разсчитались, и мы отпустили московскихъ гостей. На другой день приходитъ ко мнѣ черкесь : вотъ, говоритъ, что случилось ; мы, говоритъ, вчера, какъ отпускали русскихъ, забыли мальчика лѣтъ четырехъ : онъ спалъ, такъ его и забыли. Какъ же быть ?

— Ахъ вы, собаки, не умѣете ничего въ порядкѣ сдѣлать. Гдѣ ребенокъ ?

— У меня ; кричалъ, кричалъ, ну, я сжалился и взялъ его.

— Видно тебѣ Аллахъ счастье послалъ ; мѣшать не хочу. Дай туда знать, что они ребенка забыли, а ты его нашелъ : ну, и спрашивай выкупа. У моего черкеса такъ глаза и разгорѣлись. Разумѣется мать, отецъ въ тревогѣ, дали все, что хотѣлъ черкесь. Пресмѣшной случай.

— Очень.

Вотъ черта для характеристики будущаго героя въ Самогитіи.

Передъ своимъ отправленіемъ Лапинскій заѣхалъ ко мнѣ. Онъ взошелъ не одинъ и, нѣсколько озадаченный выраженіемъ моего лица, поспѣшилъ сказать : позвольте вамъ представить моего адъютанта.

— Я уже имѣлъ удовольствіе съ нимъ встрѣчаться. Это былъ Поллесь.

— Вы его хорошо знаете, спросилъ Огаревъ у Лапинскаго на единѣ.

— Я его встрѣтилъ въ томъ же Boarding hous'ѣ, гдѣ

теперь живу ; онъ, кажется, славный малый и расторопный.

— Да вы увѣрены ли въ немъ ?

— Конечно. Къ тому же онъ отлично играетъ на виолончели и будетъ насъ тѣшить во время плаванья. Онъ, говорятъ, тѣшилъ полковника кой-чѣмъ другимъ.

Мы впоследствии сказали Демонтовичу, что для насъ *Поллесс* очень подозрительное лицо.

Демонтовичъ замѣтилъ : — да я имъ обоимъ не очень вѣрю, но шалить они не будутъ. И онъ вынулъ револьверъ изъ кармана.

Приготовленія шли тихо : слухъ объ экспедиціи все больше и больше распространялся. Компанія дала сначала пароходъ, оказавшійся негоднымъ по осмотру хорошаго моряка, графа С. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово, и часть Лондона знала обо всемъ, случилось слѣдующее : Цверчакевичъ и Демонтовичъ повѣстили всѣхъ участниковъ экспедиціи, чтобъ они собирались къ *десяти* часамъ на такомъ-то амбаркадерѣ желѣзной дороги, чтобъ ѣхать до *Гуля* въ особомъ train, который давала имъ компанія. И вотъ, къ десяти часамъ стали собираться будущіе воины. Въ ихъ числѣ были итальянцы и нѣсколько французовъ ; бѣдные, отважные люди, которымъ надоѣла ихъ доля въ бездомномъ скитаніи, и люди истинно любившіе Польшу. И 10 и 11 часовъ проходятъ, но train'a нѣтъ какъ нѣтъ. По домамъ, изъ которыхъ таинственно вышли наши герои, мало по малу стали распространяться слухи о дальнемъ пути, и часовъ въ 12, къ будущимъ бойцамъ въ сѣняхъ амбаркадера присоединилась стая женщинъ, неутѣшенныхъ дидонъ, оставленныхъ свирѣпыми поклонниками, и свирѣпыхъ хозяекъ домовъ, которымъ они не заплатили, вѣроятно, чтобъ онѣ не дѣлали огласки.

Растрепанные, онѣ неистово кричали, хотѣли жаловаться въ полицію; у нѣкоторыхъ были дѣти; всѣ они кричали и всѣ матери кричали. Англичане стояли кругомъ и съ удивленіемъ смотрѣли на картину „Исхода“. Напрасно старшіе изъ ѣхавшихъ спрашивали, скоро ли пойдетъ особый train? показывали свои билеты. Служители желѣзной дороги не слышали ни о какомъ train'ѣ. Сцена становилась шумнѣе и шумнѣе... Какъ вдругъ прискакалъ гонецъ отъ шефовъ сказать ожидавшимъ, что они всѣ съума сошли, что отѣздъ вечеромъ въ 10, а не утромъ, и что это до того понятно, что они и не написали. Пошли съ узелками и котомочками къ своимъ оставленнымъ дидонамъ и смягченнымъ хозяйкамъ бѣдные воины.

Въ 10 часовъ вечера они уѣхали. Англичане имъ даже прокричали три раза ура.

На другой день утромъ рано приѣхалъ ко мнѣ знакомый морской офицеръ съ одного изъ русскихъ пароходовъ. Пароходъ получилъ вечеромъ приказъ утромъ выступить на всѣхъ парахъ и слѣдить за Ward Jackson'омъ.

Между тѣмъ Ward Jackson остановился въ Копенгагенѣ за водой, прождалъ нѣсколько часовъ въ Мальме Б., собиравшагося съ ними для поднятія крестьянъ въ Литвѣ, и былъ захваченъ по приказанію шведскаго правительства.

Подробности дѣла и второй попытки Лапинскаго, рассказаны были имъ самимъ въ журналахъ. Я прибавлю только то, что капитанъ уже въ Копенгагенѣ сказалъ, что онъ пароходъ къ русскому берегу не поведетъ, не желая его и себя подвергнуть опасности; что еще до Мальме доходило до того, что Демонтовичъ пригрозилъ своимъ револьверомъ не Лапинскому, а капитану. Съ

Лапинскимъ Демонтовичъ все таки поссорился, и они заклятыми врагами поѣхали въ Стокгольмъ, оставляя несчастную команду въ Мальме.

— Знаете ли вы, сказалъ мнѣ Цверчаковичъ, или кто-то изъ близкихъ ему: что во всемъ этомъ дѣлѣ остановки въ Мальме становится всего подозрительнѣе лицо Тугенбольда.

— Я его вовсе не знаю. Кто это?

— Ну какъ не знаете, вы его видѣли у насъ: молодой малый безъ бороды. Лапинскій былъ разъ у васъ съ нимъ.

— Вы говорите стало о Поллесѣ.

— Это его псевдонимъ; настоящее имя его Тугенбольдъ.

— Что вы говорите? и я бросился къ моему столу. Между отложенными письмами особенной важности я нашелъ одно, присланное мнѣ мѣсяца два передъ тѣмъ. Письмо это было изъ Петербурга; оно предупреждало меня, что нѣкій докторъ Тугенбольдъ состоитъ въ связи съ III отдѣленіемъ, что онъ возвратился, но оставилъ своимъ агентомъ меньшаго брата, что меньшой братъ долженъ ѣхать въ Лондонъ.

Что Поллесъ и онъ былъ одно лицо, въ этомъ сомнѣнія не могло быть. У меня опустились руки.

— Знали вы передъ отъѣздомъ экспедиціи, что Поллесъ былъ Тугенбольдъ?

— Зналъ. Говорили, что онъ перемѣнилъ свою фамилію потому, что въ краѣ его брата знали за шпиона.

— Что же вы мнѣ не сказали ни слова?

— Да такъ, не пришлось.

И Селифанъ Чичикова зналъ, что брѣвко сломана, а сказать не сказалъ.

Пришлось телеграфировать послѣ захвата въ Мальме.



И тутъ ни Демонтовичъ, ни Б., (\*) не умѣли ничего порядкомъ сдѣлать, перессорились. Поллеса сажали въ тюрьму за какіе-то брильянты, собранные у шведскихъ дамъ для поляковъ и употребленные на кутежъ.

Въ то самое время, какъ толпа вооруженныхъ поляковъ, бездна дорого купленнаго оружія и Ward Jackson оставались почетными плѣнниками на берегу Швеціи, собиралась другая экспедиція, снаряженная *блѣнами*; она должна была итти черезъ Гибралтарскій проливъ. Ее велъ графъ Сбышевскій, братъ того, который писалъ замѣчательную брошюру « La Pologne et la Cause de l'ordre ». Отличный морской офицеръ, бывший въ русской службѣ, онъ ее бросилъ, когда началось возстаніе, и теперь велъ тайно снаряженный пароходъ въ Черное море. Для переговоровъ онъ ѣздилъ въ Туринъ, чтобъ тамъ секретно видѣться съ начальникомъ тогдашней оппозиціи, и между прочимъ, съ Мордини.

На другой день послѣ моего свиданья съ Сбышевскимъ, рассказывалъ мнѣ *самъ Мордини*, вечеромъ въ Палатѣ министръ внутреннихъ дѣлъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ: пожалуйста, будьте осторожнѣе; у васъ вчера былъ польскій эмиссаръ, который хочетъ провести пароходъ черезъ Гибралтарскій проливъ; какъ бы дѣло ни было, да зачѣмъ же они прежде болтаютъ?

Пароходъ впрочемъ и не дошелъ до береговъ Италіи: онъ былъ захваченъ въ Кадиксѣ испанскимъ правительствомъ. По минованіи надобности, оба правительства дозволили полякамъ продать оружіе и отпустили пароходъ.

(\*) Демонтовичъ послѣ долгихъ споровъ съ Б., говорилъ: а вѣдь это, господа, какъ ни тяжело съ русскимъ правительствомъ, а все же наше положеніе при немъ лучше чѣмъ то, которое намъ приготовить эти фанатики-соціалисты.

Огорченный и раздосадованный пріѣхалъ Лаппинскій въ Лондонъ.— Остается одно, говорилъ онъ, составить общество убійцъ и перебить большую часть всѣхъ царей и ихъ совѣтниковъ; или ѣхать опять на востокъ, въ Турцію.

Огорченный и раздосадованный пріѣхалъ Сбышевскій.

— Что же, и вы бить королей, какъ Лаппинскій?

— Нѣтъ, поѣду въ Америку... буду драться за республику. Кстатп, — спросилъ онъ Тхоржевскаго, — гдѣ здѣсь можно завербоваться, со мной нѣсколько товарищей и всѣ безъ куса насущнаго хлѣба.

— Просто у консула.

— Да нѣтъ, мы хотѣли на югъ, у нихъ теперь недостатокъ въ людяхъ и они предлагаютъ болѣе выгодныя условія.

— Не можетъ быть, вы не пойдете на югъ!

..... По счастію Тхоржевскій отгадалъ. На югъ они не пошли.

8 мая 1869 года.



# ДОКТОРЪ, УМИРАЮЩІЙ И МЕРТВЫЕ

(Няцца, мартъ 1869 года).

---

## I

### ДОКТОРЪ

— Ну, что новаго, любезный Гипербореецъ? Выраженія въ родѣ „любезный гипербореецъ“ принадлежали у доктора къ послѣднимъ запоздалымъ листочкамъ старо-французскаго древа познанія добра и зла.

— Новаго ничего нѣтъ, кромѣ того, что въ журналахъ ваше правительство такъ честятъ, какъ этого съ 2 Декабря не бывало. Да не зовите вы меня, бога ради, гиперборейцемъ. Во-первыхъ, мнѣ отъ этого слова всякій разъ становится холодно, а во-вторыхъ, жутко: такъ и кажется, что мы живемъ во времена Монтеккье, близъ отель Ледисьеръ, гдѣ останавливался le Grand Tzar hyperboréen.

— Все забываю, что по новымъ учебникамъ васъ слѣдуетъ называть не гиперборейцами, а *туранцами*.

— Это все же лучше.

— Ещебъ..... тутъ сверхъ моды комплиментъ.

— Конечно не предумышленный!

— Въ этомъ-то и букетъ. Наши мудрецы выдумали это имя вамъ на смѣхъ, на зло, чтобъ васъ филологически обругать. Это была единственная помощь, которую Франція оказала Польшѣ. Нечего сказать, ловко придумали. Назвать васъ туранцами, имѣющими аріанскіе элементы, значить признать ваши притязанія на Азію и на Европу. Вотъ обидѣли-то. Въ одномъ мы съ вами никогда не спорили — это въ томъ, что люди еще очень глупы. Какъ у васъ должны хохотать надъ нами. Все, что мы противъ васъ дѣлаемъ, вамъ же идетъ въ прокъ. Наша ненависть полезнѣе для васъ всѣхъ союзовъ. Мы вамъ не можемъ простить взятія Парижа, хотя себя никогда не упрекали за вступленіе въ Москву; это еще понятно, но не удивительно ли, что и нѣмцы, взявшіе съ вами Парижъ, тоже сердятся на васъ за это. Изъ нелюбви къ вамъ, Европа всклепала на васъ неслыханную силу, а вы и повѣрили ей. Англія до того болтала о вашихъ замыслахъ въ Индіи, что вы въ самомъ дѣлѣ пошли въ какую то Самарканду..... Гдѣ же здравый смыслъ?... Стоптъ Петербургскому кабинету забыть на недѣлю Турцію; двадцать европейскихъ газетъ напомнятъ ему восточный вопросъ и поддразнятъ Константинополемъ и всевозможными Сербами и Булгарами. Въ отмщеніе за Польшу выдумали, что у васъ съ поляками нѣтъ славянскаго сродства, что вамъ стало и жалѣть ихъ нечего. Я завидую вамъ, мой милый Монголъ.

— Вы таки придерживаетесь *grattez un Russe*.

— И скоблить не надобно. Татарскія степи такъ и сквозятъ сквозь французскія обои *et cela a son charme*. Я это не въ вину вамъ ставлю; напротивъ: съ вами, т. е. съ удавшимися, оттого и легко, что ступай куда хочешь, ни забора, ни запрета, ни надгробнаго креста, ни верстоваго столба; однѣ пустоты, да размѣры...

— Добавьте кое гдѣ вѣхи, кое гдѣ верблюды съ Европейской кладью второй руки, немного подсохнувшей, немного подмоченной... кругомъ спитъ какое-то многое множество непробуднымъ сномъ.

— Спящіе еще проснутся. Вотъ мы такъ на яву бредимъ, это плохо ; мозги такъ *парализированы*, что новой мысли прохода нѣтъ. Голова загружена какъ мѣняльная лавка ; все, что не идетъ вмѣстѣ, навалено рядомъ ; чего не набито тутъ ! дѣйствительныя богатства и курьезная ненужная мебель, неудавшіяся машины воспоминаній, заклинаній, прорицаній, химическіе сосуды и церковныя снаряды, микроскопы, ороскопы, допотопныя звѣри, нежившіе уродцы, мыльные пузыри, надутые утопіями, лопаются въ облакахъ архивной пыли... Кабы у насъ въ головѣ да ваши пустыри!..... вы извините меня, вы еще народъ лѣнивый, не умѣете ими пользоваться. Съ нашей дѣятельностью, съ нашей привычкой, мы чудеса бы настроили.....

— Еслибъ посчастливилось не наткнуться на дикихъ звѣрей.

— Дикіе звѣри выведутся, они отступаютъ передъ образованіемъ. Много ли у васъ осталось бѣловѣжскихъ зубровъ ?

— Бѣда въ томъ, что наши дикіе звѣри, все звѣри высоко образованные.

— Это-то и хорошо. Опасно не то, когда звѣрь остается звѣремъ, а когда онъ отъ образованія становится скотиной и бьется между двумя крайними типами — русскаго плута и кроткаго дурака. Цивилизація подчистила у насъ все дикое, по крайней мѣрѣ засыпала песочкомъ да землицей, изъ нихъ и образовался толстый пластъ грязи, въ которомъ пропадаетъ всякое движеніе и вязнуть всякія колеса. Кое гдѣ по этимъ болотамъ

есть досчечки; но горе, если вы ступили возлѣ: васъ затынетъ съ головой, и вы незамѣтно сдѣлаетесь лягушкой, и вамъ покажется хорошо, какъ дома, въ этой вязкой глинѣ; въ ней все есть: своя глупость и свой умъ, свои герои и свои гении, свои интересы и заботы. Можетъ дренажъ и возможенъ, но поди расчищай такія понтіійскія болота. Исторія не крѣпка землѣ. Еслибъ это было не такъ, цивилизація не переѣзжала бы съ мѣста на мѣсто. Старые мозги труднѣе двигать, чѣмъ города и народы; новый умъ на нихъ не дѣйствуетъ. Особенно трудно двигать нравственныхъ людей, знающихъ, что они нравственны и честны. Подите, объясните какому нибудь нелицепріятному судѣ, что глупо, закрывши книгу Кетле, прикидывать на своемъ безмѣнѣ справедливости, сколько годовъ каторжной работы вытягиваетъ какой нибудь бѣшеный или отчаянный поступокъ. Эти господа опаснѣе всѣхъ дикихъ звѣрей вмѣстѣ. Будь у насъ въ 1848 году дикіе звѣри на мѣсто *честнѣйшаго* Ламартина и *честнѣйшихъ* товарищей его, не то бы было.

— Возвратились докторъ къ вашимъ баранамъ.

— Ужъ конечно въ этомъ случаѣ не къ козламъ. Ха, ха, ха. Вотъ вы меня и сбили. О чемъ бишь рѣчь-то шла? Какъ этотъ Ламартинъ попадется на языкъ, такъ нить мысли и потеряна. Ну, да оно и хорошо: я что-то заврался. Кстати... ну, т. е., оно не совсѣмъ кстати, но такъ и быть, я лучше расскажу вамъ по поводу Ламартина пресмѣшную вещь. Вы знаете, что осенью 1848 я былъ на югѣ Франціи. Какъ-то въ торговый день сию я послѣ завтрака въ маленькомъ кафе и читаю; крестьянъ бездна, толкуютъ о выборахъ, о политикѣ. Услышавъ, что я докторъ и изъ Парижа, одинъ высокій старикъ въ вязаномъ колпакѣ, должно

быть человекъ солидный и съ авторитетомъ, подскѣлъ ко мнѣ и сталъ разспрашивать меня о новостяхъ. Выслушавъ, онъ подвинулся поближе, чекнулъ стаканомъ, утеръ носъ и, понизивъ голосъ, сказалъ мнѣ въ полслуха и глядя на меня испытующими глазами: У насъ поговариваютъ, что все дѣло мутить одна особа... Самъ то дюжъ.....

Я посмотрѣлъ на него.

— Ну, le duc Rollin очень хорошій человекъ, да его-то полюбовница, что ли, очень забрала силу и сбиваетъ его.

— Не слыхалъ я, говорю ему, ни разу не слыхалъ.

Старикъ хитро улыбнулся и прибавилъ— „а мы вотъ и вдали живемъ, да не только слышали объ этомъ, но и имя этой Иродіады знаемъ—ее прозываютъ la Martine“.

Не выдержалъ я и, —какъ старика не жаль было, —раскохотался. Что мнѣ пуще всего понравилось, это названіе Иродіады Ла-Мартинъ. Иродіада, добро бы уже Нинонъ-де-Ланкло. Да-съ, милостивый государь, этотъ вопросъ былъ сдѣланъ не въ Рязани, не въ Казани, а въ какихъ нибудь ста километрахъ отъ Марсея и Авиньона. И это въ то самое время, когда у тѣхъ же крестьянъ готовились спрашивать, нуженъ ли республикѣ президентъ и, если нуженъ, то кого они хотятъ въ президенты? Ну, какъ же послѣ этого не бросить весь политическій хламъ... А что вы давеча поминали о газетахъ?

— Старая пѣсня, только голоса погромче. Винять правительство за все, за послабленія и за деспотизмъ, за разливы и за засухи.

— То-то чай доволенъ, потираетъ себѣ руки.

— Ну, не думаю, ужъ очень бранятся.

— Что ему брань, когда отъ него ждутъ урожая и

теплой погоды? Религія правительства и страсть къ опека́ были бѣ цѣлы. Вѣра во власть: вотъ въ чемъ все дѣло и вся сила. Я разъ посадилъ блоху въ голову одной старушкѣ, у которой лечилъ золотушныхъ внучатъ. Жаль,—говорю ей,—что наши короли утратили цѣлебную силу лечить золотуху. Будь по старому, вмѣсто того, чтобъ меня звать да на аптеку тратиться, добѣжали бы со внучатами до оперы, сегодня король ѣдетъ слушать Малибранъ... дѣтей посадили бы на столбики да на ступеньки. Онъ бы передъ Figaro qua, Figaro là, погладилъ бы ихъ по головѣ и снялъ бы золотуху какъ рукой. Что вы, отвѣчаетъ мнѣ старушка, развѣ тогда короли были *такіе*, развѣ они ѣздили въ оперу; тогда какое житье-то ихъ было! Это — говорю я—извините, я небольшой охотникъ до Людовика Филиппа, ну а все же ведетъ онъ себя почище. Тѣ-то, матушка, были все страшные блудники, да норовили все съ насиліемъ, съ убійствомъ. Старушка только качаетъ головою. Я тогда молодъ былъ, языкъ-то чесался....

— Ну, докторъ, я не замѣчаю, чтобъ и теперь пересталь.

— Досада беретъ. Кричатъ себѣ о рабствѣ, о притѣсненіяхъ, а сами-то такъ и наклеиваютъ на него. Интегралъ, взятый отъ тридцати милліоновъ безконечно малыхъ бонапартистовъ, по неволѣ долженъ быть Наполеономъ. Поговорите четверть часа съ любымъ французомъ о чемъ хотите, что его занимаетъ: о Рейнѣ, о почетномъ легіонѣ, о будущемъ его дочери, о притязаніяхъ его работниковъ; и вы возстановите по зубу, по косточкѣ, по волоску, по чешуйкѣ — и допотопныхъ маршаловъ, и флещовыхъ архіереевъ, и легистовъ *deluvii testes*, и трепетныхъ мѣщанъ либераловъ, и весь кодексъ, писанный Камбасересомъ съ компаніей раскаяв-



пихся якобинцевъ, и *суп d'état*, и вчерашній день. Отъ чешуйки до чешуйки, отъ плебисцита до плебисцита, отъ сенатскаго рѣшенія до сенатскаго рѣшенія — вы невольно дойдете до постоянного соотвѣтствія правительства или полиціи съ темпераментомъ французовъ, такъ какъ онъ выработался революціонными горячками, военными кровопусканіями à la Бруссе, романтическимъ постомъ и діетой во время реставраціи, и жирнымъ разговѣньемъ при королѣ гражданніи и при пѣсняхъ Беранже.

— Вы хотите сказать, что Франція имѣетъ право на имперію такъ, какъ виновный на наказанье.

— Нѣтъ, не хочу и вамъ не совѣтую употреблять этотъ жаргонъ уголовныхъ палатъ и прокурорскихъ рѣчей. Какія тутъ наказанія, какія винны: простая логическая, фактическая послѣдовательность, идущая по пятамъ за событіями и дѣлами. Человѣкъ напился пьянъ, на другой день у него болитъ голова: это вовсе не наказаніе, а послѣдствіе. Откуда это, изъ какой нѣмецкой философіи откопали вы такое чудовище, какъ „право на казнь?“

— Докторъ, вы забыли вашихъ классиковъ: это сказалъ не нѣмецъ, а Платонъ.

— „Божественный“, такъ и видно, что не простой смертный. Онъ совѣтовалъ поэтовъ выгонять изъ своего воспитательнаго дома, возведеннаго въ образцовую республику; а не бось не догадался дать имъ въ безвозвратныхъ провожатыхъ всѣхъ идеалистовъ, любомудровъ. Я сколько ни принимался читать философскіе трактаты, изданные послѣ Вольтера и Дидро, все вздоръ. Они мнѣ всегда напоминаютъ *философскій камень*, худшій изъ всѣхъ камней, потому что онъ вовсе не существуетъ, а его ищутъ. Въ наукѣ ли, въ засѣданіи ка-

комъ, если человѣкъ хочетъ городить пустяки, общіе взгляды, недосказанныя гипотезы, онъ сейчасъ оговаривается тѣмъ, что это только философское, т. е. не дѣльное воззрѣніе.

— Какія вамъ книги, докторъ! вы величайшій философъ безъ книгъ, вы все по зубу, да по косточкѣ.

— А какъ же иначе? Геологи не берутъ цѣлый Монбланъ въ лабораторію, а такъ верешки, да осеолочен. Мелочь-то, мелочь-то надобно обсудить, да понять; а крупное само дается. Къ этому-то и ведетъ врачебная наука. Медицинская практика великое дѣло. Насъ зовутъ, когда машина совсѣмъ испортилась, такъ какъ часы отдають чистить, когда колеса свинтились да перетерлись; а съ нами не худо бы было совѣтываться прежде болѣзни, да и не объ однихъ завалахъ да почечныхъ разстройствахъ.

Еслибъ передъ революціями, вмѣсто того, чтобъ собирать адвокатовъ и журналистовъ, дѣлали консилиумы, не было бы столько промаховъ! Люди, видящіе сотни человѣкъ въ день не одѣтыхъ, а раздѣтыхъ, — люди, щупающіе сотни разныхъ рукъ, ручекъ, рученовъ и ручищъ, повѣрьте мнѣ, знаютъ лучше всѣхъ, какъ бьется общественный пульсъ. Публично на банкетахъ и собраніяхъ, въ камерахъ и академіяхъ, все театральные греки и римляне, что тутъ узнаешь? Посмотрите-ка на нихъ съ точки зрѣнія врача. Куда дѣнутся ваши Бруты и Фабриціи! Гнилаго зуба, мигрени достаточно, чтобъ ихъ свести *au naturel*. Доктору все раскрыто; что больной не доскажетъ, то здоровые добавляют; что и здоровые умолчатъ, стѣны, мебель, лица дополняютъ. Духовника боятся, съ нимъ и умирающій и всѣ другіе кокетничаютъ; съ докторомъ никто. Ему ничего не говорятъ на духу, но во всемъ исповѣдуются.

Подумайте, какіе медики нашли бы вамъ пульсъ девяностыхъ годовъ у нашихъ либераловъ сорокъ восьмага. Возьмите портреты тѣхъ..... Мирабо, Дантонъ *felis leo*.... Мара собака, бульдогъ, Робеспьеръ *felis catus* ... барсъ, кошка, да какая кошка! Черты, глаза, разъ замѣченные, остаются на вѣки въ мозгу. Гюгъ, Марсо..... въ этихъ лицахъ горитъ огонь, эти люди объаты страстью; они отдались, они всѣ *тутъ*, у нихъ нѣтъ дома, семьи, неба; у нихъ нераздѣльная республика и отечество въ опасности, у нихъ все въ общемъ ураганѣ, на трибунѣ, на полѣ битвы. Дантонъ погибъ за то, что на мигъ забылъ со своей молодой красавицей женой, что „отечество въ опасности“. Робеспьеръ усталый отъ казней пріостановился на минуту, призадумался, пошелъ прогуляться въ поле, за городъ, и очутился безъ головы. Какъ въ такой горячкѣ не надѣлать чудесъ, не разрушить міръ и не сотворить другой. Головы валяются, ряды солдатъ валяются, стѣны валяются, а небосклоны становятся все шире и шире. Одно преступленіе за другимъ, одно безуміе за другимъ, и ихъ никто не замѣчаетъ изъ за величія лицъ, изъ за свѣта событій. Всѣ диссонансы, все свирѣпое, кровавое, темное, тонетъ въ яркихъ краскахъ восходящаго солнца.

— Докторъ, дайте вашу руку; я пульса щупать не буду.

— Вспомните теперь, напримѣръ, сводный портретъ временнаго правительства 48 года. Людямъ этимъ надобно было себѣ спить бѣлые жилеты съ отворотами *à la Robespierre*, чтобъ ихъ приняли за якобинцевъ; одинъ крошечный Луи-Бланъ по человѣчески одѣтъ, а тѣ—круглая шляпа, сюртукъ и по *сюртуку* трехцвѣтный шарфъ..... вмѣсто „отцевъ отечества“ вышли какіето кварталные на слѣдствіи. Впереди сухая фигура Ламартина... зачѣмъ онъ тутъ? Какого „падшаго ангела“

пришелъ отпѣвать или подымать старый Нарциссъ? а тутъ эти не *сами*, а *братья*..... Съ кѣмъ имѣю честь говорить, съ вами или съ вашимъ братомъ?—Съ моимъ братомъ, отвѣчаетъ Гарнье Пажесъ jun., Каваньякъ не Годафруа.

Вы не подумайте, что я врагъ этихъ людей. Я ихъ почти всѣхъ зналъ, кого лечилъ, съ кѣмъ спорилъ, съ кѣмъ соглашался. Честные люди, добрые люди; но люди попавшіе не на мѣсто, люди, ну знаете, люди безъ *sacré feu*, какъ выражается одинъ нѣмецкій potentatъ, пьющій съ нами воды.

У этихъ сердце было золотое; да золотое-то для домашняго обихода, для жены, для пріятелей. Дѣти наши брошенное безъ надзора ружье и храбро схватились за него, никакъ не думая что оно заряжено,—ружье выстрѣлило, они переполошились; сперва испугались шума, надзиратели какъ бы не услышали; потомъ испугались другъ друга, что выдадутъ. Это не я! кричать одни. И не я, — кричать другіе. Ружье само выстрѣлило, кричать третьи. И въ голову ни одному не пришло, что старые надзиратели сами давно убѣжали, и что надзирателей, кромѣ ихъ, совсѣмъ нѣтъ. Ну какъ же имъ было дѣлать республики? Вы когданибудь на досугѣ почитайте двѣ книжки: изъ нихъ многому научитесь. Одна изъ нихъ называется „Буржскій процессъ“, а другая „Донесеніе слѣдственной комиссіи“.

—Господи, какое русское заглавіе!

—Составленное Бошаромъ объ Іюньскихъ дняхъ. Прочитавши ихъ, вы перестанете многому дивиться; а это очень важно. Человѣкъ дивится только тому, чего не понимаетъ; а вѣдь сознаться надобно, какъ ни горько, намъ только остается, что *кой что понять*.

—И другимъ объяснить, докторъ.

— Это дѣлается само собою. Вы зажигаете спичку для себя, а человѣкъ посмотритъ который часъ... Кстати, дайте-ка посмотрѣть и на свои. Поздно. Прощайте. Доброй вамъ ночи.

— И вамъ докторъ, хорошаго сна.

## II

### УМИРАЮЩІЙ

#### I

— Докторъ, а вы все время февральской революціи были въ Парижѣ?

— Все время.

— Вотъ бы рассказали.

— Что я могу рассказать. Я никогда не бралъ прямого участія въ политикѣ.

— Тѣмъ лучше, вы то и можете рассказывать, какъ безпристрастный свидѣтель.

— Я не говорилъ, что я не имѣлъ своихъ пристрастій... Впрочемъ, я какъ-то печально встрѣтился съ 24 Февралемъ. Совершенная случайность, но она имѣла на меня вліяніе, ее-то я вамъ и расскажу вмѣсто исторической лекціи.

... Сильно не въ духѣ пробирался я между каменьями барикады. На моихъ рукахъ часъ тому назадъ умеръ старикъ, котораго я очень любилъ, очень уважалъ. Обстоятельства, при которыхъ онъ умеръ, перевернули всю внутренность мою. Нашего брата трудно удивить агоніей. Мы съ молодыхъ лѣтъ привыкаемъ къ смерти, нервы крѣпнуть, притупляются въ больни-

цахъ, на военныхъ перевязкахъ, во время заразы; а смерть моего паціента такъ перетряхнула меня, что я нѣсколько дней не могъ съ ней справиться, потомъ махнулъ рукой, какъ человѣкъ машетъ на все, когда видитъ свое безсиліе.

Пока я искалъ, куда поставить ногу между камнями, гляжу — бѣжитъ нашъ лаборантъ изъ Hôtel Dieu, съ веселымъ лицомъ, безъ шляпы, съ пучкомъ какихъ-то листовъ. Увидѣвъ меня, онъ прокричалъ мнѣ:—Побѣда, докторъ, побѣда. Nous l'avons. Вотъ читайте, и знаете кто набиралъ? самъ Прудонъ, въ типографіи „Реформы“. Я сейчасъ оттуда, несу раздавать нашимъ! Прощайте! — Онъ было ударился бѣжать, но наткнулся въ упоръ на двухъ всадниковъ, которые хотѣли тоже проѣхать по разгороженному мѣсту барикады. Одинъ былъ въ кепи и кабанъ; другой въ круглой шляпѣ, надвинутой на брови. Vive la République! закричалъ имъ во всю горловую мочь лаборантъ и приставилъ пальцы къ носу. Военный схватился за рукоятку сабли, всадникъ въ круглой шляпѣ остановилъ его руку; оба пожали плечами. Лаборантъ громко и звонко хохоталъ. Всадники, словно передумали, повертели лошадей и тихо поѣхали назадъ. Военный показывалъ что-то пальцемъ вдали и объяснялъ; штатскій слегка качалъ головой.

Исхудалое, мрачное лицо, мѣстами почернѣвшее какъ бронза, умирающаго старика не выходило у меня изъ головы.

Прежде чѣмъ продолжать, я васъ вотъ что спрошу: Вы вѣрно встрѣчали въ Россіи послѣднихъ могиканъ нашей революціи, непримиримыхъ, неисправимыхъ стариковъ девятидесятыхъ годовъ?

— Встрѣчалъ и не одного, и признаюсь вамъ, имѣю къ нимъ пристрастіе...

— Тѣмъ лучше... я ихъ ставлю ужасно высоко. Такихъ людей больше нѣтъ. Должно быть на людей бываетъ урожай, какъ на виноградъ. Кажется условія тѣже, а одинъ годъ изъ десяти вино лучше, говорятъ отъ кометы. Въ Англіи комета на людей была во время Кромвеля, а у насъ въ концѣ XVIII вѣка. И замѣтите, что люди этихъ двухъ сгус, похожи другъ на друга. Пуритане, доканчивавшіе свой вѣкъ въ Швейцаріи и Голландіи, сильно сбивались на старыхъ якобинцевъ, только что одни все говорили по Исаію и Эзекиилу, а другіе по Тациту и Плутарху. Въ началѣ моей практики, нашихъ стариковъ еще было много; теперь чуть ли не всѣ ушли, да и пора: новая Франція для нихъ чужая. Они страдали, были въ тягость другимъ, были просто не на мѣстѣ. Дѣло въ томъ, что они въ сущности были моложе внучатъ. Тѣ все ихъ учили уму-разуму, а старики учились дурно. Какъ сохранили эти люди свѣжесть души, своего рода наивность и вѣру? это потерянный секретъ. Я бывало смотрю и дивлюсь, какъ сѣдой, пожелтѣлый старикъ, едва двигающій ноги, а туда же, какъ влюбленный мальчикъ, хранитъ свою святиню, имѣетъ свои завѣтныя на памяти и свои завѣтныя слова, отъ которыхъ въ семьдесятъ, въ восемьдесятъ лѣтъ, ихъ глаза горятъ и голосъ дрожитъ; привычные утописты, они вѣрили въ свой практическій смыслъ и, отдавши все общему дѣлу, серьезно считали себя эгонстамп. Ихъ жиденскіе наслѣдники скучали съ ними, думали, что они позируютъ; а этотъ поднятый тонъ происходилъ просто отъ того, что душа ихъ была поднята и привыкла гордо хранить свое убѣжденіе въ тяжелое время. Теперь я долженъ вамъ сказать нѣсколько словъ о жизни человѣка, со смерти котораго я началъ мой рассказъ. Умершаго паціента моего звали

по крещенію и метрицѣ Лукасомъ Ральеромъ, но по собственному усовершенствованію, гражданиномъ Тразеасъ-Граехомъ Ральеромъ. Лѣтъ двадцати онъ попался въ тюрьму по дѣлу „послѣднихъ Римлянъ“; это было въ 1796, какъ вы знаете. Судъ, приговорившій Рома и Гужона съ товарищами къ гильотинѣ, испугался ихъ великаго самоубійства и на скорую руку объявилъ Тразеаса-Граеха, вмѣстѣ съ множествомъ людей, захваченныхъ для уголовного *corps de ballet*, невинными. Ральеръ вовсе не хотѣлъ быть оправданнымъ, а самъ явиться обвинителемъ; съ этой цѣлью онъ писалъ судьямъ записки съ разными нѣжностями, въ родѣ „Убійцы республики, изверги и измѣнники рода человѣческаго“; но его не слушали: жертвъ было больше не нужно. Ральера вытолкали противъ волнъ изъ тюрьмы. Онъ бросился въ журнализмъ и мстил своимъ перомъ за смерть Рома и его друзей, *à la suite corrompue de l'infâme Sabagus*. Бараса и Талиена онъ не подорвалъ, а самъ посидѣлъ еще раза два въ тюрьмѣ и чуть не отправился въ одну изъ депортацій, которыя дѣлались тогда на томъ разсчетѣ, на которомъ давали элексиръ Леруа, для героическаго очищенія общественнаго организма. Призадумался мой Тразеасъ-Граехъ, видя, какъ всякій день „Наполеонъ больше и больше просвѣчивалъ сквозь Бонапарта“, и наконецъ какого-то Нивоза *an VIII* или *IX*, взялъ паспортъ во имя „единой и нераздѣльной республики“ и оставилъ Францію. Паспортъ этотъ онъ потомъ переплелъ въ сафьянъ, берегъ всю жизнь, иногда показывая близкимъ знакомымъ. Ральеръ отправился прямо въ Петербургъ. Въ оригинальномъ рѣшеніи этомъ помогъ ему опять таки указующій перстъ *du grand maître*. Какъ-то вечеромъ въ 92 году Ральеръ сидѣлъ у Терони-де-Мерикуръ; туда пришелъ Ромъ и



съ нимъ какой-то юноша. Юношу Ромъ воспитывалъ и любилъ какъ сына. Онъ говорилъ объ немъ съ восторгомъ, какъ о будущемъ представителѣ безсмертныхъ началъ революціи въ Россіи. Мальчикъ этотъ долженъ былъ получить тысячу тридцать крестьянъ и клялся Рому ихъ освободить. Ральеръ сблизился съ нимъ. Молодой человѣкъ много разъ звалъ Ральера въ Россію просвѣщать полуварваровъ; онъ рѣшился воспользоваться его приглашеніемъ. Это было въ концѣ царствованія Павла. *C'était un fameux farceur, voire empreneur Paul*, у меня слабость къ нему. Прежде, чѣмъ Ральеръ отъскалъ *le citoyen comte Strogonoff*, онъ однимъ добрымъ утромъ встрѣтилъ на улицѣ Павла. Замѣтивъ что-то яковинское въ покроѣ его кафтана, онъ осмотрѣлъ его съ головы до ногъ и велѣлъ узнать кто онъ такой? Узнавъ, что онъ гражданинъ французской республики, Тразеасъ-Граехъ по имени, императоръ не то, чтобъ особенно обрадовался и тутъ же велѣлъ отставить одного генерала, одного полковника, двухъ таможенныхъ приставовъ и десятокъ квартальныхъ, за допущеніе въ столицу такого Тразеаса-Граеха. Ральера схватили, свезли въ крѣпость. Черезъ часъ въ крѣпость явился оберъ-полиціймейстеръ; черезъ часъ и пять минутъ — тройка съ фельдъ-егеремъ. Оберъ-полиціймейстеръ объявилъ, что государь приказалъ его отправить на житье въ Пермь, и потомъ сталъ допрашивать его, зачѣмъ онъ пріѣхалъ, какого званія и проч. „Справедливѣе было бы, — замѣтилъ Ральеръ — сперва спросить, а потомъ ссылать“. Полиціймейстеръ испугался, писарь записалъ. Ральера усадили въ кибитку, адъютантъ проводилъ до заставы, и они помчались... На другой день они были километровъ за триста отъ Петербурга, когда нагнала ихъ другая тройка, скакавшая во весь опоръ.

Адъютантъ, сплѣвшій въ ней, кричалъ фельдъ-егерю, чтобъ онъ остановился, и билъ ямщика, чтобъ тотъ обгонялъ. Подскакавши, онъ соскочилъ съ телѣги, велѣлъ Ральеру выйти и объявилъ ему слѣдующее отъ имени императора: государь находитъ замѣчаніе французскаго подданнаго Ральера совершенно вѣрнымъ, относитъ къ глупости и нерадѣнію по службѣ оберъ-полиціймейстера, что онъ сперва не допросилъ его, въ силу чего всемилостивѣйше приказываетъ выслать означеннаго Ральера за границу, давъ ему сто червонцевъ на дорогу. Ральеръ отказался отъ денегъ и помчался тѣмъ же порядкомъ въ Петербургъ; на заставѣ его уже ждалъ третій адъютантъ съ третьимъ приказомъ Павла. „За отказъ отъ денегъ слѣдовало бы иностранца Ральера строжайше наказать, но, такъ какъ онъ показываетъ столько же безкорыстія, сколько первое замѣчаніе разсудительности, предложить ему на выборъ—ѣхать въ ссылку въ Сибирь, или опредѣлиться въ женское учебное заведеніе учителемъ французскаго языка, съ обязанностью носить армейскій прaporщичій мундиръ“. Думать надобно, что такое странное сходство павловскихъ мѣръ съ мѣрами Комитета Общественнаго Спасенія не совсѣмъ было антипатично Ральеру: онъ не поѣхалъ и заказалъ себѣ мундиръ, который оказался не нужнымъ, потому что, если Тразеасъ-Гракъ неожиданно остался въ Петербургѣ, то Павелъ оставилъ этотъ городъ тоже невзначай, по экстренному поѣзду. Послѣ смерти Павла Ральеръ добрался до Строгонова. Онъ тотчасъ сообщилъ ему проектъ преобразованія Россіи, основанный на уничтоженіи крѣпостнаго состоянія, дворянства, чиновъ, привилегій, на превращеніи церквей въ школы, а аршинновъ въ метры.

Строгоновъ находилъ его проектъ замѣчательнымъ,

но преждевременнымъ. Ральеръ надулся и воспользовался первой войной съ Франціей, чтобъ уѣхать въ Молдо-Валахію. Тамъ онъ проповѣдывалъ Рома и монтаньяровъ дѣтямъ какого-то владѣтельнаго принца, обучалъ ясскихъ аристократовъ французскому языку и пѣнію Марсельезы. Изъ Яссы онъ поѣхалъ въ Польшу, къ какому-то магнату, князю и поклоннику Робеспьера; въ его домѣ онъ встрѣтилъ сироту французенку, ея красота тронула моего героя, онъ предложилъ ей руку и сердце на томъ условіи, чтобъ въ церкви не вѣнчаться. La belle enfant разсудила, что, чѣмъ менѣе цѣпей, тѣмъ лучше, и согласилась. Черезъ три года она его бросила, уѣхавъ съ сыномъ поклонника Робеспьера, оставляя въ знакъ памяти новорожденного; черезъ тринадцать лѣтъ она сама, брошенная магнатомъ, поселилась въ Парижѣ и упросила Ральера отпустить къ ней le cher fils для воспитанія въ la belle France. Въ Парижѣ она умерла, обобранная до нитки какимъ-то высокимъ итальянскимъ баритономъ и двумя тощими аббатами. Сынъ остался въ школѣ.

Наконецъ, послѣ всѣхъ скитаній и Ральеръ, какъ настоящій французъ, все таки очутился въ Парижѣ послѣ 1830 года, смягченный возстановленіемъ *трехъ цеттовъ*. Онъ съ высока смотрѣлъ на конституціонную монархію и былъ увѣренъ, что новая измѣна Мотье (онъ иначе не называлъ Лафайета) и „узурпація“ старшаго сына Филиппа-Егалите непрочны, и что республика настоящая, la bonne et la vraie, за плечами. Но видны интриги Бараса и Кабаргосъ пережили ихъ, и Ральера, замѣшаннаго въ дѣло Барбеса и Бланки, усадили въ Mont Saint Michel. Ему было тогда уже за шестьдесятъ.

... А propos въ Mont Saint Michel, я помню въ старые

годы, въ Версали или въ Сень-Клу, въ комнатѣ Маріи Амеліи, висѣлъ превосходный видъ. Mont Saint Michel. Для меня всегда было странно, почему она выбрала именно этотъ видъ, а не что нибудь другое... морское и гористое, ну Сень-Мало, что ли? Какъ будто пріятно засыпать съ такими Memento власти передъ глазами и просыпаться, думая: а вотъ нашъ добрый cousin Пакье еще вчера законопатилъ въ это птичье гнѣздо на скалѣ двѣ-три безпокойныя головы; а Барбесъ тамъ сидитъ столько-то; мой мужъ можетъ выпустить ихъ всѣхъ, онъ добрый человѣкъ, но затрудняется въ выборѣ, и чтобъ не сдѣлать несправедливости, не выпускаетъ никого...

— А мнѣ кажется, докторъ, она вовсе этого не думала, а просто смотрѣла, да любовалась на волны и камни. Такъ какъ люди, ѣдящіе страсбургскіе пироги, не думаютъ о разныхъ непріятностяхъ, причиняемыхъ гусямъ для ожиренія ихъ печени.

— J'aime ça... вы правы; и это уже чистый туранизмъ: въ самомъ дѣлѣ, ей и въ голову, вѣроятно, не приходило, что за этими стѣнами томятся люди, она все на чаекъ смотрѣла.

И такъ, снабдивши старика ревматизмомъ во всѣхъ суставахъ, правительство лѣтъ черезъ шесть возвратило сколько его осталось „семѣ и обществу“. Старика взялъ къ себѣ его сынъ, который уже успѣлъ сдѣлаться большимъ дѣльцомъ и извѣстнымъ нотаріусомъ въ Парижѣ. Я лечилъ у него въ домѣ и меня призвали къ старику. Старикъ очень привязался ко мнѣ, ему не съ кѣмъ было души отвести, а я слушалъ его съ любовью. За то, могу васъ увѣрить, рѣдко кто знаетъ больше меня подробностей о процессѣ Рома и Гужона. Молодой Ральеръ, Изидоръ, былъ не глупый, не злой человѣкъ,

даже либеральничать, но при этомъ онъ все же былъ больше нотаріусъ, чѣмъ что нибудь другое. Ему и въ голову не приходило становиться на дорогѣ реакціи; онъ сторонился передъ ней, пожимая плечами и предоставляя исторіи самой выработываться какъ знаетъ. Къ тому же онъ былъ въ ложномъ положеніи. Онъ ничего не имѣлъ, кромѣ кой-какихъ знаній и того *пятна*, которое въ глазахъ честныхъ и умѣренныхъ людей положилъ на него нераскаянный старикъ. Мѣсто свое, тепло насиженное со всей кліентелею тестя, онъ получилъ въ приданное за женой. Жена его во всю жизнь имѣла одинъ капризъ: ей вздумалось выйти за мужъ за Изидора. Ральеръ былъ хорошъ собой, какъ-то удачно чесался *à la Louis-Philippe* и могъ танцовать отъ 10 вечера безъ усталы до 5 утра. Капризъ былъ не силенъ, но отецъ сначала поперечилъ, тогда она рѣшила во чтобъ ни стало поставить на своемъ и поставила. Это была чистая парижанка средняго круга, не хуже, не лучше тысячи другихъ. Она была правильно красива, имѣла видъ образованія, большой эгоизмъ, бездну тщеславія и совершеннѣйшую пустоту внутри. Мужу она не позволяла ни на минуту забывать, что она ему вмѣстѣ съ своей персоной, сладкой и холодной, какъ *pekingue ginsse*, съ своей правильной любовью, безъ излишествъ и отказовъ, принесла очень „хорошее общественное положеніе“. Мысль поселить старика у нихъ въ домѣ принадлежала ей, она смертельно боялась, что онъ на волѣ скомпрометируетъ опять ея Изидора и его общественное положеніе. Матеріально она ему все готовила, обчистила его и пріодѣла. Она, понимая, что между старикомъ и ею не было ничего общаго, высказывала тѣмъ сильнѣе свои чувства. Мнѣ приходилось не разъ внутренне улыбаться, когда М<sup>ме</sup> Матильдъ,

проводяя послѣ обѣда прищуренными глазами старика, уходившаго къ себѣ, опираясь на костыль, подъ предлогомъ трубки, говорила мнѣ: „Какъ это мило имѣть въ домѣ такого почтеннаго старика, vénérable vieillard; я такъ люблю, когда «рара» за столомъ, это такъ трогательно, такъ патріархально. Старикъ съ почтенными сѣдинами такъ же необходимъ для семейной картины, какъ дѣтскія бѣлокурныя головки. Жаль, что у папа такіе нехорошіе принципы, но онъ жилъ въ ужасное время, когда все было ниспровергнуто, и тронъ, и алтарь. Мнѣ, знаете, просто страшно, когда онъ говоритъ о религіи и о всемъ такомъ, я стараюсь просто не слушать. Это такъ прекрасно имѣть религію, неправда ли?“ Нотариусъ не перечилъ ей, не перечилъ и отцу. Онъ сидѣлъ весь день и часть вечера въ своемъ студіумѣ, искалъ законы, писалъ черновые и принималъ разныхъ княгинь и маркизъ въ первую минуту зачатія подложной духовной, исправленнаго брачнаго контракта, и безъ шума откладывалъ плоды своихъ совѣтовъ въ разныя желѣзныя дороги. Старикъ было не по себѣ у нихъ, онъ не шелъ ни къ кабинету сына, ни къ гостиной его жены, скучалъ, слабѣлъ, становился мрачнѣе и, мнѣ кажется, жалѣлъ Mont Saint Michel. Раза два ему хотѣлось уйти куда нибудь на свободу и покой, но жена нотариуса и слышать не хотѣла; она рѣшительно находила неприличнымъ имѣть старика отца на сторонѣ. „То положеніе, которое занимаетъ (и съ такимъ достоинствомъ) мой Изидоръ, — говорила она, — положеніе, которое создать и упрочить стоило жизни моему бѣдному отцу, обязываетъ ко многому; оно требуетъ des ménagements и великій тактъ поведенія. Это не капиталъ, съ котораго рента растетъ, какъ трава, пока мы спимъ; тутъ все зависитъ отъ нравственнаго кредита. Что же

вы думаете—хорошо, когда пальцемъ укажутъ на рара прибавляя, что это отецъ Изидора, и тутъ пойдутъ всѣ эти комментаріи, распросы. „Отъ чего онъ не ужился у своего сына, и какъ онъ его отпустилъ, вѣрно его сноха выжила?“ Къ тому же нашъ добрый старикъ, онъ опасенъ внѣ дома съ своими идеями съ того свѣта и фразами изъ *Chevaliers de la maison rouge* Дюма. Его посадятъ, если не опять въ тюрьму, то въ съумасшедшій домъ. За нимъ надобно смотрѣть какъ за ребенкомъ, и я со всей охотой, со всей преданностью дѣлаю все это для отца моего Изидора. Жена плакала, Изидоръ принимался умолять старика; старикъ угрюмо соглашался и шелъ къ себѣ читать по новому изданію Монитера девяностыхъ годовъ процессъ Рома, дѣлая на маржахъ отмѣтки, поправки и собираясь торжественно уличить въ криводушіи редакторовъ, изъ которыхъ ни одного не было въ живыхъ.

## II

Пока старикъ собиралъ неопровержимыя доказательства, что гарантіи, даваемыя закономъ всякому преступнику, не были взяты въ уваженіе при процессѣ послѣднихъ римлянъ „и великихъ патриотовъ“, онъ получилъ первое предостереженіе. У него отнялись рука и нога. Немного спустя, какъ всегда бываетъ, когда судьба или ея представители хотятъ прекратить человѣка или журналъ, второе предостереженіе. Я намекнулъ М<sup>ше</sup> Ральеръ, что положеніе не безъ опасности; она вскочила съ какимъ-то ужасомъ.—Боже мой! я всегда этого боялась.—Разсудите, замѣтилъ я: семьдесятъ шестой годъ.—Нѣтъ, нѣтъ, вы этого, докторъ, не поймете,

онъ *кончитъ такъ*; и она побѣжала къ мужу въ какомъ-то истерическомъ раздраженіи.

Приѣзжаю я разъ къ старику утромъ и застаю его очень печальнымъ и беспокойнымъ.—Мнѣ, говоритъ онъ, съ вами надобно особо поговорить.

—Къ услугамъ вашимъ, у меня времени довольно.

—Посмотрите сперва не подслушиваетъ ли кто?

Я посмотрѣлъ: разумѣется, никто не подслушивалъ.

—Теперь закройте дверь и садьте ко мнѣ поближе. Вотъ въ чемъ дѣло, я думаю, почти увѣренъ...

—Ваше положеніе, замѣтилъ я, не безъ опасности (старикъ презрительно улыбнулся); но живутъ и не такіе болѣзненные годы цѣлые у насъ теперь въ Hôtel Dieu.

Ральеръ строго посмотрѣлъ на меня изъ подъ нависшихъ бровей: Извините, сказалъ онъ, у меня нѣтъ достаточно силъ и времени, чтобъ дослушать эту, вѣроятно, очень интересную исторію о вашемъ пациентѣ. Вы, докторъ, кажется человекъ умный и меня немного знаете; не можете же вы думать, что я не умѣю покориться неизмѣннымъ законамъ естества? Я пожилъ довольно, слишкомъ довольно. Меня занимаетъ совсѣмъ другое. Съ того дня, когда великій учитель мой Ромъ прижалъ меня къ своей груди и сказалъ мнѣ: „Храни эти чувства“, я ихъ хранилъ во всѣхъ обстоятельствахъ моей трудной, скитальческой жизни. Съ ними я хотѣлъ бы отойти. Пока машина исправна, я ничего не боюсь; ну, а сломается (онъ указалъ пальцемъ на свой высокій, покрытый морщинами лобъ)—что же я сдѣлаю? Изидоръ хорошій человекъ, но слабый, и не туда направленъ умъ..... Матильда женщина добрая, хорошая мать, но женщина не свободная отъ фанатическихъ предрассудковъ, и еще меньше, отъ мнѣнія пустыхъ людей. Послѣ перваго случая со мной, я какъ-то послѣ обѣда возвра-



тился опять въ столовую; дверь въ гостиную была отворена, тамъ сидѣлъ молодой откормленный аббатъ; Матильда съ жаромъ говорила съ нимъ и наливала ему въ рюмку ликеру. Аббатъ слегка качалъ головой и то закрывалъ глаза, то поднималъ ихъ къ небу. Увидя меня, Матильда сконфузилась, да сконфузился и я; показалъ ей пальцемъ, чтобъ она меня не замѣчала, и ушелъ къ себѣ.

... Черезъ нѣсколько минутъ я подхожу къ окну. Аббатъ стоялъ на тротуарѣ и дружески толковалъ съ нашей Бабетой.

— Вы знаете ?

— Какъ же не знать.

— Аббатъ благословилъ ее и подарилъ ей какую-то медальку. Эге, да это комплотъ — подумалъ я — и комплотъ противъ меня. Они хотятъ загнать въ папское стадо потерянную овцу. Дѣло лестное, овца недюжинная... Но они считаютъ безъ хозяина... меня смертью не испугаешь. — Старикъ началъ сердиться и повторять : — нѣтъ, нѣтъ, вѣдь я не принцъ Беневентскій, я никогда не примирялся съ конкордатомъ, — нѣтъ, я не принцъ Беневентскій ! — И, выбившись изъ силъ, онъ заснулъ середь рѣчи. Во снѣ больной, вѣроятно, продолжалъ тузить мысли.... Раскрывши, глаза онъ сказалъ мнѣ : Докторъ, вы честный человѣкъ, вы не были равнодушны — ни ко мнѣ, ни къ великимъ началамъ революціи. Могли я считать на васъ, что вы не оставите меня въ послѣднія минуты, что вы будете здѣсь... возлѣ моей кровати, что вы не позволите опозорить чистую жизнь старика, что вы не допустите къ моему одру чернаго таракана (Saffard).

— Здѣсь я буду, сказалъ я ему, за это я вамъ отвѣчаю и сдѣлаю все человѣчески возможное, чтобъ желаніе

ваше исполнилось. Но теперь успокойтесь ; вамъ необходимо отдохнуть, вы очень взволнованы. Вечеромъ я опять заѣду. Больной взялъ меня за руку и, сколько могъ, сжалъ ее, чтобъ поблагодарить.

— Не безпокойтесь объ усталѣ ; скоро я буду имѣть досугъ для того, чтобъ отдохнуть отъ всего. А теперь дайте мнѣ вотъ эту шкатулку, что стоитъ на комодѣ.

Я подаль ; онъ съ уваженіемъ отперъ, вынулъ изъ нея черепаховую табакерку, портретъ въ этюи и еще что-то въ кожаномъ мѣшечкѣ. „Табакерка Рома, его портретъ, дѣланный ученикомъ измѣнника Давида, „барона Давида“, и шейный платокъ Гужона, покрытый его кровью... Это всѣ мои сокровища. Я съ ними не разлучался съ 96 года ; я ихъ завѣщаю вамъ, докторъ, берегите ихъ и оставьте при мнѣ до тѣхъ поръ, пока не потухнетъ мое зрѣніе“. Старикъ отеръ слезы. Да, признаюсь вамъ, и не одинъ старикъ. Я опять старался его успокоить, но уговорить его было трудно ; онъ не отпускалъ меня и держалъ то за руку, то за сюртукъ. „Ну спасибо вамъ ; что я безъ васъ могъ бы сдѣлать въ моемъ положеніи противъ заговора, въ которомъ участвуютъ всѣ ? Вчера Бабета приносила мнѣ изображение казни одного великаго мученика и говоритъ мнѣ : Я припишу это изображение къ вашей занавѣси ; это облегчитъ васъ и заставитъ подумать о спасеніи души вашей. Когда мой отецъ былъ очень болѣнъ, ему бабушка положила такое изображение на подушку и ему стало легче. — Бабета, сказалъ я ей, искренно жалѣю, что вашъ родитель кончилъ жизнь въ мракѣ предразсудковъ. Я этого казненнаго человѣка уважаю : онъ твердо, какъ наши великіе учителя, умеръ за свои убѣжденія, убитый судейскими барасами и римскими военносудными коммиссіями ; но, когда вы приносите его изо-

браженіе какъ лекарство или колдовство, я прошу васъ удалиться съ нимъ; у меня въ комнатѣ не мѣсто знакамъ фанатизма, ниспровергающимъ право ума человѣческаго и гармоніи законовъ природы... На мои слова Бабета отвѣчаетъ мнѣ: „Ужъ хоть бы Богъ передъ смертью раскрылъ ваше сердце. Я вамъ изъ жалости говорю: вы кончите безъ покаянія и попадете въ адъ, словно вы не крещеный“.—М<sup>ма</sup> Куртилье, говорю я ей, человѣкъ не отвѣчаетъ за дѣйствіе, сдѣланное надъ нимъ въ младенчествѣ, но отвѣчаетъ за свою старость и смерть, пока не сошелъ съ ума. Что касается до Бога и ада, это вопросы нерѣшенные и вовсе меня незанимающіе, какъ выходящіе изъ круга нашей дѣятельности. — „Такъ вы еретикомъ и пойдете туда“, прибавила она, ворча и убираясь вонъ. Это, все аббатъ ее научилъ; іезуиты вездѣ ищутъ себѣ агентовъ и соглядатаевъ.

Старикъ уснулъ, бормоча что-то о Лойолѣ..... а я на цыпочкахъ вышелъ вонъ, тихо, тихо притворивши дверь.

### III

Прямо отъ старика я прошелъ въ студию нотариуса. Въ канцеляріи былъ величайшій беспорядокъ. Ни одного ожидающаго, зѣвающаго, скучающаго посѣтителя на лавкахъ, ни одного писца на своемъ мѣстѣ. Самого Изидора не было въ кабинетѣ, не смотря на то, что это былъ пріемный часъ. Я имѣю непреодолимое отвращеніе къ конторамъ, канцеляріямъ и всякимъ мастерскимъ и людскимъ бюрократіи,— и самое ненавистное для меня въ нихъ, это ихъ бездушный порядокъ, ихъ запыленное и потертое однообразіе; потому я почти обрадовался, увидя анархію Изидоровой готовальни. Молодой клеркъ

стоялъ на столѣ и читалъ громко газету ; около него собрались всѣ писцы, положивъ перья свои за ухо, въ томъ родѣ какъ ружья берутъ отъ дождя. Одинъ старшій письмоводитель, старичекъ крошечнаго роста, съ сморщившимися мелкими складочками, которыя придавали ему видъ печенаго яблока, сидѣлъ поодаль. Беззубый, въ красномъ парикѣ, подобранномъ полосками всѣхъ рыжихъ цвѣтовъ, отъ темно-бураго до красно-желтаго, онъ постоянно жевалъ какія-то зернышки и журплъ молодыхъ писарей. Теперь онъ для сохраненія уваженія къ своему общественному положенію сидѣлъ одинъ на своемъ мѣстѣ и говорилъ шамшая: „шалунъ, перестань читать ; здѣсь не кафе. Перестань, сорванецъ. Сейчасъ воротится самъ и увидить...

Мое появленіе остановило чтеніе и смѣхъ. — „Что у васъ за mardi gras сегодня?“ — Вы, докторъ, развѣ не знаете, что творится на свѣтѣ, замѣтилъ стоявшій на столѣ, соскочилъ на полъ и подаль мнѣ торжественно газету. — Я вамъ совѣтую ѣхать домой, вы вѣрно найдете приглашеніе. Тюльрійскій дворецъ занемогъ и ему надобно поставить горчишникъ.

— Перестанешь ли ты, проклятый болтунъ. Совсѣмъ отъ рукъ отбился ; вотъ, докторъ, что значитъ подрывать авторитеты, замѣтилъ старикъ, сердясь какъ сердятся нянюшки на рѣзвыхъ дѣтей.

Я взялъ газету, съ утра дѣло банкета разыгралось и приняло огромные размѣры. Оппозиція требовала отдать министровъ подъ судъ. Гизо шпынялъ надъ ней, президентъ камеры бросилъ петицію подъ столъ, а тонъ журналовъ и оппозиціи поднимался, грозилъ. На улицахъ, на перекресткахъ собирались группы.

— И вотъ, докторъ, эдакой праздникъ *doyen d'âge* не позволяетъ намъ праздновать, болталъ влеркъ : Вѣрно

нашъ рѣге Бонкокъ, подхватилъ другой, въ половинѣ съ Гизо въ какихъ нибудь акціяхъ и боится потерять. Какъ нашъ Бертранъ совсѣмъ оборвется со своимъ Роберъ Макеромъ.

— Кто, кто, Роберъ Макеръ? спрашивалъ не на шутку разсердившійся и испугавшійся старикъ.

— Будто вы не знаете, рѣге Бонкокъ : Фредерикъ Леметръ.

Снова взрывъ смѣха, и вдругъ все утихло, вошелъ Изидоръ. Онъ хотѣлъ быстро пройти въ кабинетъ, но, увидя меня, остановился и, мягко указывая рукой на дверь, пропустилъ меня впередъ. Тамъ онъ устало опустился въ большое сафьянное кресло, указалъ мнѣ на другое и, пробормотавъ : „Что за день! что за день!“ спросилъ объ отцѣ. — Я не скрою отъ васъ, отвѣчалъ я, больной плохъ. Всего хуже то, что онъ поддерживаетъ себя въ тревожномъ состояніи, въ раздраженіи; на это быстро потратятся очень сочтенныя силы его.

— Какъ такъ?

— Я рассказалъ ему, что счелъ нужнымъ. Нотариусъ всталъ, прошелся раза два по комнатѣ, потомъ остановился передо мной и, скрестивши руки на груди, сказалъ : — Ей Богу, голова идетъ кругомъ, есть отъ чего съ ума сойти. Кажется, я привыкъ ко всякаго рода самымъ запутаннымъ положеніямъ; но это слишкомъ; все разомъ — и нѣтъ времени сообразить... Тутъ разваливается цѣлый общественный строй отъ упрямства двухъ стариковъ; уличный беспорядокъ и шумъ грозитъ богъ знаетъ чѣмъ. Дома умираетъ отецъ, котораго я люблю, но котораго несчастный ригоризмъ, совсѣмъ неприндалежащій нашему времени, ставитъ меня въ страшнѣйшую альтернативу. Я съ вами, докторъ, буду откровененъ, мы люди нашего вѣка; вы не можете думать,

чтобъ у меня были какіе нибудь предрасудки... Между нами будь сказано, я полагаю, что во всемъ домѣ одна Бабета въ самомъ дѣлѣ имѣетъ дѣтскую вѣру и держится церкви; но тутъ одно проклятое обстоятельство... Если я могу его устранить, я сдѣлаю все такъ, чтобъ кончина старика была тиха и покойна; только сладить трудно.

— Въ чемъ же дѣло?

— Какъ въ чемъ, любезный докторъ? слухъ о тяжелой болѣзни отца разнесся, не могу же я сказать тогда, что онъ кончилъ *скоростижно*, не успѣлъ исполнить обряды. Его прошедшее, его мнѣнія слишкомъ извѣстны, чтобъ *они* захотѣли смотрѣть сквозъ пальцы. Будь это просто такъ кто нибудь, я поѣхалъ бы къ Афру, прекраснѣйшій и прелюбезнѣйшій человѣкъ. Я сладилъ бы съ нимъ въ четверть часа; но тутъ онъ упрется: почитатель Рома, нераскаянный Якобинецъ, умеръ безъ отреченья, безъ примиренья, онъ для примѣра другимъ, для угрозы, не позволить его хоронить съ должной церемоніей.

— Что же, отецъ вашъ этого-то и хочетъ.

Нотаріусъ поднялъ голову на верхъ, какъ это дѣлають лошади въ упряжи.

— Въ моемъ общественномъ положеніи это безусловно невозможно — *безусловно*. Есть обязанности, которымъ слѣдуетъ подчинять самыя справедливыя стремленія сердца. У меня дѣти, я долженъ объ нихъ думать, и это далеко не все: мое положеніе, мое достоинствѣ, это *депо*, ввѣренное мнѣ женщиной, ихъ матерью, я его именно потому долженъ хранить какъ святыню, что съ меня нельзя требовать никакого отчета. Понимаете теперь?...

— Нѣтъ, не понимаю.

— Вамъ хорошо, вы одни и васъ зовутъ, когда тѣло нездорово; отъ васъ хотятъ *только* физической помощи. Наши пациенты посложнѣе, отъ насъ требуютъ не одного знанія, но неукоризненной нравственности, огромнаго такта въ поведеніи и самаго строгаго соблюденія прилпчій. Ну, какъ же имя, особенно женское, аристократическое, пойдетъ въ мою студию послѣ гражданскихъ похоронъ моего отца? Вы не подозреваете чудовищную силу предрасудковъ въ нашемъ обществѣ! На словахъ мы всѣ кощунствуемъ; а на дѣлѣ — величайшіе трусы. Незаконнорожденному, подкидыву скорѣе простить его рожденіе, чѣмъ отцу, который бы не окрестилъ своихъ дѣтей. Да что тутъ толковать, я душевныя немощи знаю столько, сколько вы тѣлесныя. Отца я люблю, уважаю, хотя и не дѣлаю его эксцентричностей, и сдѣлаю все, *что могу* — nul n'est tenn à l'impossible.

— Я всталъ.

— А что? Отецъ не говорилъ вамъ, что онъ писалъ свою волю? Вы понимаете, добавилъ нотариусъ, подымая плечи, я не за наслѣдство боюсь: оно, кажется, состоитъ изъ Ромовой табакерки и его портрета.

— Ими вашъ отецъ распорядился, онъ ихъ завѣщалъ мнѣ.....

— Спорить изъ-за наслѣдства, надѣюсь, мы не будемъ, замѣтилъ онъ съ невыразимо сдержанной улыбкой. Нѣтъ, я на счетъ письменнаго заявленія о порохонахъ.

— Можетъ и писалъ, замѣтилъ я, желая его помучить.

Туча пробѣжала по лицу нотариуса. — Онъ вамъ читалъ?

— Нѣтъ.

Лицо нотариуса прояснилось; мы разстались.

## IV

... На другой день весь Парижъ былъ на ногахъ, билъ рапсель; все шло и двигалось. Министерство Одильона Баро было смыто мгновенно, какъ глина и грязь первой волной. Правительство уступало, никто не зналъ куда идти, и всѣ шли скорыми шагами. Приемный часъ мой проходилъ; ни одного больного: въ такіе дни, я всегда замѣчалъ, всѣ бываютъ здоровы. Въ 49 году, 13 Іюня сдѣлало перерывъ въ холерѣ. Я хотѣлъ выйти взглянуть, взялъ уже шляпу, вдругъ колокольчикъ и самъ Изидоръ in propria persona явился передо мной. Онъ никогда не бывалъ у меня. — Я къ вамъ заѣхалъ, говоритъ онъ, на минуту, чтобъ сказать, что дѣло я почти уладилъ, и легче чѣмъ думалъ. Вотъ что намъ помогло... и онъ указалъ пальцемъ на улицу, по которой шли колонны вооруженныхъ людей, громко покрикивая: *Vive la réforme! A bas Guizot!* Духовенство сконфужено до высочайшей степени, боится революціи, какъ огня, и со страху кокетничаетъ съ нами. Если *наша* возьметъ, а въ этомъ почти нѣтъ сомнѣнія, все сойдетъ съ рукъ безъ хлопотъ. „Успокойтесь, сказалъ мнѣ самъ Архіерей, я поговорю съ вашимъ священникомъ и постараюсь убѣдить его. Если состояніе больного препятствуетъ, мы охотно возьмемъ на себя спасеніе его души. Церковь *volentem ducit, nolentem trahit*. Скажите вашей доброй супругѣ, что я молюсь за него и чтобъ и она молилась; скажите, что я посылаю ей пастырское благословеніе и очень цѣню, что въ нашъ суетный вѣкъ она прибѣжна къ храму господню. Влады ея мнѣ извѣстны и такъ же то, что ея мѣсто въ церкви рѣдко



бываетъ пусто въ воскресные дни“. Онъ очень, очень милый человѣкъ.

— А хорошо, сказалъ я ему, что вашъ батюшка не будетъ присутствовать на своихъ похоронахъ.

— Вы не къ намъ ли? Мой экинажъ у вашего подъѣзда, я васъ довезу.

— Благодарю васъ, мнѣ хочется пройтись.

— Ходить теперь не совсѣмъ удобно, il y a trop de peuple souverain на улицахъ. До свиданья.

..... Утромъ я засталъ старика въ забытіи. Жизнь отступала тихо, надежды не было никакой. Мнѣ говорили, что онъ слышалъ шумъ на улицѣ, раппель, спрашивалъ что такое? узналъ Марсельезу, билъ таетъ и двигалъ губами; потомъ опять заснулъ. Я поѣхалъ къ двумъ-тремъ больнымъ, съѣлъ котлету и воротился въ сумеркахъ къ старику. У дверей больного стояла добрая Бабета и горько плакала. Этого агентъ римской церкви и алгвазилъ ордена Игнатія Лойолы любила старика и жалѣла его отъ чистаго сердца. — Докторъ, говорила она мнѣ, онъ отходить; не берите на вашу душу часть грѣха, уговорите его, пока время есть, покаяться и примириться съ святой церковью. У него вѣдь было золотое сердце, онъ любилъ насъ бѣдныхъ и безъ всякой гордости, сколько могъ, всегда помогалъ. За что же, помилуйте, за что же его праведная душа должна идти въ адъ? Неужели вы такой безчувственный, что вамъ не жаль?

— Бабета, успокойтесь, chère enfant, душа его въ адъ не пойдетъ; сами же говорите, что она праведная.

— Безъ отпущенія никакая не войдетъ въ рай, говорила она, и бѣдная заливалась слезами. Во время моего отсутствія у старика былъ еще ударъ. Сынъ сидѣлъ возлѣ на креслахъ и, все что-то обдумывая, глядѣлъ на

потолокъ. Онъ во время моего отсутствія привелъ въ порядокъ бумаги отца. Я, осмотрѣвши больного, сказалъ Изидору, что остаюсь по обѣщанію до послѣдняго дыханія старика, что надежды нѣтъ никакой и, что это вопросъ нѣсколькихъ часовъ больше или меньше...

Изидоръ замѣтилъ, что онъ ничего письменнаго на счетъ распоряженій не нашелъ.

Старикъ только минутами приходилъ въ себя и то не совсѣмъ. Разъ, всмотрѣвшись въ меня, онъ узналъ, обрадовался и сказалъ : а вы слышали Марсельезу на улицѣ и барабанъ? Ихъ оправдаютъ! съ торжествомъ прибавилъ онъ.

Въ комнатѣ было совершенно тихо ; вдругъ брякнулъ залпъ и за нимъ опять тишина. Старикъ раскрылъ мутные глаза, прислушался и сказалъ : — „Вандемьеръ ; я не вѣрю корсиканцу“. Это былъ знаменитый залпъ на бульварѣ. Часа черезъ два народное море заревѣло по улицамъ. Изидоръ пошелъ узнать, что дѣлается. Старикъ много разъ раскрывалъ глаза, будто припоминалъ что-то... Изидоръ возвратился взволнованный. Онъ мнѣ сказалъ, что строить барикады и покрикиваютъ : Да здравствуетъ Республика. Мнѣ хотѣлось сообщить это умирающему и въ минуту, когда онъ снова слышалъ шумъ и барабанъ, я сказалъ ему : — Республика, Республика. — *Une et indivisible*, повторилъ онъ слабо, но внятно. Затѣмъ началась послѣдняя борьба жизни. Сынъ подошелъ къ кровати, опустился на колѣни и взялъ старика за руку. Бабета тихо вошла въ комнату и плакала, удерживая рыданья ; Матильды, по нашему обычаю не было въ комнатѣ. Изидоръ сдѣлалъ какой-то знакъ, Бабета бросилась вонъ и забыла затворить дверь.

Послѣ сильнаго вздоха, больной открылъ большіе глаза, видно было, что сознаніе на минуту возврати-

лось. Онъ узналъ опять меня и сына. Толпы народа шумѣли больше прежняго ; старикъ указалъ головой и потомъ обвелъ глазами комнату, и вдругъ, какъ ужаленный змѣей или преслѣдуемый звѣремъ, вскрикнулъ; лицо его исказилось отъ ужаса, онъ вырвалъ руку у сына и, усиливаясь спрятаться подальше въ постели, указывалъ мнѣ въ противоположную сторону. — Черный! черный! проговорилъ онъ, и голова его склонилась, рука повисла ; пульса не было.

Я взглянулъ на то мѣсто, на которое онъ указалъ. Въ дверяхъ, не входя въ комнату, стоялъ аббатъ, за нимъ Матильда ; Бабета держала свѣчу. Сынъ показалъ, что все кончено, и покрылъ глаза платкомъ. Аббатъ развернулъ маленькую книжку, которая у него была въ рукахъ, и сталъ въ носъ бормотать по латыни...

Привыкнувшій ко всему, этого я не могъ выдержать, и глядя въ упоръ на Изидора, сказалъ ему : Это уже изъ Лукреціи Борджіа, только постановка не удалась, поторопились ! Я закрылъ покойнику глаза, поцѣловалъ его святой, честный лобъ ; на лицѣ его осталось выраженіе гнѣва и отвращенія, можетъ, умирая, онъ и меня считалъ однимъ изъ заговорщиковъ, однимъ изъ негодцевъ !

Съ плитой на сердцѣ вышелъ я на улицу и встрѣтилъ, какъ вамъ сказалъ, лаборанта и двухъ всадниковъ.

## III

## МЕРТВЫЕ

## I

— Вчера, началъ докторъ, разставшись съ вами, я долго рылся въ бумагахъ и нашелъ тамъ, наконецъ, старую газету, которую искалъ. Статья клерикальнаго журнала и моя назидательная бесѣда съ Марастомъ хорошо замкнутъ мой рассказъ о старомъ якобинцѣ.

Докторъ развернулъ листъ и прибавилъ: позвольте прочесть, я ужасно люблю эту статейку.

— Сдѣлайте одолженіе.

— Чего стоитъ одно заглавіе: « Le catholicisme est-il démocratique et républicain? Католическая церковь не можетъ быть связана ни съ какой формой земной и проходящей власти; она связана съ небомъ и властью, которая не проходитъ? Католическая церковь не враждуетъ съ *свободой*, она сама основана на высшемъ изъ всѣхъ освобожденій, на освобожденіи отъ грѣхопаденія; она не враждуетъ съ *равенствомъ*, призывая малыхъ, сирыхъ и неимущихъ рядомъ съ сильными міра сего; она не враждуетъ съ *братствомъ*, называя братомъ во Христѣ каждого христіанина и повелѣвая любить ближняго и врага. Нечестивыя стѣны, отдѣлявшія жизнь гражданскую отъ жизни церкви, разлетаются какъ прахъ въ такіе великіе дни, въ которые гласъ божій смѣшивается съ гласомъ народнымъ. И вотъ почему для насъ не было ничего удивительнаго въ томъ, что вожди народнаго движенія послѣ побѣды пришли къ алтарю,

воздать Богу богово, и нашли архипастыря возносящаго къ небу теплыя молитвы о народѣ и народныхъ властяхъ. Domine fac salvam Rempublicam раздалось въ то же время во всѣхъ церквахъ великаго града.

„Да, времена, въ которыхъ мы живемъ, глубоко знаменательны, и еще на дняхъ мы видѣли торжественное зрѣлище, которое сильно потрясло насъ и на долго запечатлѣлось въ сердцахъ нашихъ. Едва бушующее народное море отступило съ лѣвиннымъ ревомъ своимъ въ берега, какъ на Монмартрскую пажить господню поступался новый гость, сопровождаемый неутѣшнымъ сыномъ, опиравшимся на руку подруги своей. Она-то примирила почившаго старца съ тѣмъ, который принимаетъ всякое раскаяніе и прощаетъ всякій грѣхъ за ревность о дѣлѣ ближняго. Хоронили по всѣмъ правиламъ католическаго культа Люкаса Ральера, отца извѣстнаго въ Парижѣ нотариуса и легиста. Родившись въ тѣ несчастныя времена, когда легкомысліе Аруэта и вѣрующее невѣріе Жанъ-Жака считались наукой, а ненависть къ церкви любовью къ народу и образованію, Ральеръ въ молодыхъ годахъ дерзко закрылъ себѣ врата церкви. Гордость полъ-вѣка воспрещала ему сознаться въ своей ошибкѣ, и только въ послѣдніе дни, благодаря кроткому вліянію добродѣтельной жены своего сына, старецъ смирился передъ Испытателемъ, и церковь послѣдила принять духъ его съ миромъ. Отецъ Амарантъ произнесъ нѣсколько (но какихъ) словъ на текстъ: „Онъ сказалъ вертоградарю, что не пойдетъ на работу — и пошелъ“... — Да, заключилъ краснорѣчивый аббатъ С.-Сульпиція: усопшій гражданинъ работалъ въ вертоградѣ Христа, зане работалъ для страждущихъ..... Ты былъ нашъ, враждуя на ны. Мы ждали тебя долготерпѣливо и дождались, гряди же какъ невѣста Ливанская на приуго-

товленное ложе..... А мы повторимъ отъ всей души и всего помышленія лптію архипастыря..... И еще помолимся о державномъ народѣ французскомъ и испросимъ благословенія господня на нашу христолюбивую республику, на ея градоначальниковъ, военачальниковъ и представителей. Народъ, сильно тронутый словами Амаранта, разошелся съ крикомъ : *Vive la République! Vive l'église* ».

## II

..... Мѣсяца три спустя, мнѣ было нужно повидаться по очень важному дѣлу съ Марастомъ. Я былъ съ нимъ хорошо знакомъ и помѣщалъ время отъ времени обзорнія медицинскихъ книгъ и отчеты о засѣданіяхъ Медицинской Академіи въ «National'ѣ». Это былъ медовый мѣсяцъ его президентства; добратся до президента было не легко. Приѣзжаю въ первый разъ, — отказываютъ; приѣзжаю во второй — дома нѣтъ.

— А какъ вы думаете, гдѣ онъ?

— Въ Собраніи.

— Я сейчасъ оттуда, его тамъ нѣтъ.

— Стало уѣхалъ.

— Очень вѣроятно, а когда онъ воротится?

— Да вамъ который часъ назначенъ?

— Никакого; мнѣ нужно видѣть Мараста по дѣлу, я докторъ такой-то. Одинъ huissier съ цѣпью позвалъ другого huissier съ цѣпью; этотъ былъ важнѣе и слѣдственно грубѣе : высокій, плѣшивый, рыхлый подагрикъ, павшій на ноги, въ замшевыхъ сапогахъ, съ тѣмъ театральнымъ величіемъ, за которымъ человѣкъ прячетъ совершенную пустоту своего ремесла, онъ объявилъ,

гляди не на меня, а куда-то въ уголъ, что у *Monsieur le Président* надобно письменно просить свиданія и прибавилъ: еслибъ президентъ всѣхъ принималъ, ему надобно было бы 48 часовъ въ сутки, да и тѣхъ, можетъ, не хватило бы. Хотите бумаги и чернилъ? вотъ все, что нужно, прибавилъ онъ и указалъ маленькимъ пальцемъ на столъ. Я вынулъ изъ кармана свою карточку и написалъ на ней: Мнѣ васъ нужно по дѣлу; меня къ вамъ не пускаютъ. Я прійду завтра въ девять утра узнать, когда васъ можно видѣть? *Huissier* улыбнулся и не могъ удержаться, чтобъ не сказать: это не дѣлается такъ.

На другое утро таже исторія. *Huissier* говорилъ, что онъ карточку положилъ съ другими, что приказа никакого не было. Шутка эта стала мнѣ надоѣдать. Позовите когонибудь изъ секретарей, сказалъ я, немного приподнявъ голосъ. — Ни одного еще нѣтъ. — Зачѣмъ нѣтъ, долженъ быть дежурный; что за беспорядокъ. Я сажусь здѣсь и буду ждать часъ, два; а потомъ, прошу покорно замѣтить, что, если не прійдетъ секретарь, я не возвращусь, а послѣдствіе этого вы возьмете на себя.

Подагрикъ, нѣсколько огорошенный, отправился во внутреннія комнаты, беззвучно ступая по паркету съ осторожностью слона, идущаго по льду. Черезъ минуту онъ воротился съ чернымъ фракомъ, видимо заряженнымъ на всякую дерзость; онъ еще издали, для тону громко сморкаясь, спросилъ: Гдѣ онъ? *que diable*, и срѣзлся. Я его зналъ корректоромъ въ „*Nacionalf*“ и вмѣстѣ съ нимъ поправлялъ мои статьи. — Зачѣмъ, говорю я ему, Марастъ играетъ въ прятки и поставилъ какихъ-то гипопотамовъ съ цѣпями въ свою охрану. Мнѣ его нужно видѣть по дѣлу, которое столько же интересуетъ его, какъ меня.

— Видѣть теперь президента невозможно ; у него Ламартинъ и Гарнье Пажесь, поѣзжайте домой ; я черезъ два часа пришло вамъ отвѣтъ. Черезъ два часа, даю честное слово. Вы слышали, что затѣваютъ Косидьеръ и Луи-Бланъ ?

— Не слыхалъ, но не хочу у васъ отнимать времени. И такъ, черезъ два часа.....

Экзъ-корректоръ сдержалъ слово. Хотя не черезъ два часа, но въ тотъ же день явился ко мнѣ, гремя палашемъ и шпорами, зацѣпляясь каской за двери, драгунъ, и подаль огромный пакетъ, въ которомъ лежала крошечная бумажка, и на ней : „Г. президентъ проситъ васъ пріѣхать завтра въ 11 часовъ утра, время его утренней закуски“.

Когда я на другой день вошелъ въ пріемную залу, тамъ стояли, сидѣли, ходили, говорили, молчали обычные лица всѣхъ официальныхъ переднихъ. У дверей во внутреннія комнаты красовались часовые изъ національной гвардіи съ ружьями у ногъ, лакеи въ ливреяхъ сновали взадъ и впередъ, какіе-то офицеры главнаго штаба пробѣгали въ такомъ вооруженіи и такъ озабоченно и быстро по залѣ, какъ будто сейчасъ начнется канонада, и непріятель уже занялъ Монмартрскія высоты. Нѣсколько человѣкъ въ нечищенныхъ пальто и ярко красныхъ шейныхъ платкахъ сильно ораторствовали ; полагаю, что эти представители демократическаго равенства сословій были просто шпионы, которыхъ Марастъ захватилъ съ собой изъ Hôtel de Ville. Словомъ, это была пріемная временщика, Меттерниха, при царѣ-народѣ ; но пріемная не обходившаяся, не обтершаяся ; словно въ ней пахло краской и двери скрипѣли на петляхъ.

Оффиціантъ громко назвалъ меня по фамиліи и пригла-



силъ въ столовую. Въ углу большой залы былъ накрытъ столъ на четыре прибора, ломившійся отъ тяжелаго серебрянаго платò. У окна стоялъ Паньеръ, я подошелъ къ нему и едва успѣлъ, улыбаясь, сказать : *tempora mutantur*, какъ двери отворились *à deux battants* и, предшествуемый главнымъ *huissier*, сопровождаемый секретаремъ и официантами, вошелъ Марастъ. Часовые брякнули на караулъ ; щегольски одѣтый, въ небрежномъ утреннемъ костюмѣ, раздушенный, съ пышно-взбитыми сѣдыми волосами, Марастъ былъ свѣжъ и румянъ, какъ американское яблоко ; въ лицѣ его, отъ природы очень красивомъ, была какая-то фосфоричность отъ упоенія собою. Онъ слегка извинился передо мной и, указавъ рукой на стулъ, прибавилъ : — Мы, любезный докторъ, переговоримъ за котлеткой, если вы думаете, что дѣло не повредитъ пищеваренію. Официантъ торжественно снялъ какую-то крышку и передалъ ее другому, который торжественно понесъ ее на другой столъ. Я взглянулъ на Паньера и подумалъ : съ какимъ бывало веселымъ аппетитомъ ужинали мы съ нимъ въ небольшой столовой третьяго этажа, у издателя „Насіонала“, и какъ интересно болтали съ милой, умной М<sup>ме</sup> Marast, которой, видно, не по этикету было являться такъ рано...

О дѣлѣ мы переговорили. « *Romanée gelée* », сказалъ хозяинъ, тихо и ни къ кому не обращаясь ; и въ ту же минуту выросъ, какъ изъ подъ земли, мажоръ д'омъ, у котораго въ рукахъ была бутылка, покоившаяся на боку въ тростниковой колыбели. — Знаете, докторъ, кого я часто поминаю и кого ужасно жаль : это нашего папа Ральера. И какъ странно, что онъ умеръ въ ту самую минуту, когда воскресала Республика, которой онъ такъ ждалъ, которую такъ любилъ. Славный былъ старикъ, и какъ бы онъ былъ счастливъ ; мѣсяцъ бы пожить ка-

кой нибудь. Это былъ удивительный человѣкъ, прибавилъ онъ, обращаясь къ Паньеру, вы его знали?

— Очень, отвѣчалъ Паньеръ.

— Такихъ - то людей, непоколебимыхъ и сильныхъ, намъ теперь очень, очень нужно.

— Будто? замѣтилъ я, улыбаясь.

Едва уловимое движеніе пробѣжало по лицу Мараста.

— А вы знаете подробности о его кончинѣ и похоронахъ?

— Ничего не знаю кромѣ того, что онъ умеръ въ ночь 24 Февраля; что же особеннаго?

Я передалъ ему вамъ извѣстныя подробности, не забывая даже упомянуть и о статьѣ въ клерикальномъ журналѣ.

По мѣрѣ того какъ я рассказывалъ, фосфоричность Мараста исчезла, онъ безпокоился, дѣлалъ видъ мигрени и наконецъ, нетерпѣливо кроша двумя пальцами хлѣбъ, сказалъ: Вы мнѣ позвольте замѣтить, любезнѣйшій докторъ, мнѣ кажется, что вы напрасно такъ обвиняете Изидора Ральера. Вы дѣйствительно не вошли въ его положеніе; я его знаю очень хорошо за прекраснаго человѣка и преданнаго республиканца...

Я улыбнулся.

— Я говорю, *что я его знаю*, сказалъ, нѣсколько прищуривая глаза, Марастъ.

— Въ нашемъ царствѣ всеобщей подачи голосовъ позвольте мнѣ имѣть мое смиренное мнѣніе.

— У васъ взглядъ непрактическій, докторъ. Исполненіе религиозныхъ обрядовъ большинства народа до нѣкоторой степени обязательно для всѣхъ. Здѣсь не можетъ быть рѣчи о притѣсненіи совѣсти, это дѣло декорума. Затѣмъ человѣку высококомѣрно выдѣлять себя въ какое-то оскорбительное а раге... Это очень хорошо

понималъ человѣкъ, котораго авторитетъ трудно отвѣсти : Робеспьеръ. Онъ говорилъ, что атеизмъ — аристократія.

— И выдумалъ свою церковь, въ которую вербовалъ гильотиной ; да и то не на вербовалъ...

— Вы знаете, что я гильотину не оправдываю, но все же его религія была лучше атеизма Геберта.

— Какъ кому, это дѣло вкуса : а послѣдній крикъ умпрающаго Ральера у меня въ ушахъ ; и католическую галиматью, въ которой подхваливаютъ христіанскую республику, я считаю обиднымъ и для честнаго республиканца, и для второй республики.

— Что же, вы думаете, что мы могли бы, какъ въ 93, закрыть церкви, дѣйствительно насилуя совѣсть огромнаго большинства французовъ ? Хороши мы были бы, еслибъ съ самаго начала затронули такую опасную струну съ народомъ, который надобно всѣми средствами приучить къ республикѣ, воспитать къ свободѣ и пониманью права.

— Вы были не совсѣмъ того мнѣнія о немъ три мѣсяца тому назадъ, въ вашихъ энергическихъ рѣшеніяхъ Paris.

— Три мѣсяца немного времени, а посмотрите, сколько у меня прибавилось сѣдыхъ волосъ. Перо публициста и дѣятельность государственнаго человѣка могутъ имѣть общую цѣль ; но они далеки, какъ практика и теорія ; а эту даль только тотъ можетъ измѣрить, кто самъ окунулся въ омутъ дѣлъ.

Затѣмъ Марастъ быстро всталъ и пригласилъ меня въ кабинетъ. Когда мы проходили въ двери, часовые опять взяли на караулъ. Вѣроятно, Марасту это не было непріятно ; имѣлъ же онъ, вѣроятно, право сказать имъ, чтобъ они стояли смирно и не дурачились.

Ему было совѣстно и досадно ; онъ подалъ Паньеру и мнѣ сигары п, потрепавъ меня дружески по плечу, сказалъ ему : Что намъ дѣлать съ нашимъ неисправнымъ эскулапомъ, вотъ *enfant terrible* съ сѣдыми волосами ?

— Скажите, спросилъ я, смѣясь, гражданинъ Паньеръ давно ли это нашъ президентъ сдѣлался изъ вольтеріанцевъ клерикаломъ и проповѣдуетъ церковные обряды ?

— Что вы дурачитесь, докторъ ! Ну какой тутъ клерикализмъ ; а вотъ, вамъ, что за охота говорить при секретарѣ. Онъ очень хорошій молодой человѣкъ, но въ душу не заглянешь, а въ нашемъ положеніи надобна осторожность и осторожность ; да тутъ официанты еще. Неужели вы не понимаете, что мое *общественное положеніе*, которое только и держится на нравственномъ вліяніи.....

— И священное депо, ввѣренное вамъ, сказалъ я, невольно вспоминая фразеологию Изидора.

— Да, да, депо, ввѣренное самимъ народомъ мнѣ и моимъ товарищамъ, накладываетъ на меня обязанности, и во-первыхъ не дозволяетъ мнѣ ссориться съ духовенствомъ. А *au boui du compte* мнѣ все равно, будетъ ли птти за моимъ гробомъ какойнибудь шутъ въ четверугольной шляпѣ и бѣлой манишкѣ сверхъ черной сутанн, или нѣтъ, лишь бы они мнѣ живому не мѣшали.

— Я не подумалъ объ этомъ за столомъ, сказалъ я, откланиваясь.

Марастъ любезно проводилъ меня за двери. Часовые брякнули на караулъ.

25 марта 1869 года. Ницца.

## IV

## ЭПИЛОГЪ

— Мнѣ, докторъ, хочется вамъ повторить вопросъ, который сдѣлалъ какой-то математикъ, прослушавши очень внимательно симфонію : Что же это доказываетъ ?

— И музыкантъ не умѣлъ ему, вѣроятно, ничего отвѣтить. Не легко и мнѣ, а все таки я думаю, что моя симфонія, или *Marche funèbre*, доказываетъ кое что ; доказываетъ хоть бы напимѣръ и то, что Франція совсѣмъ не такая уже революціонная страна, какой себѣ представляли ее иностранцы и мы сами. Мы взбалмошные консерваторы и капризные рутинисты. Мы часто стоимъ на одномъ мѣстѣ съ видомъ скорого марша и отступаемъ съ крикомъ атаки. Малѣйшій вѣтеръ колышетъ и рябитъ наше море, по на вершокъ, не больше. Девяностые годы захватили глубже, такъ мы восемьдесятъ лѣтъ пятимся, чтобъ войти въ старое, узкое и жесткое русло. Революціонная пѣса доиграна, но костюмы намъ понравились и мы мирно ходили въ нихъ по улицамъ, какъ дѣти въ мундпрахъ. Входъ за кулисы только легокъ въ театрахъ. Нигдѣ не хранятъ лучше семейныя тайны и физическія недостатки, какъ у насъ. Насъ ужасно трудно застать въ распloxъ. Что мудреного узнать англичанина, не дающаго себѣ труда играть роль ; или нѣмца, довѣряющаго свои чувствованія знакому по *table d'hôte*у. Раскусите-ка насъ. Мы для ближайшихъ знакомыхъ дѣлаемъ туалетъ, и такія неглиже всегда по модѣ и къ лицу. Бываютъ иногда „дур-

ные четверть часа“, когда все, спрятанное подъ маниш-камн, выступаетъ наружу; тутъ и ловите. Пропустили — ваша бѣда. Я самъ дожилъ до сѣдннѣ, плохо понимая что дѣлается вокругъ, и потомъ въ три дня выучился больше, чѣмъ во всю жизнь, и выучился на всю жизнь.

— Вы говорите?....

— Разумѣется, объ Юньскихъ дняхъ.

— Вы социалистъ?

— Я докторъ медицины.

— Это не мѣшаетъ.

— Мѣшаетъ, и очень. Быть разомъ больнымъ и врачомъ, дѣло плохое. Одильонъ Баро говорилъ, что законъ не знаетъ Бога; а ужъ врачъ и подавно не долженъ имѣть никакой религiи; иначе онъ неодинаково будетъ относиться къ больнымъ.

— Вольно вамъ социализмъ считать религiей?

— А какъ же? Можетъ онъ когда нибудь и вырастетъ изъ стихаря, даже есть общающіе зачаточки; но это еще нерѣшенное дѣло; великая революція имѣла не меньше его зачатковъ, а такъ и состарѣлась на своихъ цивическихъ литургiяхъ и политическихъ процессахъ. Все тѣже идолопоклонники и иконоборцы; только иконы другія; а средства защиты и нападенія, какъ встарь, чисто богословскія, основанныя на вѣрѣ во что нибудь невѣроятное, подтверждаемой доказательствами, ничего недоказывающими, и силой, доказывающей, что разсужденіемъ ничего не сдѣлаешь, а кулакомъ очень много. Религiи всегда учреждались и держались на горячемъ сердцѣ и крѣпкомъ кулакѣ.

— Ничего подобнаго нѣтъ въ современной борьбѣ капитала съ работой; какія тутъ литургiи, да крестные ходы?

— Помилюйте, да тутъ все литургія, кромѣ самого предмета. Одни хотять увѣрить другихъ, что эти другіе... имъ же нѣтъ числа, не имѣютъ права на необходимое, тогда какъ они сами имѣютъ лишнее, и дивятся какъ тѣ въ проголодь не понимаютъ, что въ этомъ-то и состоитъ свобода. Другіе укоряютъ въ грабежѣ тѣхъ, которые также безсознательно имѣютъ деньги, какъ укоряющіе ихъ не имѣютъ. Гдѣ же тутъ логика? одно богословіе, примѣненное къ земнымъ предметамъ. Иконоборцы капитала и его идолопоклонники такъ и стоятъ на своемъ диспутѣ, все больше и больше отравляя его и поддразнивая другъ друга.

— Куда же это приведетъ?

— Туда, куда приводятъ всѣ религіозныя препинанія: не къ *думу*, а къ *крови*.

— И будто это такъ неминуемо?

— Я не фаталистъ, но, кажется, миновать трудно. Одинъ станъ растетъ не по днямъ, а по часамъ; другой свирѣпѣетъ, и оба не понимаютъ другъ друга...

— Надобно посредниковъ.

— А гдѣ же ихъ взять? Примирившихся и непримиримыхъ бездна, но примирителей нѣтъ. Примирившіеся резонеры всего хуже; что они примутся объяснять, то остается на вѣки мутнымъ и безжизненнымъ, какъ замерзнувшая лужа. Это наша язва. Вы ее найдете почти во всѣхъ журналахъ. Мишле говоритъ о томъ, какъ схоластика и монашеское воспитаніе образовали цѣлую породу *дураковъ*. Журнализмъ, парламентаризмъ, неудавшіяся революціи и революціонное похмѣлье, выросли въ наше время слой умниковъ, заговаривающихъ всякое дѣло до безсмыслія. Они все объясняютъ, все понимаютъ; но всякій жизненный вопросъ выходитъ изъ ихъ мозговой реторты какъ зеленый листъ, опущенный въ

хлоръ, блѣднымъ, увядшимъ. Ихъ нестошная верва, запугивающее умничанье однихъ, дѣловая наторѣлость другихъ, дѣлають изъ нихъ казовый конецъ нашего времени; и это большое несчастіе. Это не дилетанты, а адвокаты всего на свѣтѣ. Ихъ задача состоитъ въ томъ, чтобъ одержать верхъ въ преніи, выплывать дѣло; а въ чемъ оно, имъ все равно.

... Я прерываю философствованіе моего доктора, или лучше, не продолжаю его: потому, что и тутъ, какъ почти во всемъ, обстоятельства нагнали насъ и опередили...

Разсказъ доктора о гражданинѣ Ральеръ я писалъ въ началѣ марта 1869. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, гроза, давно собиравшаяся, разразилась безъ ударовъ и потрясеній. Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франціи измѣнились. Равновѣсіе, устроившееся отъ начала реакціи послѣ 1848, нарушилось окончательно.

Явились новыя силы и люди.





## THIERS-DANIEL

(Deuxième circonscription. — Discours électoral.)

---

« L'Europe, dit M. Thiers d'un accent pénétré et sombre, marche à la République ; mais il ne faut pas que les jeunes hommes se fassent illusion. Par la faute des gouvernements, qui tantôt cèdent lorsqu'ils devraient tenir ferme, qui tantôt résistent quand ils devraient diriger et contenir, — ce siècle ne connaîtra que la période de transition brusque, sanglante, terrible à tous, et que je remercie Dieu de ne pas être appelé à voir.

« L'enchevêtrement des problèmes sociaux et politiques, intérieurs et internationaux, est tel aujourd'hui, que les peuples sont *fatalement* amenés à tout trancher en supprimant tout.

« Mais, suppression violente et solution sont deux, et, pour être déplacées, les questions n'en subsisteront pas moins toujours menaçantes. Ce n'est que lorsque le monde nouveau, qui déjà déchire les flancs de l'Europe, aura acquis assez de virilité et de sagesse pour vaincre et pour résoudre, que la République économique ramènera l'ordre et la paix au sein de la société.

« Vous êtes jeunes, Messieurs, ajouta-t-il, mais dussiez-vous atteindre l'extrême limite de la vie, vous n'aurez vu que le prologue de la civilisation de l'avenir. »

---

## ДАНИИЛЬ-ТЪЕРЬ

Двадцать одинъ годъ тому назадъ социализмъ былъ побитъ на голову и похороненъ рядомъ съ анабаптизмомъ и другими утопіями, имѣвшими цѣлью благосостояніе большинства и общественное пересозданіе на его основахъ. Увѣренность въ побѣдѣ была велика и не мудрено, *побѣдили больше чѣмъ хотѣли*, побѣдили вмѣстѣ съ врагомъ самихъ себя. Хотѣли усмирить, подавить *химеру* социализма, а усмирили всякое свободное движеніе и подавили всякую независимость, всякое человеческое достоинство.

Надъ тѣми, которые утверждали, что социализмъ только оглушенъ, и указывали на растущій ропотъ заѣдаемыхъ индустріей работниковъ, смѣялись; смѣялись даже у насъ въ Россіи, не смотря на то, что социальный вопросъ у насъ совсѣмъ иначе поставленъ. Ни колоссальныя соединенія англійскихъ работниковъ, ни движеніе работниковъ въ Германіи, ни лиги, ни гревы, ни международные союзы не могли увѣрить счастливыхъ побѣдителей, что ихъ побѣда, не въ самомъ дѣлѣ такъ полна какъ имъ кажется. Правительствующее сословіе продолжало заниматься своимъ дѣломъ и призрачными вопросами.

А между тѣмъ, достаточно было слабого, перелетнаго вѣтра выборовъ, чтобъ мѣстами сдунуть золу и показать надъ садовыми клумбами и гладко убитыми дорожками, рдѣющіе волчьими глазами угли..... и кто ихъ увидѣлъ и заявилъ, кто Данииломъ вышелъ впередъ испугать пирующихъ, сказать второй разъ въ жизни свое „прп-ливъ подымается“ и признаться, что онъ опять обои-денъ событіями? Тотъ же маленькій, тотъ же большой

Тьеръ, геніальный Фигаро тридцатыхъ годовъ, ораторъ парламентаризма, либераль, убившій двадцать лѣтъ тому назадъ социализмъ въ образѣ Прудона, Тьеръ вдругъ превратился изъ Іоанна Златоуста буржуазіи въ Іоанна Предтечу социализма.

„Европа идетъ къ республикѣ, скажутъ онъ передъ выборами 1869, но молодые люди не должны ошибаться. По вѣнѣ правительствъ, которыя то уступаютъ, когда слѣдовало бы твердо противодѣйствовать, то противодѣйствуютъ, когда слѣдовало бы направлять и умѣрять, нашъ вѣкъ увидитъ только періодъ крутого, кроваваго, грознаго для всѣхъ перехода и который, благодаря бога, я не призванъ видѣть.

„Заступленіе (l'encevêtement) другъ въ друга социальныхъ и политическихъ, международныхъ и внутреннихъ вопросовъ таково, что народы роковой необходимостью приводятся къ тому, чтобъ все разрѣшать, уничтожая все. Но насильственное уничтоженіе и рѣшеніе не одно и тоже, и переставленные вопросы останутся угрожающими по прежнему. Надобно, чтобъ новый міръ, который уже раздражаетъ лоно Европы, пріобрѣлъ много совершенствъ и мудрости для того, чтобъ Республика экономическая привела снова порядокъ и миръ въ обществѣ.

„Вы молоды господа, но еслибъ вы достигли до послѣдняго предѣла жизни, то и тогда вы ничего не увидите кромѣ пролога будущей цивилизаціи“.

Поздно старый дѣлецъ разглядѣлъ будущее, невольно признался въ ошибкѣ, продолжавшейся цѣлую жизнь и жизнь очень длинную. Что за трагическое безсиліе въ упованіи на близкую смерть, какъ на средство ускользнуть отъ неминуемаго будущаго! Старый человѣкъ и новое человечество, лицо и исторія, настоящее и будущее, такъ разошлись, что нѣтъ перехода, кромѣ бѣгства въ могилу.

Суетный даже въ эту минуту отчаяннаго пророчества, Тьеръ пытается *промахами правительства* объяснить опасность, грозящую государственному строю.

Какъ будто міровыя явленія зависятъ отъ канцелярскихъ ошибокъ и полицейскихъ распоряженій..... къ звукамъ трубы, зовущей на послѣдній судъ цѣлую цивилизацію, двѣ цивилизаціи, онъ прибавилъ звукъ театральнаго свистка..... и музыка вышла еще ужаснѣе. Хорошо Тьеру, что онъ старъ и скоро умереть. Цѣлое поколѣніе, цѣлыхъ два поколѣнія не могутъ бѣжать въ смерть отъ совершенія необходимыхъ судебъ: на кладбищѣ будетъ слишкомъ тѣсно; что же имъ дѣлать? Чѣмъ же, наконецъ, будить людей, если и это предостереженіе пройдетъ даромъ, какими еще зарпнцами и молніями?..... Заспанные, отяжелѣвшіе, они не умѣютъ никогда во-время проснуться, они тогда придутъ въ себя, когда бѣда разразится надъ головой, т. е. когда не только поздно понимать, уступать, но поздно спастись.

Можетъ на насъ, людяхъ принадлежащихъ къ обоимъ мірамъ, къ одному, по случайности рожденія, къ другому, по избирательству сродства, лежитъ долгъ повторять сторожевой крикъ и призывъ къ разуму упорствующихъ. Если онъ не устранилъ страшное столкновеніе, то можетъ смягчить его удары, а это само по себѣ великое дѣло.

Пока вы спали съ закрытыми ставнями, все перемѣнилось, новый міръ переросъ васъ, не вѣрять въ ваши права и скоро не будетъ вѣрять въ сплу. Вглядитесь, хочется имъ сказать, въ то, что дѣлается, и не отстаивайте того, чего нельзя отстоять, для того, чтобъ уцѣлѣла хоть часть изъ того, что не должно погибнуть, но погибнуть можетъ.



## ЕЪ СТАРОМУ ТОВАРИЩУ

---

### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Одни мотивы, какъ бы они ни были достаточны, не могутъ быть дѣйствительны безъ достаточныхъ средствъ.

Іеремія Бентамъ.

(Письмо къ Александру I).

Насъ занимаетъ одинъ и тотъ же вопросъ. Впрочемъ одинъ *серьезный вопросъ* и существуетъ на историческомъ череду. Все остальное или его растущія силы, или болѣзни, сопровождающія его развитіе, т. е. страданія, которыми новый и болѣе совершенный организмъ вырабатывается изъ отжившихъ и тѣсныхъ формъ, примѣшивая ихъ къ высшимъ потребностямъ. Конечное разрѣшеніе у насъ обоехъ *одно*. Дѣло между нами вовсе не въ разныхъ началахъ и теоріяхъ, а въ разныхъ методахъ и практикахъ, въ оцѣнѣ силъ, средствъ, времени, въ оцѣнѣ историческаго матеріала. Тяжелыя испытанія съ 1848 г. розно отозвались на насъ. Ты больше остался какъ былъ, тебя жизнь сильно помучила—меня только помяла, но ты былъ вдали—я стоялъ возлѣ. Но если я измѣнился, то вспомни, что *измѣнилось* все. Экономически-соціальный вопросъ становится теперь иначе, чѣмъ онъ былъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Онъ пережилъ свой религіозный и идеальный, юношескій возрастъ, также какъ

возрастъ натянутахъ опытовъ п экспериментаций въ маломъ видѣ, самый періодъ жалобъ, протеста, исключительной критики п обличенія приближается къ концу. Въ этомъ великое знаменіе его совершенности. Оно достигается наглядно, *но не достигнуто*, не отъ однихъ внѣшнихъ препятствій, не отъ одного отпора, но и отъ внутреннихъ причинъ. Меньшинство, идущее впередъ, не доработалось до ясныхъ истинъ, до практическихъ путей, до полныхъ формулъ будущаго экономического быта. Большинство, наиболѣе страдающее, стремится одною частью городскихъ работниковъ выйти изъ него, но удержано старымъ, традиціоннымъ міросозерцаніемъ другой п самой многочисленной части. Знанія п пониманья не возьмешь никакими *coup d'état* п никакими *coup de tête*. Медленность, сбивчивость историческаго хода пониманья насъ бѣситъ п душитъ, она намъ невыносима, п многіе изъ насъ, измѣняя собственному разуму, торопятся п торопятъ другихъ. Хорошо ли это или нѣтъ? Въ этомъ весь вопросъ.

Слѣдуетъ ли толчками возмущать съ цѣлью ускоренія внутренней работы, которая очевидна? Сомнѣнія нѣтъ, что акушеръ можетъ ускорять, облегчать, устранять препятствія, но въ извѣстныхъ предѣлахъ; а ихъ трудно установить п страшно переступать. На это, сверхъ логическаго самоотверженія, надобенъ тактъ п вдохновенная импровизація. Сверхъ того, не вездѣ одинакая работа п одни предѣлы. Петръ I, Конвентъ, научили насъ шагать семимильными сапогами, шагать изъ перваго мѣсяца беременности въ девятый, п ломать безъ разбора все, что попадется на дорогѣ. *Die Zerstörende Lust ist eine schaffende Lust*—и впередъ за неизвѣстнымъ богомъ-истребителемъ, спотыкаясь на разбитыя сокровища вмѣстѣ со всякимъ мусоромъ п хламомъ.

... Мы видѣли грозный примѣръ кроваваго возстанія, въ минуту отчаянія и гнѣва сошедшаго на площадь и спохватившагося на барикадахъ, что у него нѣтъ знамени. Сплоченный въ одну дружину, міръ консервативный побилъ его, вслѣдствіе этого было то ретроградное движеніе, котораго слѣдовало ожидать. Но что было бы, еслибъ побѣда стала на сторону барикадъ? Въ двадцать лѣтъ грозные бойцы высказали ли все, что у нихъ было за душой? Ни одной построющей, органической мысли мы не находимъ въ ихъ завѣтѣхъ, а экономическіе промахи, не косвенно, какъ политическіе, а прямо и глубже ведутъ къ раззоренію, къ застою, къ голодной смерти.

Наше время—именно время окончательнаго изученія, того изученія, которое должно предшествовать работѣ осуществленія, такъ какъ теорія паровъ предшествовала желѣзнымъ дорогамъ. Прежде дѣло хотѣли взять грудью, усердіемъ, отвагой и шли зря на авось; мы на авось не пойдемъ.

Ясно видимъ мы, что дальше дѣла не могутъ идти такъ, какъ шли, что наконецъ, исключительному царству капитала и безусловному праву собственности также пришелъ конецъ, какъ нѣкогда пришелъ конецъ царству феодальному и аристократическому. Какъ передъ 1789 обмиранье міра средневѣковаго началось съ признанія несправедливаго подчиненія средняго сословія, такъ и теперь переворотъ экономическій начался признаніемъ общественной неправды относительно работниковъ. Какъ тогда упрямство и вырожденіе дворянства помогло собственной гибели, такъ и теперь упрямая и выродившаяся буржуазія тянетъ сама себя въ могилу.

Но общее постановленіе задачи не даетъ ни путей, ни средствъ, ни даже достаточной среды. Насильемъ

ихъ не завоеешь. Подорванный порохомъ весь міръ буржуазный, когда уляжется дымъ и расчистятъ развалины, снова начнетъ съ разными измѣненіями — *какойнибудь буржуазный міръ*. Потому, что онъ внутри не конченъ и потому еще, что ни міръ строящій, ни новая организація не на столько готовы, чтобъ пополниться осуществляясь. Ни одна основа изъ тѣхъ, на которыхъ покоится современный порядокъ, изъ тѣхъ, которыя должны рухнуть и пересоздаться, не на столько почата и распатана, чтобъ ее достаточно было вырвать силой, чтобъ исключить изъ жизни. Государство, церковь, войско, отрицаются точно также логически, какъ богословіе, метафизика и пр. Въ извѣстной научной сферѣ онъ осужденъ, но внѣ ея академическихъ стѣнъ онъ владѣютъ всѣми нравственными силами.

Пусть каждый добросовѣтный человѣкъ самъ себя спросить, готовъ ли онъ? Такъ ли ясна для него новая организація, къ которой мы идемъ, какъ общіе идеалы коллективной собственности, солидарности, и знаетъ ли онъ процессъ (кромѣ простаго ломанья), которымъ должно совершиться превращеніе въ нее старыхъ формъ? И пусть, если онъ лично доволенъ собой, пусть скажетъ, готова ли та среда, которая по положенію должна первая ринуться въ дѣло?

Знаніе неотразимо, но оно не имѣетъ принудительныхъ средствъ. Излеченіе отъ предразсудковъ медленно, имѣетъ свои фазы и кризисы. Насильемъ и терроромъ распространяются религіи и политики, учреждаются самодержавныя имперіи и нераздѣльныя республики; насильемъ можно разрушать и расчищать мѣсто — не больше. Петроградизмомъ соціальныя перевороты дальше ваторжнаго равенства Гракха Бабефа и коммунистической барщины Кабе не пойдетъ. Новыя формы должны



все обнять и вмѣстить всѣ элементы современной дѣятельности и всѣхъ человѣческихъ стремленій. Изъ нашего міра не сдѣлаешь ни Спарту, ни бенедиктинскій монастырь. Не душить одинъ стихій въ пользу другихъ слѣдуетъ грядущему перевороту, а умѣть всѣ согласовать къ общему благу.

Экономическій переворотъ имѣетъ необязатное преимущество передъ всѣми религіозными и политическими революціями въ трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его, таково обращеніе съ данными. По мѣрѣ того, какъ онъ вырастаетъ изъ состоянія неопредѣленнаго страданія и недовольства, онъ невольно становится на *реальную почву*. Тогда какъ всѣ другіе перевороты постоянно оставались одной ногой въ фантазіяхъ, мистицизмахъ, вѣрованіяхъ и неоправданныхъ предразсудкахъ патріотическихъ, юридическихъ и пр., экономическіе вопросы подлежатъ математическимъ законамъ.

Конечно, математическій, какъ и всякій научный законъ, носитъ доказательство въ самомъ себѣ и не нуждается ни въ эмпирическомъ оправданіи, ни въ большинствѣ голосовъ. Но для *примененія*, эмпирическая сторона и всѣ внѣшнія условія осуществленія выступаютъ на первый планъ. „Мотивы могутъ быть истинны, но безъ достаточныхъ средствъ они не осуществляются“. Все это принято во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ и обходится слишкомъ сангвиническими людьми въ дѣлѣ такого значенія, какъ общественное пересозданіе. Какой механикъ не знаетъ, что его выкладка, формула, не перейдетъ въ дѣйствительность, пока въ ряду явленій захватываемыхъ имъ, будутъ элементы не подчиняющіеся, посторонніе, или подлежащіе другимъ законамъ. Большею частью въ физическомъ мірѣ, эти возмущающіе элементы не сложны и легко вводятся въ формулу, какъ

въсь линіи маятника, упругость среды, въ которой дѣлаются его размахи и пр. Въ мірѣ историческаго развитія это не такъ просто. Процессы общественнаго роста, ихъ отклоненія и уклоненія, ихъ послѣдніе результаты, до того переплелись, до того неразымчато вошли въ глубочайшую глубь народнаго сознанія, что приступъ къ нимъ вовсе не легокъ, что съ ними надобно очень считаться, и однимъ реестромъ отрицаемаго, отданнымъ какъ въ „приказѣ по соціальной арміи“, ничего кромѣ путаницы не сдѣлаешь.

Противъ ложныхъ догматовъ, противъ вѣрованій, какъ бы онѣ ни были безумны, однимъ отрицаніемъ, какъ бы оно ни было умно, бороться нельзя. Сказать: „не вѣрь!“ также авторитетно и въ сущности нелѣпо, какъ сказать: „вѣрь“. Старый порядокъ вещей крѣпче *признаніемъ* его, чѣмъ матеріальной силой, его поддерживающей. Это всего яснѣе тамъ, гдѣ у него нѣтъ ни карательной, ни принудительной силы, гдѣ онъ твердо покоится на невольной совѣсти, на неразвѣстности ума и на незрѣлости новыхъ воззрѣній (\*), какъ въ Швейцаріи и Англіи.

Народное сознаніе, такъ какъ оно выработалось, представляетъ естественное, само собой сложившееся, безотвѣтственное, сырое пропзведеніе разныхъ усилій, попытокъ, событій, удачъ и неудачъ людскаго сознанія, разныхъ инстинктовъ и столкновеній; его надобно

(\*) Что говорить о палскихъ силлабусахъ и индексахъ, о полицейскихъ наказаніяхъ за такіа-то и такіа-то мнѣнія, о сенатскихъ рѣшеніяхъ философскихъ вопросовъ, когда неясность, сбивчивость самыхъ элементарныхъ понятій, поражаютъ въ мірѣ *свободнаго мышленія*, въ высшихъ сферахъ оппозиціи и революціи..... Вспомни старый споръ Маццини противъ Прудона и новое препирательство о вѣнненіи, о волѣ, объ идеализмѣ, о позитивизмѣ Жирардена, Луи-Блана, Жюль-Симова.

принимать за естественный фактъ и бороться съ нимъ, какъ мы боремся со всѣмъ безсознательнымъ, изучая его, овладѣвая имъ и направляя его же средства сообразно нашей цѣли.

Вообще въ социальныхъ нелѣпостяхъ современнаго быта никто не виноватъ и никто не можетъ быть казненъ съ большей справедливостью, чѣмъ море, которое съѣлъ персидскій царь, или вѣчевой колоколь, наказанный Иоанномъ Грознымъ. Винить, наказывать, отдавать на копье — все это становится ниже нашего пониманья. Надобно проще смотрѣть, физиологичнѣе, и окончательно пожертвовать уголовной точкой зрѣнія, а она по несчастью прорывается и мѣшаетъ понятія, вводя личные страсти въ общее дѣло и превратную перестановку невольныхъ событій въ преднамѣренный заговоръ. Событенность, семья, церковь, государство были огромными воспитательными формами человѣческаго освобожденія и развитія, мы выходили изъ нихъ по минованіи надобности.

Обрушивать отвѣтственность за былое и современное на послѣднихъ представителей „прежней правды“, дѣлающей „настоящей неправдой“ также нелѣпо, какъ было нелѣпо и несправедливо казнить французскихъ маркизовъ за то, что они не якобинцы; и еще хуже, потому что мы за себя не имѣемъ якобинскаго оправданія: наивно вѣры въ свою правоту, въ свое право. Мы измѣняемъ основнымъ началамъ нашего воззрѣнія, осуждая цѣлыя сословія, и въ тоже время отвергая уголовную отвѣтственность отдѣльнаго лица. Это мимоходомъ, для того, чтобъ не возвращаться.

Прежніе перевороты дѣлались въ сумеркахъ, сбивались съ путъ, шли назадъ, спотыкались и, въ силу внутренней неясности, требовали бездну всякой всячины,

разныхъ вѣръ и геройства, множество выспренныхъ добродѣтелей, патріотизмовъ, піэтизовъ. Соціальному перевороту ничего не нужно, кромѣ *пониманья и силы, знанья и средствъ.*

Но пониманье страшно обязываетъ. Оно имѣетъ свои неотступныя угрызенія разума и неумолимые упреки логики.

Пока соціальная мысль была неопредѣленная, ея проповѣдники, сами вѣрующіе и фанатики, обращались къ страстямъ и фантазіи столько же, сколько къ уму; они грозили собственникамъ карой и раззореніемъ, позорили, стыдили ихъ богатствомъ, склоняли ихъ на добровольную бѣдность страшной картиной страданій. (Странная *carpatio benevolentiae*, — согласенъ). Изъ этихъ средствъ социализмъ выросъ. Не то надобно доказать собственникамъ и капиталистамъ, что ихъ обладаніе грѣшно, безнравственно, незаконно (понятія взятые изъ совѣстнаго міросозерцанія чѣмъ наше), а то, что нелѣпость его контрафорсовъ пришла къ сознанію неимущихъ, въ силу чего оно становится *невозможнымъ*. Имъ надобно показать, что борьба противъ неотвратимаго — бессмысленное истощеніе силъ и что, чѣмъ она упорнѣе и длиннѣе, тѣмъ къ большимъ потерямъ и гибелямъ она приведетъ. Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетомъ, двойной бухгалтеріей, яснымъ балансомъ дебита и кредита. Самый отчаянный скряга не предпочтетъ утонуть со всѣми богатствами, если можетъ спасти часть ихъ и самого себя, бросая другую за бортъ. Для этого необходимо только, чтобъ опасность была *также* очевидна для него, какъ *возможность спасенія*.

Новый водворяющійся порядокъ долженъ являться не только мечемъ рубящимъ, но и силой хранительной. Наноса ударъ старому міру, онъ не только долженъ спа-

сти все, что въ немъ достойно спасенія, но оставить на свою судьбу все не мѣшающее, разнообразное, своеобразное. Горе бѣдному духомъ и тощему художественнымъ смысломъ перевороту, который изъ всего благо и нажитаго сдѣлаетъ скучную мастерскую, которой вся выгода будетъ состоять въ одномъ пропитаніи, и только въ пропитаніи. Но этого и не будетъ. Человѣчество во всѣ времена, самыя худшія, показывало, что у него potentialiter больше потребностей и больше силъ чѣмъ надобно на одно завоеваніе жизни, развитіе не можетъ ихъ заглушить. Есть для людей драгоцѣнности, которыми они не поступятся, и которыя у него изъ рукъ можетъ вырвать одно деспотическое насилие, и то на минуты горячки и катаклизма. И кто не скажетъ, безъ вопіющей несправедливости, чтобъ и въ быломъ и въ отходящемъ не было много прекраснаго и что оно должно погибнуть вмѣстѣ съ старымъ кораблемъ.

Ницца, 15 января 1869.

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

Международные рабочіи съѣзды становятся ассамблеями, передъ которыми вызывается одинъ социальный вопросъ за другимъ; они получаютъ больше и больше организующій складъ, ихъ члены эксперты и слѣдопроизводители. Они самую стачку и остановку работъ допускаютъ какъ тяжелую необходимость, какъ *pis aller*, какъ средство сосчитать свою силу, какъ боевую организацію. Серьезный характеръ ихъ поразилъ враговъ. Сильное *ихъ* покоя испугало фабрикантовъ и заводчиковъ. Было бы огромное несчастье, еслибъ они преждевременно вышли изъ этого строя.

Работники, соединяясь между собой, выдѣляясь въ особое „государство въ государствахъ“, достигающее своего устройства и своихъ правъ помимо капиталистовъ и собственниковъ, помимо политическихъ границъ и границъ церковныхъ, составляютъ первую сѣть и первый всходъ будущаго экономическаго устройства. Международный союзъ можетъ вырасти въ Авентинскую гору à l'intérieur. Отступая на нее, міръ рабочій, сплоченный между собой, поклянется міръ пользующійся безъ работы, за свою доходную непроизводительность, и онъ, отлученный, nolens volens, пойдетъ на сдѣлки. А не пойдетъ, тѣмъ хуже для него, онъ самъ себя поставитъ *внѣ закона*, и тогда гибель его отстранится только на столько, на сколько у новаго міра нѣтъ силъ. А пока ихъ нѣтъ, надо въ тиши собирать поля и не грозить. Угроза при безспіи вредна. Подавленный взрывъ двинетъ назадъ. Досугъ нуженъ для двойной работы серьезнаго изученія и вербованія пониманьемъ; а настороженный врагъ, имѣющій силу въ рукахъ, схватится за оружіе для своей обороны прежде, чѣмъ противный станъ успѣетъ построиться. Уничтожать и топтать всходы легче, чѣмъ торопить ихъ ростъ. Тотъ кто не хочетъ ждать и работать, тотъ идетъ по старой колѣѣ пророковъ и прорицателей, іересіарховъ, фанатиковъ и цѣховыхъ революціонеровъ. А всякое дѣло, совершающееся при пособіи элементовъ безумныхъ, мистическихъ, фантастическихъ, въ послѣднихъ выводахъ своихъ непременно будетъ имѣть и безумные результаты рядомъ съ дѣльными. Сверхъ того, пути эти все больше и больше заростають для насъ травой, пониманье и обсуживанье наше единственное оружіе. Теократическіе и политическіе догматы не требуютъ пониманья; они даже тверже и крѣпче покоятся на вѣрѣ безъ духа критики и анализа. Папу

надобно считать непогрѣшимымъ, царя слушаться, отечество защищать, писанія и предписанія исполнять...

Все прошлое, изъ котораго мы хотимъ выйти, такъ и не шло. Мѣнялись формы, образы, обряды. Сущность оставалась таже. Человѣкъ, склонявшій голову передъ капюциномъ, идущимъ съ крестомъ, дѣлалъ тоже, что человѣкъ склоняющій голову передъ рѣшеніемъ суда, какъ бы оно нелѣпо ни было.

Изъ этого-то міра нравственной неволи и подѣ-авторитетности, повторяю, мы и бѣемся выйти въ ширь пониманья, въ міръ *свободы въ разумъ*. Всякія попытки обойти, перескочить сразу отъ нетерпѣнія, увлечь авторитетомъ или страстью, приведутъ къ страшнѣйшимъ столкновѣніямъ и, что хуже, къ почти неминуемымъ пораженіямъ. Обойти процессъ пониманья также невозможно, какъ обойти вопросъ о силѣ. Навязываемое предрѣшеніе всего, что *составляетъ вопросъ*, поступаетъ очень безцеремонно съ *освобожденнымъ веществомъ*. Взять вдругъ человѣка умственно дремавшаго и огоршить его въ первую минуту, съ просонья, рядомъ мыслей, сбивающихъ всѣ его нравственныя понятія и къ которымъ ему не поставлено лѣстницы, врядъ ли много послужить развитію; а скорѣе смутить, собьютъ съ толку оглушеннаго, или обратнымъ дѣйствіемъ оттолкнетъ его въ свирѣпый консерватизмъ.

Я нисколько не боюсь слова „постепенность“, опошленнаго шаткостью и невѣрнымъ шагомъ разныхъ реформирующихъ властей. Постепенность, такъ какъ непрерывность, неотъемлемы всякому процессу разумѣнья. Математика передается постепенно, отчего же конечные выводы, мысли о социологіи могутъ прививаться какъ оспа, или вливаться въ мозги такъ, какъ вливаютъ лошадямъ съ разу лекарство въ ротъ. Между конечными выводами и современнымъ состояніемъ есть практиче-

скія облегченія, пути, компромиссы, діагонали. Понять, которыя изъ нихъ короче, удобнѣе и возможнѣе, дѣло практическаго такта, дѣло революціонной стратегіи. Идя безъ оглядки впередъ, можно затесаться какъ Наполеонъ въ Москву, и погибнуть отступая отъ нея, не доходя даже до Березины. Международное соединеніе работниковъ, всевозможныя соединенія ихъ, ихъ органы и представители, должны всѣми силами достигать того невѣроятнаго вѣдѣнія власти въ *работу*, котораго оно не дѣлаетъ въ *управленіи собственностію*. Формы, сдерживающія людей въ полунасильственныхъ ковахъ, à la longue не вынесутъ напора логики и развитія общественнаго пониманья. Однѣ изъ нихъ до того внутри сгнили, что имъ дать толчекъ ногой; другія, какъ ракъ, держатся корнями въ дурной крови. Ломаю одинакимъ образомъ тѣ и другія, можно убить организмъ и навѣрное заставить огромное большинство отпрянуть. Всего яростнѣе возстанутъ за „ракъ“ наиболѣе страдающіе отъ него.

— Это очень глупо, но пора съ глупостью считаться какъ съ громадной силой.

Во всей Европѣ подымется за старые порядки сплошь все крестьянское населеніе. А развѣ мы не знаемъ, что такое сельское населеніе, какова его упорная сила и упорная колкость? Отобравъ изъ рукъ революціи земли эмигрантовъ, оно-то и подсиѣло республику и революцію. Конечно оно отпрянетъ и накинется по неразумью и невѣжеству, но въ этомъ-то вся важность.

На неразуміи и невѣжествѣ зиждется вся прочность существующаго порядка; на нихъ покоятся устарѣлыя воспитательныя формы, въ которыхъ люди выросли изъ несовершеннѣйшаго, и которыя жмутъ теперь меньшинство, но которыхъ вредной ненужности не понимаетъ большинство. Мы знаемъ, что значитъ ошибаться въ



возрастъ и въ степени пониманья. Всеобщая подача голосовъ, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой онъ чуть не зарѣзался.

Но если понятія государства, суда, сильны и крѣпки, то еще крѣпче укоренены понятія о семьѣ, о собственности, о наслѣдствѣ. Отрицаніе собственности само по себѣ бессмыслица; „собственность не погибнетъ“, скажу парафразирруя извѣстную фразу Людовика-Филиппа. Видоизмѣненіе ея, въ родѣ перехода изъ *личной* въ *коллективную*, неясно и неопредѣленно. Крестьянину на Западѣ также необходимо привилась его любовь къ *своей* землѣ, какъ въ Россіи легко понимается крестьянствомъ общинное владѣніе. Нелѣпаго тутъ ничего нѣтъ. Собственность, и особенно поземельная, для западнаго человѣка представлялась освобожденіемъ, его самобытностью, его достоинствомъ и величайшимъ гражданскимъ значеніемъ. Можетъ быть онъ убѣдился въ невыгодѣ непрерывно крошащихся и дробимыхъ участковъ и въ выгодѣ свободнаго хозяйства, общинныхъ запасекъ полей; но какъ же его „безъ пристрастія“ уломать, чтобы онъ сперво-начала отказался отъ вѣками взлелѣянной мечты, которою онъ жилъ и тѣшился и которая дѣйствительно поставила его на ноги, прикрѣпила къ нему землю, къ которой онъ былъ прежде крѣпокъ.

Вопросъ, прямо идущій за тѣмъ, вопросъ о наслѣдствѣ, еще труднѣе. Кромѣ холостыхъ фанатиковъ въ родѣ монаховъ раскольниковъ, икаріанъ и пр., никакая масса не согласится на безусловное отреченіе отъ права завѣщать какую нибудь часть своего достоянія своимъ наслѣдникамъ. Я не знаю довода, по которому было бы можно противодѣйствовать этой формѣ любви избирательной или кровной, передачѣ вмѣстѣ съ жизнію, съ чертами, даже съ болѣзнями, вещей, служившихъ мнѣ

орудіємъ. Развѣ во имя обязательнаго *братства* п любви ко всѣмъ? Въ худшемъ человѣческомъ положеніи, у дворовыхъ крѣпостныхъ людей, были кой-какія тряпки, которыя они оставляли своимъ п которыя почти никогда не отбиралсь помѣщиками. Отнимите у самаго бѣднаго мужика право завѣщать—и онъ возьметъ коль въ руки п пойдетъ защищать своихъ, свою семью п свою волю; т. е. непременно станетъ за попа, квартальнаго п помѣщика, т. е. за трехъ своихъ злѣйшихъ опекуновъ, обирающихъ его, предупреждающихъ, чтобъ онъ ничего не оставилъ своимъ, но не оскорбляющихъ его человѣческое чувство къ семьѣ, какъ онъ ее понимаетъ.

—Что же тогда?.... Или свернуть свое знамя п отступить, потому что спл очевидно будетъ съ ихъ стороны, или ринутся въ бой п, въ случаѣ мѣстной, временной побѣды, начать водвореніе новаго порядка, новаго освобожденія, избіеніемъ!

Аракчееву было сполгоря вводить свои военно-экономическія утопіи, имѣя за себя сѣкущее войско, сѣкущую полицію, императора, сенатъ п синодъ; да п то ничего не сдѣлалъ. А за упраздненіемъ государства, откуда брать „эзекуцію“, палачей, п пуще всего фискаловъ? А въ нихъ будетъ огромная потребность. Не начать ли новую жизнь съ сохраненіемъ соціального корпуса жандармовъ? Неужели цивилизація кнутомъ, освобожденіе гильотиной, составляютъ вѣчную необходимость всякаго шага впередъ?

Дальше я не пойду теперь, а скажу въ заключеніе вотъ что. Стоя возлѣ труповъ, возлѣ ядрами разрушенныхъ домовъ, слушая въ лѣхорадкѣ, какъ разстрѣливали плѣнныхъ, я всѣмъ сердцемъ п всѣми помышленіями звалъ дикія силы на месть, на разрушеніе старой пре-

ступной вesp; звалъ, даже не очень думая, чѣмъ она замѣнится.

Съ тѣхъ поръ прошло двадцать лѣтъ. Местъ пришла съ другой стороны, местъ пришла сверху. Народы все вынесли *потому, что ничего не понимали* ни тогда, ни послѣ. Середина вся растоптана и втоптана въ грязь... Длинное, тяжелое время дало досугъ страстямъ успокоиться и мыслямъ отстояться, дало досугъ на обдуманіе и наблюденіе.

Ни ты, ни я—мы не измѣнили нашихъ убѣжденій, но розно стали къ вопросу. Ты рвешься впередъ по прежнему со страстью разрушенія, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствія и уважая исторію только въ будущемъ. Я не вѣрю въ прежніе революціонные пути и стараюсь понять *шагъ людской* въ быломъ и настоящемъ, для того, чтобъ знать какъ идти съ нимъ въ ногу, не отставая и не забѣгая въ такую даль, въ которую люди не пойдутъ за мной, не могутъ идти.

И еще слово. Высказать это въ томъ кругу, въ которомъ мы живемъ, требуетъ если не больше, то конечно не меньше мужества и самостоятельности, чѣмъ брать во всѣхъ вопросахъ самую крайнюю крайность.

Я думаю ты самъ согласишься въ этомъ.....

Ницца, 25 января, 1869.

## ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Нѣтъ, любезные друзья, мозгъ мой отказывается понимать многое изъ того, что вамъ кажется яснымъ; изъ того, что вы допускаете и противъ чего я имѣю тысячи возраженій.

Мозгъ старѣеть, можетъ быть, и я беру въ свою защиту то, что одинъ изъ нашихъ друзей писалъ обо мнѣ или противъ меня.

„Человѣку очень мудрено втолковать что нибудь, о чемъ этотъ человѣкъ думаетъ иначе. Тутъ дѣйствительно физиологическій процессъ, о которомъ столько говорятъ общими мѣстами и котораго никто не хочетъ принять въ расчетъ, какъ скоро дѣло доходитъ до дѣла. Мозгъ ничего не вырабатываетъ произвольно, а всегда вырабатываетъ результатъ соотношенія принятыхъ имъ впечатлѣній. Слѣдственно, если впечатлѣнія одного рознятся отъ впечатлѣній другаго на какой нибудь дифференціалъ, то дальнѣйшее развитіе соотношенія впечатлѣній и результата изъ нихъ выводимаго, т. е. постановка и дальнѣйшее развитіе уравненія (которое есть единственная форма мозговыхъ дѣйствій) можетъ разойтись у одного отъ другаго на разстояніе, невозможное къ совпаденію.

„Въ этомъ вся мудрость доказательствъ, доходящихъ почти до тщетныхъ усилій“.

Эти строки, писанныя противъ меня, совершенно справедливы, печально справедливы.

Отрывокъ этотъ, приведенный изъ отвѣта Огарева на мое письмо къ Бакунину, оканчивается такъ :

„Каждый отдѣльный мозгъ, вслѣдствіе нарушенія въ

себѣ своихъ впечатлѣній, встрѣчаетъ отъ нихъ уклоняющіяся новыя впечатлѣнія, или вовсе мимоходно, или не съ достодолжной емкостью, или совсѣмъ отрицательно (т. е. враждебно). Отсюда каждый человѣкъ убѣжденъ или предубѣжденъ, что онъ правъ, что положительно не можетъ быть доказано даже въ такихъ абстрактныхъ специальностяхъ, какъ математическія построенія (Теорія Тихо-де-Браге также была построена на математическихъ построеніяхъ, какъ и теорія Галилея); и потому, дѣйствительное признаніе истины требуетъ новыхъ мозговъ, не увлеченныхъ предыдущими впечатлѣніями. На этомъ даже зиждется знаменитое историческое развитіе или прогрессъ“.

Мои возраженія, такъ какъ и вообще возраженія, нетерпѣливымъ людямъ начинаютъ надоедать. „Время слова, говорятъ они, прошло; время дѣла наступило“. Какъ будто *слово* не есть *дѣло*? Какъ будто время слова можетъ пройти? Враги наши никогда не отдѣляли *слово* и *дѣло* и казнили за *слово*, не только однимъ образомъ, но часто свирѣпѣе, чѣмъ за *дѣло*. Да и дѣйствительно, какое нибудь *Allez dire à votre maitre* Мирабо не уступить по влиянію никакому *coup de main*.

Разчлененіе *слова съ дѣломъ* и ихъ натянутае противоположеніе не выноситъ критики, но имѣетъ печальный смыслъ какъ признаніе, что все уяснено и понято, что толковать не о чемъ, а нужно исполнять. Боевой порядокъ не терпитъ разсужденій и колебаній. Но кто же кромѣ нашихъ враговъ готовъ на бой и сленъ *на дѣло*? Наша сила въ силѣ мысли, въ силѣ правды, въ силѣ слова, въ исторической *попутности*. Международные сходы только сильны проповѣдью; матеріально, дальше отрицательной силы гревы, они не могутъ идти.

Стало быть, остается по прежнему сидѣть сложа руки весь вѣкъ, довольствуясь прекрасными рѣчами?

Не знаю, весь ли вѣкъ или часть его, но навѣрное до тѣхъ поръ не сходить въ рукопашную, пока нѣтъ ни единства убѣжденій, ни сосредоточенныхъ силъ. Быть правымъ въ бою немного значитъ: правота давала побѣду только въ судѣ божіемъ; у насъ на небесное вмѣшательство надежды мало.

Чѣмъ кончилось польское возстаніе, правое въ требованіи, мужественное въ исполненіи, но невозможное по несообразности силъ?

Каково теперь на совѣсти тѣмъ, которые подталкивали поляковъ?

На это говорить наши противники съ какимъ-то философскимъ фатализмомъ:

„Избраніе путей Исторіи не въ личной власти; не событія зависятъ отъ лицъ, а лица отъ событій. Мы только мнимо управляемъ движеніемъ, но въ сущности плывемъ, куда волна несетъ, не зная до чего доплывемъ“.

Пути вовсе не неизмѣнимы. Напротивъ, они-то и измѣняются съ обстоятельствами, съ пониманьемъ, съ личной энергіей. Личность создается средой и событіями, но и событія осуществляются личностями и носятъ на себѣ ихъ печать: тутъ взаимодѣйствіе. Быть страдательнымъ орудіемъ какихъ-то независимыхъ отъ насъ силъ, какъ дѣва, богъ вѣсть съ чего зачавшая, намъ не по росту. Чтобъ стать слѣпымъ орудіемъ судебъ, бичемъ, палачемъ божіимъ, надобно наивную вѣру, простоту невѣденія, дикій фанатизмъ и своего рода непочатое младенчество мысли. Честно мы не можемъ брать на себя ни роль Атиллы, ни даже роль Антона Петрова. Принимая ихъ, мы должны будемъ обманывать другихъ или самихъ себя. За эту ложь намъ придется отвѣчать пе-

редъ своей совѣстью и передъ судомъ близкихъ намъ по духу.

То, что мыслящіе люди прощали Атиллѣ, Комитету Общественнаго Спасенія и даже Петру, не простятъ намъ. Мы не слыхали голоса, призывавшаго насъ выше къ исполненію судебъ и не слышали подземнаго голоса снизу, который указалъ бы путь. Для насъ существуетъ одинъ голосъ и одна власть—*власть разума и пониманья*. Отвергая ихъ, мы становимся разстригами науки и ренегатами цивилизаціи. Самыя массы, на которыхъ лежитъ вся тяжесть быта, съ своей македонской фалангой работниковъ, ищутъ слова и пониманья, и съ недовѣріемъ смотрятъ на людей, проповѣдующихъ аристократію науки и призывающихъ къ оружію. И замѣтите, проповѣдники не изъ народа, а изъ школы, изъ книгъ, изъ литературы, жившіе въ отвлеченностяхъ. Старые студенты—они ушли отъ народа дальше, чѣмъ его злыя враги. Попъ и аристократъ, полицейскій и купецъ, хозяинъ и солдатъ имѣютъ больше прямыхъ связей съ массами чѣмъ они. Отъ того-то они и полагаютъ возможнымъ начать экономическій переворотъ съ *tabula rasa*, съ выжиганья до тла всего историческаго поля, не догадываясь, что поле это, съ своими полосами и плевелами, составляетъ всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все его утѣшеніе. Съ консерватизмомъ народа труднѣе бороться чѣмъ съ консерватизмомъ трона и амвона. Правительство и церковь сами початы духомъ отрицанія, борьба мысли не даромъ шла подъ ихъ ударами: она заразила разящую рубу; самозащитеніе правительства выгодно и гоненія церкви лицомъ крны.

Народъ консерваторъ по инстинкту и потому, что онъ не знаетъ ничего другаго; у него нѣтъ идеаловъ

вѣ существующихъ условій; его идеаль буржуазное  
 довольство, такъ какъ идеаль Атта-Троля у Гейне  
 абсолютно бѣлый медвѣдь. Онъ держится за удручающій  
 бытъ, за тѣсныя рамы, въ которыя онъ вколоченъ; онъ  
 вѣрить въ ихъ прочность и обезпеченіе, не понимая,  
 что эту прочность онъ-то имъ и даетъ. Чѣмъ народъ  
 дальше отъ движенія исторіи, тѣмъ онъ упорнѣе дер-  
 жится за усвоенное, за знакомое. Онъ даже новое  
 понимаетъ только въ старыхъ одеждахъ. Пророки, про-  
 возглашавшіе соціальный переворотъ анабаптизма, обла-  
 чались въ архіерейскія ризы. Пугачевъ для низложенія  
 Петра, нѣмецкаго дѣла, самъ назвался Петромъ, да  
 еще самымъ нѣмецкимъ, и окружилъ себя андреевскими  
 кавалерами изъ казаковъ и разными псевдо Воронцовыми  
 и Чернышевыми.

Государственныя формы, церковь и судъ, выполняютъ  
 оврагъ между непониманіемъ массъ и односторонней  
 цивилизаціей вершинъ. Ихъ сила и размѣръ въ прямомъ  
 отношеніи съ неразвитіемъ ихъ. Взять неразвитіе силы  
 невозможно. Ни республика Робеспьера, ни республика  
 Анахарсиса Клотца, оставленныя на себя, не удержались;  
 а Вандейство падобно было годы вырубать изъ жизни.  
 Терроръ также мало уничтожаетъ предразсудки, какъ  
 завоеваніе народности. Страхъ вообще вгоняетъ внутрь  
 бытъ, формы; приостанавливаетъ ихъ отправленіе и не  
 касается содержанія. Іудеевъ гнали вѣка; одни гибли,  
 другіе прятались, и послѣ грозы являлись и богаче, и  
 сплнѣе, и тверже въ своей вѣрѣ.

Нельзя людей освобождать въ наружной жизни больше,  
 чѣмъ они освобождены *внутри*. Какъ ни странно, но  
 опытъ показываетъ, что народамъ легче выносить на-  
 сильственное бремя рабства, чѣмъ даръ излпшней сво-  
 боды. Въ сущности всѣ формы историческія, *potens*



volens, ведутъ отъ одного освобожденія къ другому. Гегель въ самомъ рабствѣ находитъ (и очень вѣрно) шагъ къ свободѣ; тоже явнымъ образомъ должно сказать о государствѣ: и оно, какъ рабство, идетъ къ самоуничтоженію; и его нельзя сбросить съ себя, какъ грязное рубище, до извѣстнаго возраста. Государство форма, черезъ которую проходитъ всякое человѣческое сожитіе, принимающее значительные размѣры. Оно постоянно измѣняется съ обстоятельствами и прилагается къ потребностямъ. Государство вездѣ начинается съ полного порабожденія лица и вездѣ стремится, перейдя извѣстное развитіе, къ полному освобожденію его. Сословность — огромный шагъ впередъ, какъ разъясненіе и выходъ изъ животнаго однообразія, какъ раздѣлъ труда. Уничтоженіе сословности — шагъ еще большій. Каждый восходящій или воплощающійся принципъ въ исторической жизни представляетъ *высшую правду* своего времени, и тогда онъ поглощаетъ лучшихъ людей; за него льется кровь и ведутся войны; потомъ онъ дѣлается *ложью*, и наконецъ воспоминаніемъ. Государство не имѣетъ собственнаго опредѣленнаго содержанія: оно служить одинаково реакціи и революціи, тому, съ чьей стороны сила; это сочетаніе колесъ около общей оси; ихъ удобно направлять туда или сюда; потому что единство движенія дано; потому что оно применуто къ одному центру. Комитетъ Общественнаго Спасенія представлялъ сильнѣйшую государственную власть, направленную на разрушеніе монархіи. Министръ юстиціи Дантонъ былъ министръ революціи. Инициатива освобожденія крестьянъ принадлежитъ самодержавному царю. Этой государственной силой хотѣлъ воспользоваться Лассаль для введенія соціальнаго устройства. Что же — думалось ему — ломать мельницу, когда ея жернова мо-

гутъ молоть и нашу муку? На томъ же самомъ основаніи и я не вижу разумной примѣнимости въ отреченіи.

Между мнѣніемъ Лассаля и проповѣдью о неминуемомъ распушеніи государства въ федерально-коммуную жизнь лежитъ вся разница обыкновеннаго рожденія и выкидыванія. Изъ того, что женщина беременна, никакъ не слѣдуетъ, что ей завтра слѣдуетъ родить. Изъ того, что государство форма *проходящая*, не слѣдуетъ, что эта форма уже *прошедшая*. Съ какого народа въ самомъ дѣлѣ можетъ быть снята государственная опека какъ лишняя перевязка, безъ раскрытія такихъ артерій и внутренностей, которыя *теперь* надѣлаютъ страшныхъ бѣдствій; а *потомъ* спадутъ сами.

Да и будто какой нибудь народъ можетъ безнаказанно начать такой опытъ, окруженный другими народами, страстно держащимися за государство, какъ Франція, Пруссія и проч. Можно ли говорить о скорой неминуемости безгосударственного устройства, когда уничтоженіе постоянныхъ войскъ и обезоруженіе составляютъ дальніе идеалы? И что значить *отрицать* государство, когда главное условіе выхода изъ него *совершеннолтіе* большинства. Посмотрѣли бы вы, что дѣлается теперь въ просыпающемся Парижѣ. Какъ тѣсны грани, о которыя бьется движеніе, и какъ онѣ никѣмъ не построены, и сами выросли какъ изъ земли. Маленькіе города, тѣсные круги, страшно портятъ глазомѣръ. Ежедневно повторяя *со своими одно и то же*, естественно дойдешь до убѣжденія, что вездѣ говорятъ одно и то же. Долгое время убѣждая въ своей силѣ другихъ, можно убѣдиться въ ней самому и остаться при этомъ убѣжденіи до перваго пораженія.

Bruzelles, Paris.

Августъ 1869 года.

## ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Иконоборцы наши не останавливаются на обыденномъ отрицаніи государства и разрушеніи церкви: ихъ усердіе идетъ до гоненія науки. Тутъ умъ оставляетъ ихъ окончательно.

Робеспьеровской нелѣпости, что атепзмъ аристократиченъ, только и не доставало объявленія науки аристократіею.

Никто не спрашиваетъ, на сколько вообще подобныя опредѣленія идутъ или нѣтъ къ предмету. Вообще, весь споръ о „наукѣ для науки“ и о наукѣ только какъ пользѣ, основанъ на чрезвычайно дурной постановкѣ вопросовъ.

Безъ науки *научной* не было бы науки прикладной.

Наука — сила: она раскрываетъ отношенія вещей, ихъ законы и взаимодѣйствія, и ей до употребленія нѣтъ дѣла. Если наука въ рукахъ правительства и капитала, такъ какъ въ ихъ рукахъ войско, судъ, управление, то это не ея вина. Механика равно служитъ для постройки желѣзныхъ дорогъ и всякихъ пушекъ и Zündnadelgewähr'овъ. Такъ какъ въ рукахъ правительства и капитала все: богатство, машины, войско, судъ, то наше дѣло вырвать науку изъ вражьихъ рукъ, освободить ее отъ нихъ; а не въ томъ, чтобъ ее давить за услуги имъ. Нельзя остановить умъ и сказать ему: дальше не изслѣдуй, погоди пока мы освободимся.

Нельзя же остановить умъ, основываясь на томъ, что большинство не понимаетъ, а меньшинство злоупотребляетъ пониманьемъ.

Дикіе призывы къ тому, чтобъ закрыть книги, оста-

впѣтъ науку п птти на какой-то безсмысленный бой разрушенія, принадлежать къ самой несптовой демагогѣи п къ самой вредной. За ними такъ п слѣдуетъ разнузданіе днѣихъ страстей, *le déchainement des mauvaises passions*. Этими страшными словами мы шутимъ, насколько не считая на сколько онѣ вредны для дѣла п для слушающихъ.

Нѣтъ, великіе перевороты не дѣлаются разнуздываніемъ дурныхъ страстей. Христіанство проповѣдывалось чистыми п строгими въ жизни апостолами п ихъ послѣдователями, аскетами п постниками, людьми, замаривавшими всѣ страсти кромѣ одной. Таковы были Гугеноты п реформаторы. Таковы были Якобинцы 93 года. Бойцы за свободу въ серьезныхъ поднятїяхъ оружія всегда были святы, какъ воины Кромвеля, п оттого сильны.

Я не вѣрю въ серьезность людей, предпочитающихъ ломку п грубую силу развитію п сдѣлкамъ. Проповѣдь нужна людямъ, проповѣдь неустанная, ежели путная; проповѣдь равно обращенная къ работнику п хозяину, къ земледѣльцу п мѣщанину. Апостолы намъ нужны прежде авангардныхъ офицеровъ, прежде саперовъ разрушенія. Апостолы, проповѣдующіе не только своимъ, но п противникамъ.

Проповѣдь къ врагу — великое дѣло любви : они не виноваты, что живутъ внѣ современнаго потока какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я ихъ жалѣю какъ больныхъ, какъ поврежденныхъ, стоящихъ на краю пропасти съ грузомъ богатствъ, который ихъ стянеть въ нее. Имъ надобно раскрыть глаза, а не вырвать ихъ, чтобъ п они спаслись, если хотятъ.

Греки радикальнѣе насъ говорили : „Мудрому законъ не нуженъ, его разумъ законъ“. Ну, такъ п начнемъ съ того, что „сдѣлаемъ“ сами себя п другъ друга мудрыми.

Я не только жалѣю людей, но жалѣю и вещи; и *иные вещи больше иныхъ людей.*

Дико-необузданный взрывъ, вынужденный упорствомъ, ничего не пощадить; онъ за личныя лишенія отомстить самому безличному достоянію. Съ капиталомъ, собраннымъ ростовщиками, погибнетъ другой капиталъ, идущій отъ поколѣнья въ поколѣнье и отъ народа къ народу. Капиталъ, въ которомъ осѣдала личность и творчество разныхъ временъ, въ которомъ сама собою наслонилась лѣтопись людской жизни и скристаллизовалась исторія. Разгулявшаяся сила истребленія уничтожитъ вмѣстѣ съ межевыми знаками и тѣ *предѣлы* силъ человѣческихъ, до которыхъ люди достигали во всѣхъ направленіяхъ съ начала цивилизаціи.

Довольно христіанство и исламизмъ наломали древняго міра. Довольно французская революція наказала статуи, картины, памятниковъ; намъ не приходится играть въ иконоборцевъ.

Я это такъ живо чувствовалъ, стоя съ тупою грустью и чуть не со стыдомъ передъ какимъ нибудь кустодомъ, указывающимъ на пустую стѣну, на разбитое изваяніе, на выброшенный гробъ, повторяя: „все это истреблено во время революціи“.....

КОНЕЦЪ.





YX 001 011 544